

Владимир Войнович

ВАГРИС

ЗАМЫСЕЛ

ЗАМЫСЕЛ
ЗАМЫСЕЛ



Владимир Войнович

ЗАМЫСЕЛ

КНИГА

Юрию Борисовичу
Векслеру
пожелания успеха
во всех делах
и успехах
Р.Р.Р.Р.

Владимир Войнович
Москва
1995

4.11.97

ББК 84Р7
В 65

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.*

В $\frac{4702010201}{С82(03)—95}$ Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5-7027-0088-0

© Издательство „ВАГРИУС“, 1995
© В.Войнович, автор, 1995
© Ю.Архангельский, Р.Клочков, художники, 1995

В начале поставим слово, и это слово будет Бог.

Бог в религиозном, философском или любом доступном вашему пониманию смысле. Кто бы ни стоял за нашим созданием, трудно не увидеть, что каждый человек несет в себе некий Замысел, вложенный в него и составленный в виде загадки. Ключа к загадке нет, но есть разбросанные там и сям туманные намеки на то, что она существует и при некотором усилии поддается разгадке, хотя бы приблизительно.

Человек может не подозревать о вложенном в него Замысле, не думать о нем и пронести его в себе всю жизнь, как зерно в мешке, которое, не попав на мельничный жернов или в почву, так осталось и пропало в виде зерна.

Человек может верить в Замысел, но не угадать и мучить себя игрой на скрипке, не зная того, что создан для игры в городки. Или наоборот.

Эта книга многослойная, как капуста.

В ней речь:

Об авторе этих строк, который до попытки разглядеть в себе себя пропозрастал вегетативно, по принципу: семя брошено, дождь идет, солнце греет и что-то будет;

О том, как, заскучав в процессе роста, подумал: а что если вдруг в нем есть задатки чуть побольше, чем в простейшем растении? — и попробовал сделать из этого выводы;

О том, как стал вглядываться в себя, искал вложенный Замысел; о том, насколько его разгадал, как пытался ему следовать и почему от него отклонялся;

О собственном общем замысле автора, о том, как он замыслил провести свою жизнь, и что из этого получилось;

О замысле всего своего писания, зачем он за это взялся, что кому хотел сказать-доказать, о замысле разных книг, тем, сюжетов, образов и, наконец, об определенном замысле, воплотившемся частично в образе солдата Ивана Чонкина;

О том, как обстоятельства жизни автора влияли на возникновение и развитие замысла;

О том, как замысел, осуществленный и воплощенный, как бы материалizовавшись, стал причиной многих тревожащих автора и таких поворотов судьбы, которые прошлой жизнью не были ни малейшим образом предвещаемы;

И наконец, о том, как новые обстоятельства жизни резко повлияли на развитие общего и частного замысла и привели к разным осязаемым результатам, включая вот эту книгу, которая называется ЗАМЫСЕЛ.

Книгу эту я буду писать, предположительно, всю оставшуюся жизнь, и все, что отныне будет (и кое-что, что доныне было) мною сочинено, может считаться входящим в нее. На вопрос, о чем эта книга, я отвечаю всегда: она обо всем. Меня спрашивают: а если серьезно? Я отвечаю серьезно: она обо всем. Я надеюсь, что в числе ее достоинств будут предельные искренность, откровенность и непредвзятость в описании отдельных событий и личностей. Но при этом она есть не проповедь и не исповедь, а в какой-то степени самопознание, попытка объяснить себе себя и себя другим, и других себе. В ней я собираюсь выйти на люди со всеми своими воспоминаниями, наблюдениями, переживаниями, замыслами, идеями, сюжетами, соображениями по поводу и без повода, фразами, пришедшими на ум просто так. Книга эта не вписывается ни в какой жанр: она отчасти роман, отчасти мемуары, а в общем ни то, ни то. Части книги самостоятельны, самодостаточны и взаимозаменяемы. Ни одна из них не может считаться ни первой, ни второй, ни следующей, хотя бы потому, что они пишутся одновременно и друг друга не продолжают, но дополняют. Книга эта, если сравнить ее с водным пространством, не река с течением и устьем, а озеро, в которое можно войти с любой стороны. Начало книги условно, вступительные главы могут быть перенесены из одной части в другую, а что касается конца, то он точно не планируется, но последнее написанное автором в этой жизни слово должно стать и последним в книге.

Поворот сюжета

Описывать жизнь писателя вне его замыслов столь же бессмысленно, сколь жизнь шахматиста без сыгранных, выигранных, проигранных и недоигранных партий. Замысел этой книги возник... Когда он возник, я, право, уже и не припомню, тут, может быть, никакого определенного момента и не было, как не бывает, наверное, момента образования облака. Но, во всяком случае, когда-то он все же возник и медленно тлел в сознании, пока в июне 1988 года не прорезался при таких приблизительно обстоятельствах.

Автор этих строк, которого обозначим инициалами В.В., совершал очередную прогулку в пределах рощи Форст Кастен, которая начинается сразу за уже прославленным нами Штокдорфом. А сама эта роща еще ничем не прославилась, хотя говорят, и один местный житель страстно в том В.В. уверял, что именно в этой роще охотился когда-то Владимир Ильич Ленин и даже известно место, где охотник соорудил, может быть, свой первый в жизни шалаш. Теперь рощу Форст Кастен с именем вождя мирового пролетариата, ныне развенчанного, связывают только отдельные специфически подготовленные эрудиты, тысячам же баварцев эта роща знакома расположением в ней популярного в здешних местах биргартена, то есть пивной на открытом воздухе. Охотно посещаемой и автором книги „Замысел“.

И сейчас авторская прогулка могла бы закончиться в этом самом биргартене, если бы неожиданный поворот сюжета не предопределил ей иное, более интересное завершение.

Передвигаясь в сторону указанного заведения, В.В. обдумывал план своей предстоящей поездки в Америку, где он собирался встретиться с важными людьми по важному делу, которое важными людьми могло быть подвинуто в желательном направлении. Предвкушая будущий свой разговор с важными людьми и отбирая для него наиболее убедительные аргументы, В.В. из спокойного состояния переходил в возбужденное, размахивал руками, бормотал что-то себе под нос, когда в груди у него, и не слева, а ровно посередине, возникло и стало нарастать непонятное жжение с одновременной отдачей в локти и одеревенением губ. В.В. показалось, что в него вставили кипятильник и он весь сейчас закипит.

Испытывая столь незаурядное ощущение, он прислонился спиной к ближайшей сосне, а ноги стал выдвигать вперед. Трава была скользкая после дождя, ноги поехали, спина притормаживала, и автор плавно опустился в мокрое там, где стоял. Пока он опускался, все его предыдущие планы показались ему совершенно ничтожными, люди, встречи с которыми он ожидал, не стоящими ожидания, и страна Америка недостойной того, чтобы из-за нее претерпевать хлопоты длинного перелета. В.В. сидел на мокрой траве, упершись в нее руками, смотрел, как смещаются в странном смешении деревья, люди, собаки и облака, и, вслушиваясь в завывания недалекой сирены, сказал смущенно склонившимся к нему лицам:

— Es brennt hier.

Кажется, именно тогда, на парусиновом лежаке реанимобиля, визгливо оповещавшего о неотложности своего движения, весь этот замысел возник перед автором с такой ясностью, которая, как говорят, озаряет человека только на грани потери сознания.

Пакет, пришедший с оказией

За два дня до того пришел довольно толстый пакет, отправленный из Амстердама, видимо, кем-то из советских туристов. Содержимое обернуто плотной светло-коричневой бумагой того сорта, из которого делают мешки для цемента. Я разрезал лохматый шпагат хлебным ножом и извлек рукопись (первый экземпляр), напечатанную на тонкой полупрозрачной желтоватой бумаге. На первой странице было написано название: „ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ“ и в правом верхнем углу — фамилия автора: Элиза Барская.

Это было время, когда горбачевская перестройка стала проявлять себя воскресением забытых имен, голосов и лиц, телефонными звонками, неожиданными визитами и почтой, приходящей сперва кружным путем и с оказией, а потом уже и прямо с советскими марками и штемпелями. Резко возросло количество рукописей, авторы которых, похоже, еще не очень надеялись на отечественных издателей и преувеличивали возможности своего зарубежного адресата. Рукописей скопилось уже столько, что о прочтении их всех це-

ликом не могло быть и речи. Но первые страницы я обычно читал. Полагая, что качество любой книги можно оценить по нескольким страницам, иногда даже и по одной первой.

Я налил себе чашку кофе, сел тут же на кухне за стол и стал читать рукопись, предполагая, что терпение мое иссякнет вместе с содержимым чашки...

Элиза Барская. Пробуждение

...Я просыпаюсь оттого, что он, раздвинув мне ноги коленями, сопит и тычется не туда...

Публикатор (т.е. В.В.) считает своим долгом предупредить целомудренного читателя, что здесь и далее Элиза Барская подобно многим другим нынешним сочинителям описывает подробности своей жизни с полной или даже чрезмерной откровенностью и не желает считаться с пределами так называемой нормативной лексики. По этому поводу публикатор имел с сочинительницей некую эпистолярную дискуссию, в которой она выразила свое отношение к предмету таким образом. „Возможно, будучи испорченной прочитанными мною в больших количествах американскими романами, я с некоторых пор думаю, что в литературе никаких запретных тем, положений и выражений быть не должно, как в медицине, где никому не приходит в голову считать, что гинеколог и проктолог занимаются чем-то более неприличным, чем, допустим, дантист. Чем больше я думаю, тем меньше пони-

маю, почему литература должна избегать описания тех сторон жизни, которые нас больше всего волнуют, являются причиной нашего появления на свет и бывают источником наших наиболее острых переживаний. Соображения, что раньше литература обходилась без этого, меня нисколько не убеждают, раньше не было Фрейда и вообще люди не понимали, что причина их многих волнений, психических расстройств и всяческих комплексов кроется именно в той сфере, о которой не то что говорить, а и думать — фи, как дурно! Что же касается нормативов в лексике, то и тут я потеряла ориентиры, для меня каждое слово означает не больше того, что значит, и я не вижу никаких доказательств того, что, допустим, латинское слово „пенис“ звучит благозвучней или приличней нашего русского эквивалента. Мне говорят, что вообще-то я права и даже ломлюсь в открытую дверь, в конце концов можно употребить самое нецензурное слово, но только (только!) в том случае, если это диктуется художественной необходимостью. Эти глупости слышу я от самых умных людей, которым не приходит в голову, что в художественном сочинении какое слово, даже „каша“ или „погода“, не следует употреблять, если нет художественной необходимости.

Все живые слова нашего языка я считаю естественными и пригодными к употреблению, а если и согласилась заменить в некоторых из них буквы точками, то только уступая твоему и всеобщему (и своему тоже) ханжеству. Хотя замена такая приводит лишь к тому, что читатель, восстанавливая пропущенное, переберет в уме не одно, а несколь-

ко слов, и иногда пойдет дальше того, что имелось в виду. Помню, что в классе шестом, читая какую-то старинную книгу, я наткнулась на место, где было сказано, что Екатерина II на балконеась с гвардейцем. Я перебрала все известные мне глаголы, призвала на помощь нескольких одноклассниц и одного одноклассника, но количество букв в приходивших нам на память словах никак не совпадало с количеством проставленных точек, и только став взрослой, я случайно узнала, что данное сочинение имело в виду, что Екатерина на балконе с гвардейцем целовалась. Всего лишь. Во всяком случае только это имел в виду автор книги“.

И вот цитата из ответного письма Элизе.

„С твоими рассуждениями по данному поводу полностью солидарен, чему подтверждение ты найдешь, например, в главе „Евреи тела“ и др. Я также согласен и с теми людьми, которые говорят, что ходить нагишом естественно и уж никак не более безнравственно, чем одетым, но, подчиняясь принятым в человеческой среде обычаям, я все же на улицу выйти без штанов не решусь и даже в шортах чувствую себя неуютно. Вот и на прямое и безыскусное написание слов, употребляемых всеми слоями нашего общества, я по воспитанному с детства (ты правильно заметила) ханжеству и вопреки своему убеждению решиться никак не могу, и рука сама норовит заменить их эвфемизмами или точками...“

Кроме тех редких случаев, где даже точки могут противоречить художественной необходимости“.

...Я просыпаюсь оттого, что он, раздвинув мне ноги коленями, сопит и тычется не туда.

Мне ужасно хочется спать и ничего больше, но, чтобы избавить себя от его неловких попыток, я протягиваю руку, помогаю ему, а затем, слегка подтянув и развернув колени, чтобы ему было удобно, расслабляюсь. Его действия не вызывают в моем организме никакого отклика, не волнуют и не особенно раздражают, мое влагалище бесчувственно, как пересохший оазис. Даже воспоминания о моем первом муже не пробуждают во мне уже ничего, я опять впадаю в дремотное состояние и думаю о чем-то, не имеющем ни малейшего отношения к происходящему.

Свет уличного фонаря сочится сквозь тюль, размазав по потолку грязную тень четырехрожковой люстры. Кстати, пора ее протереть.

За окном звуки раннего утра: дворник шуршит метлой, проехала „скорая помощь“, в булочную привезли хлеб, слышен стук ящиков, швыряемых на наклонный лоток.

Существо, нависающее надо мной, сопит, наша арабская кровать отзывается деловитым скрипом, дворник шуршит метлой, на кухне капает кран, время течет в рваном ритме, подчиняясь которому я уплываю куда-то в сторону, может быть, даже в сторону моря с запахом рыбы, водорослей и помидоров.

О чем я думаю, пересказать трудно. Пожалуй, ни о чем интересном. О том, что мне исполняется сорок лет, что с утра будет много

звонков, вечером гости, а в промежутке надо будет сходить на рынок, отнести в издательство переведенную рукопись, сделать прическу и маникюр, забежать к Лариске насчет того платья, которое я у нее присмотрела, съездить в стол заказов на Кузнецком мосту, заодно выкупить в Лавке писателей очередной том Достоевского, навестить родителей и, самое главное (самое главное чуть не забыла), к пяти часам я должна быть в райкоме, где выездная комиссия, состоящая из заслуженных пенсионеров, должна утвердить мою кандидатуру на турпоездку в Англию.

О, Боже! А в восемь у меня уже гости. Придется позвонить Люське. Пусть придет и поможет.

Пока я обо всем этом думаю, он продолжает надо мной трудиться и делает это с достойным востихения однообразием: упершись волосатыми руками в матрас, совершает возвратно-поступательные движения, точно так же, как потом, перед душем, будет отжиматься на полу. Вдох — задержка дыхания — выдох, вдох — задержка — выдох. А потом задергается, захрюкает, обвалится на меня всем своим волосатым и вялым телом и затихнет. И отдохнув на мне минуту-другую, перевалится на край кровати, повернется спиной и тут же заснет, чтобы проснуться, как всегда, в четверть восьмого.

Сколько я с ним живу, не могу понять, что он за человек. Зачем он на мне женился, что обо мне думает и вообще для чего я ему? Поче-

му он не говорит мне приятные слова, не обнимает, не ласкает, не целует? Если он меня не любит, то чем вызывается его регулярное желание? Если даже просто физическим здоровьем, то почему он делает это так скучно, не пытаясь достичь хоть какого-то разнообразия?

Я его понять не могу, но для других он тоже загадка. Он один из главных авторов и энтузиастов проекта поворота сибирских рек, за что наши патриоты готовы разорвать его на куски. Они обвиняют его в злом намерении погубить русскую природу, которая, по их предположению, ему ненавистна, почему и пытаются вычислить в нем еврея. А он настоящий русак, вятич, Василий Гаврилович Спешнев. Да и сами его фантазии выдают в нем русского самородка с размахом. Его интересует не уничтожение русской природы, но, правду сказать, и не сохранение, а исключительно грандиозность инженерной задачи. Он с детства мечтал прорыть туннель под Ла-Маншем, перекинуть мост через Берингов пролив, растопить Антарктиду, изменить планетарный климат, а вопрос „зачем?“ для него второстепенен. Хотя моему присутствию в его жизни у него, я думаю, все-таки какое-то рациональное объяснение есть. Это очень удобно иметь при себе ...льную машину, которая к тому же умеет варить и стирать. По-моему, он даже не пред-*

**Разумеется, в оригинальном тексте Э. Барская пишет любые слова „как онп есть“, не затрудняя себя заменой букв точками или подыскиванием эвфемизмов.*

ставляет себе, что у меня к сексу тоже может быть определенное отношение, и даже не удивляется, почему, несмотря на регулярность его усилий, я ни разу не забеременела.

Вообще никакого интереса к организму своей жены. Когда я говорю, что мне сегодня нельзя, он очень удивляется (Да? Гм!) и, отвернувшись к стене, немедленно засыпает, видимо, недовольный тем, что машина несовершенна и время от времени останавливается для профилактики.

Не могу даже представить себе, как он ко мне относится. Как бы себя повел, узнав (предположим), что я ему изменяю? Что бы сделал? Стал бы устраивать сцены, накричал, дал по морде, молча собрал бы чемоданы и ушел? Я подозреваю, что он не сделал бы ничего. Просто пропустил бы это сведение мимо ушей, а по ночам трахал бы меня, как всегда, не хуже, не лучше, не заревовав, даже не возбуждвшись, как это случилось с очередным Люськиным мужем по прозвищу Общий Рынок...

Встречное перетекание душ

В рукописи было письмо, которое я не сразу заметил, потому что оно оказалось вложенным в середине между страницами. В отдельном незакрытом конверте с рисунком, посвященным какой-то годовщине стахановского движения. На рисунке был сам Стаханов в шахтерской каске, с отбойным молотком на плече, на фоне чего-то зловещего. А ниже разместились точечные линии, по ко-

торым следовало четко выводить цифры индекса предприятия связи в соответствии с образцами, приводимыми на другой стороне конверта.

Из конверта был вынут двойной лист бумаги из тетради в линейку, весь исписанный смутно припоминаемым круглым некрупным почерком.

Дорогие! Прошла вечность с тех пор, как. В течение вечности несколько раз передавала вам приветы через знакомых иноземцев и прочих оказиантов, а писать не писала. Каюсь и не оправдываюсь. Но не писала не из трусости или осторожности, а по предположению, что все равно общения не может быть никакого, кроме отрывочного, спорадического, не утоляющего насущную жажду и лишь саднящего. Общение дружеское или любовное только тогда ценно, когда оно есть непрерывное встречное перетекание душ. А какое уж тут перетекание, когда пишешь на деревню дедушке, никогда не зная, дойдет ли, через какие руки пройдет и кем будет прочитано. Когда отправитель и адресат существуют в разных мирах и находятся в несовпадающих обстоятельствах и настроении. Я чувствовала, что это уже не общение, а, как говорит мой Антон, сплошная дровичловка, и потому сколько раз бралась за письмо, столько раз и бросала. Вы уехали так далеко и так навсегда, что я вас просто оплакала, похоронила и повесила на стену вашу фотографию, где вы оба на лыжах и такие спортивные, правда, Володька уже с брюшком, которое он безуспешно

пытается втянуть в себя, отчего раздувает щеки. Интересно, а как сейчас?

Сейчас у нас забрезжило и моросит эликсиром жизни. Такое ощущение, что срастается разрубленное, воскресают почти буквально вымершие организмы и усопшие человеки (читай поэта Андропова) подают голоса с того света. И затеплилась надежда, что свидимся, чему не верю, к чему всем своим чахлым сердцем стремлюсь и дрожу от страха — а не слишком ли мы за прошедшие столетия почужели?

Представить состояние нашего общества со стороны, мне кажется, невозможно. Творится что-то невероятное, чего нельзя осмыслить и объяснить. Все пришло в движение. Издают Платонова, не печатают Маркова, говорят об отмене цензуры, о многопартийной системе, об индивидуальной (слово „частная“ никто произнести не решается) трудовой деятельности, моя племянка Аленка бежит куда-то на аэробикку (буржуазное разложение), на улицах появились панки и кришнаиты, молодой человек полчаса простоял на Красной площади возле ГУМа с плакатом „Я — гомосексуалист“, но потом был все же побит (по Антону — отмудодан) своими высокоморальными соотечественниками.

Что же касается отношения общества к отъезжавшим, то оно, увы, не то, которого вы (и я), может быть, ожидали. Диапазон от недружелюбного до враждебного. Куда ни зайдешь, везде слышишь: мы были здесь, мы терпели, мы

свое пережили, выстрадали, вынесли, а они уехали, пусть там сидят и кушают свою колбасу. Меня поражает бесстыдство, с которым многие наши благоразумные умники, просидев всю жизнь под корягами, ни разу не вякнув против властей, теперь самоутверждаются и избражают свое премудрое пескарство как подвиг. Они словно сговорились и называют друг друга правдолюбцами, апостолами совести, мужественными борцами (одному, отличавшемуся всю жизнь весьма робким характером, даже премию дали за мужество). Одна из моднейших тем: диссиденты ничего не сделали. Уехавшие все уехали добровольно и, разумеется, исключительно из бытовых соображений. Теперь они понимают, что совершили ошибку, и, не видя пути назад, надеются, что наша перестройка провалится.

У нас недавно Антон по случаю своего многолетия устроил попойку, и сошлись все свои. Разговаривали тихо-мирно, пока не зашла речь о выступлении украинского партийного писемника, который где-то на какой-то капээсэсэной тусовке (самое модное слово) сказал, что ничего хорошего туда (на Запад) не уехало. Тут Сигов сказал: „Ну и правильно“. — „Что правильно?“ — переспросил Антон. — „Правильно, что ничего хорошего туда не уехало“. — „Подожди, — сказал Антон, — я хотел бы уточнить. Ты тоже считаешь, что среди уехавших туда нет ни одного стоящего писателя? Так я тебя понял?“ — „Не так, — сказал Сигов. —

Один там есть". — „Кто? — спросил Антон. — Как его зовут?“ Сигов сказал: „Солженицын“. Антон вышел в коридор и, вернувшись с пальто и шапкой Сигова, сказал: „Позвольте мне как гостеприимному хозяину за вами поуживать“.

Сигов побледнел, вырвал пальто и шапку и выскочил, хлопнув дверью. Вечер был испорчен. Все стали расходиться, а я осталась помочь Антону помыть посуду. Когда все ушли, Антон выключил телефон, открыл воду (чтобы заглушить возможные микрофоны) и сказал, что на днях он встретил бывшего своего однокашника по военно-морскому училищу, тот сейчас работает в ГБ. Этот гебешник сказал Антону, что у них разработана полная программа постепенной перестройки в литературе и возвращения запретных имен. Сначала опубликовать тех, которые здесь, потом мертвых, которые умерли здесь, потом мертвых, которые умерли там. С мертвыми вообще возиться подольше и пошумнее. Устраивать разные церемонии. Возложение венков, открытие памятников, перезахоронения, переименования. Пусть будут звезда Пастернака, улица Ахматовой, дом-музей Цветаевой, теплоход „Михаил Булгаков“ и типография имени Зощенко. В то же время следует распространять кислые мнения о живых. Надо говорить, что они мелкие люди, уехали из шикарных соображений, теперь кусают локти, оставшиеся презирают и желают им зла, там ничего хорошего не написали, сюда возвращать-

ся не собираются. Из всех оказавшихся там есть только один, один, совсем один, великий, непримиримый, неподкупный, не мелочный, не чета всем прочим, он больше всех любит свою Россию, только он один жил всегда интересами России и только он один придет к нам не туристом, как некоторые, не гостем (он уже сказал, что домой в гости не ездят), он придет сюда, чтобы жить здесь и умереть.

Кагебешник сказал Антону, что они свою прямую борьбу с Солженицыным прекратили, теперь будут подрывать его репутацию умеренными похвалами и подрывать репутацию других, противопоставляя им Солженицына.

Услышав такое, я сразу поняла, что к чему. А то все удивлялась: как это такие разные люди — правые и левые (левые даже чаще, чем правые) — и в газетах, и по телевизору, и в ресторане, и на кухне без конца одно и то же плетут, как будто их всех инструктировали в одном кабинете. Теперь думаю, что, и правда, в одном. Еще думаю, что, может быть, есть инструктированные, а есть такие, кому сия точка зрения лично дорога.

Если до вас это бредятина, сварганенная на Лубянке, доходит, не огорчайтесь и не думайте, что все принимают подобные откровения за чистую монету. Хотя многие принимают.

Что же касается подательницы сих каракуль, то она, являясь существом легкомысленным, вздорным, грешным и отнюдь нисколько не героическим, одно только ставит себе в заслугу,

что всегда пыталась отличить правду от того, что ею не является, и сама себе намеренно не врала. Чему доказательством могут служить...

Да, дорогие, вы правильно заподозрили, надумала и я на старости стать, прости Господи, писательницей. Живя в нашем мраке и совсем ошалевши от всего свалившегося на мою голову с закрашенными сединами, решила я описать свою бабскую жизнь такой, какой она была и пока еще есть, и с первой страницы поняла, что если описывать ее в рамках, дозволенных общей цензурой, то и за дело приниматься нечего, она вся состоит из действий, явлений, мыслей и слов, ни с какой цензурой не совместимых и не передаваемых намеками, многоточиями и эвфемизмами. Насчет последнего я как раз очень сильно старалась и избегала описания некоторых положений и употребления крепких слов, но потом подумала: а как же я опишу свою жизнь и жизнь своих знакомых, если в нашем кругу писателей, ученых, переводчиков, литературоведов, людей в высшей степени интеллигентных и образованных, все без исключения и давным-давно вышли за пределы нормативной лексики? Так что, если попытаться наши разговоры изобразить средствами, допускаемыми цензурой, они превратятся в сплошное многоточие, соединяемое изредка предложениями и приставками. Я долго над этой проблемой мучилась, даже, можно сказать, извелась ею. Описание любого дня моей жизни немедленно приближало меня к тому или иному табу, через

*которое я по природной робости не осмеливалась переступить. Но однажды по пути в поликлинику встретила того же Антона, который вместо „здрасьте“ приветствовал меня такими словами: „Что-то у тебя, старуха, сегодня такой вид, словно бы с пере...“**

Воротившись домой, я в порядке литературного упражнения попробовала записать эту фразу, заменив неприличное слово приличным. Написала несколько вариантов: „Что-то ты, старуха, словно не выпалась... словно недоспала... словно тебе чего-то недодали...“ Плюнула на все и написала: „словно бы с пере...“. И поняла, что так и надо. Пушкин сказал: пиши, как говоришь, — а мы все говорим именно так, да другие слова к нашей жизни и не подходят.

Так я думаю. Если, Володя, ты меня не осудишь и найдешь мою писанину достойной печатного станка, то, будь добр, поспособствуй этому под указанным псевдонимом. Он мне нравится тем, что пошловат и загадочен...

Жизнь целиком

Лев Толстой представлял, что душа человека после перехода в мир иной видит свою прошлую земную жизнь не как цепь событий и не как свиток, разматывающийся от рождения к смерти или наоборот, а всю целиком: и детство, и юность, и отрочество, и старость, и все сразу во всех подробностях.

**См. примечание на стр. 15.*

Догадку Толстого мы скоро и, очевидно, раньше, чем хотелось бы, проверим (да никому не скажем), но мне мое прошлое уже сейчас и на этом свете видится одним цельным куском. Стоит только чуть-чуть напрячься — и вот она, вся моя жизнь, где я вижу себя одновременно и маленьким мальчиком Вовой, и пожилым дядей, которого зовут по имени-отчеству, и ремесленником, и солдатом, и пастушонком, и рабочим, и сочинителем, и диссидентом, и эмигрантом, и себя разного в разных местах, где жил — от Душанбе и Ходжента до Мюнхена и Вашингтона. Всего этого изобразить никаким искусством нельзя. И словесным можно меньше, чем каким бы то ни было. Но вопреки очевидным невозможностям, я долго и упорно думал, как бы мне все-таки исхитриться показать всю свою жизнь одним куском, сплавив в нем воедино прошлое, настоящее, будущее, реалии быта, приключения, переживания, замыслы, завершенные и незаконченные, которые есть тоже непреходящая и существенная составная моей жизни. А если нельзя единым куском, то хотя бы кусками, которые словно свалены вместе в один мешок и могут быть вытягиваемы попеременно из разных времен, какие попадутся под руку.

Между прочим, еще в ранней молодости, не думая ни о каком замысле и не вникая в себя, я собирался намеренно плыть по течению. Плыть, не избегая своей судьбы и не пытаясь ее улучшить. Например, родители послали меня в ремесленное училище, я не хотел, а поступил — пусть будет так. Пришла повестка в армию, можно было попробовать уклониться, я не попробовал и четыре

года, говоря словами Устава, переносил тяготы и лишения воинской службы. Было еще много случаев, когда я слепо шел по пути, как бы заведомо мне предназначенному, и сама судьба редко предоставляла мне альтернативные варианты. Но иногда предоставляла.

Хорошие мужики

24 февраля 1980 года был день выборов в Верховный Совет СССР. Проходил он, как всегда, при переизбытке красного цвета на лозунгах, транспарантах и плакатах с героическими биографиями будущих депутатов, которые никто не читал, и их портретами, которые никто не знал, если они не были из тех, кто по праздникам стоит на трибуне Мавзолея и приветствует ликующие колонны помахиваниями вялой руки.

Выборы были обыкновенные, советские — один депутат из одного кандидата. Все шло по плану. За несколько дней до выборов Леонид Ильич Брежнев (хороший мужик*) и ближайшие его соратники поместили в центральных газетах свою благодарность коллективам трудящихся, повсеместно выдвинувших их в депутаты, и свои изви-

* „Хороший мужик“ — это в советском и постсоветском обществе человеческое существо мужского пола, которое не вызывает излишнего рвения в деле удушения себе подобных. Оно может и должно проявлять обыкновенные и понятные человеческие побуждения — деньги, женщины, вино, домпно, карты, охота, рыбная ловля, баня, — может воровать, брать взятки, но к слабостям других людей готово по возможности снисходить. Если, впрочем, снисхождение самому снисходящему никакими неприятностями не угрожает.

нения, что в соответствии с Конституцией СССР, слишком демократичной, каждый из них может только и исключительно баллотироваться в одном, уву, единственном избирательном округе.

Но нашему округу повезло. Избирателям нашего округа предстояло единодушно отдать свои голоса за члена Политбюро ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина (хороший мужик), чьим кислым изображением с большой бородавкой на правой щеке был украшен каждый подъезд каждого дома в нашем микрорайоне.

Приходила на днях агитаторша, полная тетя с тонким блокнотиком. Обычно присылают студентов или студенток, а эта по возрасту могла бы быть и профессором.

У нее был обтянутый плотным свитером очень выпуклый бюст, и на левой его половине прилепился значок с изображением Владимира Ильича Ленина. Значок был похож на маленькую бабочку, которая, казалось, сейчас вот сорвется, вспорхнет и вылетит в форточку.

— Вы придете, конечно, на выборы? — спросила тетя почти утвердительно и уже занесла карандаш, чтобы поставить галочку.

— Конечно, — сказал я. — Конечно же не приду.

Она сначала подумала, что шутка, а потом зашуетилась: что? как? почему? Водопровод не работает, или крыша течет, или чего? Некоторые своекорыстные люди использовали выборы для того, чтобы предъявить властям свои мелкие претензии по бытовой линии. Но у меня водопровод работал

исправно, крыша не протекала, а что живущий надо мной критик Михаил Семенович Гус время от времени забывал закрутить воду в ванной и заливал мой кабинет, так с этим, пожалуй, к агитаторам, кандидатам и депутатам обращаться бесполезно, они ничего с Гусом сделать не смогут. Потому что его легче расстрелять, чем научить закручивать воду, но в период торжества ленинской законности у нас за незакручивание воды уже никого не расстреливали.

— Так почему же вы отказываетесь принять участие в выборах? — допытывалась агитаторша.

— Я отказываюсь, поскольку не имею ни малейшего сомнения, что Алексей Николаевич Косыгин безусловно и с большим перевесом на этих выборах сам себя победит. Вот если бы ему грозило, что его не изберут...

— Мне ваша позиция кажется странной, — сказала она. — Мне придется сообщить о ней по месту вашей работы.

Она была, видимо, недостаточно информирована и не знала, что угрозу свою ей выполнить не удастся, ибо у объекта ее агитации никакого места работы лет уже семь как не было. Изгнанный отовсюду, полностью запрещенный, круглосуточно окруженный сменяющимися нарядами КГБ, с отключенным уже несколько лет телефоном, я нигде не служил и не был причислен ни к какой советской организации, что и давало повод нашему участковому Ивану Сергеевичу Стрельникову (хороший мужик) являться время от времени с дураковатой улыбкой и вопросом, когда же я наконец устроюсь куда-нибудь на работу.

Ходоки и посетители

День этот был холодный, вьюжный, богатый ходоками из дальних мест.

В половине восьмого утра явился подпольный гражданин с Украины со своими каракулями на листках, вырванных из тетради в клеточку. Он приходит ко мне далеко не первый раз, но имя свое держит в тайне, а каракули подписывает ПАТИКОСТ, что, как я впоследствии вычислил, означает Павленко Тимофей Константинович. Когда я ему это сказал, он не на шутку перепугался и заподозрил, что сведения мною добыты из каких-то опасных источников. Не понимая того, что, описывая политические дискуссии со своими неизвестными мне собеседниками, сам время от времени упоминает и имя свое, и отчество, и фамилию.

Испугавшись, он перестал, слава Богу, ко мне ходить, но это потом, а в тот день Патикост (переименованный моей женой в Пятихвоста), еще не испуганный, доставил пачку листовок, написанных от руки на той же бумаге в клеточку. В листовках — призыв к народу свергнуть „власть советских фашисто-коммунистов и их незаконных прихвостнев“ (в описываемое время такие слова к числу общеупотребительных не относились и могли стоять автору головы). К пачке приложено обращение к новому американскому президенту Рейгану с просьбой указанные листовки при помощи спутников разбросать равномерно по всей территории СССР, а если фашисто-коммунисты попытаются помешать этой акции, нанести им „сокрушенный ракетно-ядерный удар“.

— Но вы представляете, — говорю я ему, — что, если американский президент последует вашему совету, мы все погибнем?

— Лучше смерть, чем такая жизнь, — отвечает Пятихвост и беспечно машет рукой.

— Ну, знаете ли, — говорю я, — большинство людей предпочитают такую жизнь никакой, поэтому передать ваше письмо я не берусь.

Разочарованный моим малодушием, он уходит.

За ним следует еще один персонаж, как всегда, с одной и той же выпаливаемой с порога скороговоркой:

— Передайте Сахарову и Гершуни, что я на этот матримониальный вариант не согласен. Они хотят женить меня на иностранке, а я не могу, я женат и я своей женой доволен.

При этом он всегда становится спиной к стене (верный признак мании преследования). С скромная материальная поддержка (25 рублей) действует на него благотворно, и он уходит несколько успокоенный.

Он ушел, а я сел к столу и вложил в машинку лист бумаги, чтобы переписать сцену возвращения Чонкина в пятьдесят шестом году из лагеря, куда он попал сразу после войны.

Ему объявили, что он оказался ни в чем не виновен, и спросили, куда выписать литер на проезд по железной дороге. К этому вопросу он был не готов. По причине большого срока и обещаний начальства он планировал жизнь свою завершить в лагере, а тут такая оказия: не виновен и — иди куда хочешь. Он стал думать: от места, где родил-

ся и рос, отбился давно, а что есть еще? И вышло так, что хотя с Нюрой жил он очень коротко в каком-то давно прошедшем плюсквамперфекте, с тех пор ничего о ней не слышал и сам ей ни разу не написал, а не было у него на свете существа более близкого, чем она. И, подумав, он назвал адрес: деревня Красное...

Не успел я это изобразить, звонок в дверь — пришли родители жены Анна Михайловна и Данил (одно „и“) Михайлович. Ира куда-то ушла, Анна Михайловна сидела у Оли, а Данил Михайлович (пятьдесят лет в КПСС) рвался ко мне провести со мной очередную политбеседу о том, что я напрасно доверяю американским империалистам, которые меня хвалят исключительно из политических соображений. За то, что я своим „Чонкиным“ подрываю уважение к Советской Армии и тем самым подрываю ее боевую мощь. Мне надо не к американцам прислушиваться, а присмотреться к действительности и понять, что недостатки в нашей жизни есть, есть (кто же это отрицает?), но партия их видит, исправляет и ведет нас, в общем, в правильном направлении.

На этот раз я от дискуссии уклонился, тем более что возникший с мороза Володя Санин принес какие-то сплетни из жизни советских писателей, и одна из сплетен была такая. Не имеющий обеих рук (инвалид войны) поэт Д. привел к себе на ночь девушку. Насладившись ею сполна, он в два часа ночи позвонил в дверь своему соседу поэту М. и предложил свою спящую гостью ему. М. объяснил своей сонной жене ночное приглашение прихотью соседа читать ночью только что написанные

стихи. Д. впустил М. в спальню, сам лег на диванчик на кухне и уже засыпал, когда вдруг раздался душераздирающий крик: „Откуда у тебя рруки?!“

Ужас какая история.

После ухода Санина был семейный обед с женой, дочерью, тещей и тестем.

Потом тесть и теща удалились, Ира с Олей отправились к кому-то из Олиных подружек на день рождения, но я один не остался, ко мне пришел Валя Петрухин, мой друг, доктор физматнаук, один из самых необыкновенных людей, встреченных мною в жизни. Он всегда совершал поступки, казавшиеся даже мне сумасбродными, и меня подбивал на такие же. Он считал, что в жизни нет непреодолимых препятствий и неосуществимых желаний, надо только „копать шансы“ и непременно до чего-нибудь докопаешься. Друзей всегда осыпал подарками. Если возникала необходимость положить кого-то в больницу, достать редкое лекарство, устроить чью-нибудь дочку в институт, перепечатать самиздатовское сочинение, Валя говорил: „Ноу прóблем“, и казалось, что у него их действительно не было. Он постоянно носился с идеями самого разного толка: заработать миллион, устроить подпольную типографию, пробраться в Горький к Сахарову, перелететь на дельтаплане из Грузии в Турцию, с помощью правильно поставленного научного эксперимента выяснить возможность загробной жизни. Не все идеи он брался осуществить практически, но, берясь, всегда побеждал. Но последнее время все чаще впадал в депрессию, и тогда становился мрачным, скучным, ординарным и сам собой тяготился. В этот раз он

только что выбрался из депрессии, был более или менее в форме и даже поинтересовался моей текущей работой. Я ответил, что опять после долгого периода обращаюсь к старому замыслу, и пересказал своими словами сочиняемую главу о возвращении Чонкина в деревню Красное ясным днем в начале лета 1956 года.

Иван Чонкин. Вариант

Полный сомнений, найдет ли он Ньюру, жива ли она, а если жива, то не вышла ли замуж, а если не вышла, то примет ли, подъезжает Чонкин на поезде к станции Долгов. У окошка с желтым флажком сидит усталая проводница. На руке наколка: „Таня“. Чонкин приблизил к ней свою руку с наколкой: „Ваня“:

— Будем знакомы.

Разговорились. Таня рассказала о своей жизни, о муже, который в сорок первом ушел на фронт, и с тех пор ни слуху ни духу.

— Может, еще вернется, — предположил Чонкин.

— Куда ж, — вздохнула Таня. — Столько времени прошло.

— Ну мало ли чего. Некоторым пришлось в дороге подзадержаться.

От Долгова пошел пешком, перекинув через плечо мешок, называемый в народе сидором. Спускаясь с пригорка к околице Красного, встретил подростка на велосипеде „Орленок“.

— Чей будешь? — спросил Чонкин.

— Гладышев Геракл.

— Молодец! — сказал Чонкин. — А Нюрку-то Беляшову знаешь?

— Ну, — сказал Геракл.

— И где живет, знаешь?

— Как не знать! Там вон живет, в той избе.

И показал на ту самую избу, которая где стояла, там и стоит. Чонкин удивился. За это время в его жизни произошло столько всяких событий, а изба какая была, такая и есть, не сгорела, не покосилась и с места не сдвинулась.

— А с кем же она живет, Нюрка? — спросил он осторожно.

— Теть Нюра-то? С кем же ж она живет? Одна живет.

— Молодец! — сказал Чонкин. Порывшись в кармане, достал кусок рафинаду, сдул с него мажорочную пыль, протянул юному Гладышеву.

— На вот!

— Что это? — покосился Геракл на угощение.

— Сахар, — сказал Чонкин. — Рафинад, бери.

— Еще чего! — брезгливо сказал Геракл. — Кабы щеколаду...

— А почему пятьдесят шестой год? — спросил Валя.

— А потому что, когда я писал это в начале шестидесятых, события пятьдесят шестого года были главными в нашей истории. И мне казалось, что именно в пятьдесят шестом и должна была завершиться эпопея солдата, прошедшего войну и лагеря.

— А ты не думал, что Чонкин мог бы делать сейчас?

— Нет, не думал.

— А почему бы тебе не сделать его диссидентом?

— Смеешься, что ли? Диссидент — это обязательно в какой-то степени бунтарь и почти во всех случаях человек, думающий о себе нескромно. А Чонкин — человек тихий, мирный, исполнительный. Он если и воюет, то только ради исполнения долга, но не из личных амбиций. К тому же, если продолжать историю Чонкина и ввергать его в новые приключения, сюжет получится слишком громоздким...

Ультиматум

Так я сказал Петрухину, но после его ухода задумался и стал фантазировать, еще не всерьез, о возможном развитии сюжета с приближением к нашим дням и чуть не прозевал передачу „Немецкой волны“, которую почему-то единственную из зарубежных власти не глушили.

Начало известий я пропустил, а в конце их немцы сообщали, что после ссылки академика Сахарова в Горький советские власти усилили преследования инакомыслящих. В Вильнюсе агентами КГБ была обнаружена и разгромлена подпольная типография, на советско-финской границе задержан военнослужащий, пытавшийся уйти на Запад.

За последними известиями последовал обзор печати, в рамках которого недавние русские эмиг-

ранты рассказывали о своих впечатлениях от западной жизни. Вместо ожидаемых, очевидно, восторгов по поводу материального изобилия, спрашиваемые кинулись критиковать недостатки западного общества, подразумевая под ним всех жителей Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Африканской Республики. Знаменитый диссидент выражался сурово, говоря, что Запад разнежился, проявляет слабость духа и преступную уступчивость коммунистам, которые коварны, ненасытны и, заглотив половину мира, раззявили пасть для заглота второй. А Запад в это время живет не по средствам, беспечно веселится в дискотеках и погрязает в разврате, чему свидетельство наркомания, проституция и самое ужасное — порнофильмы в общедоступных кинотеатрах.

Другой диссидент, тоже известный, в целом со знаменитым согласился, но к критике порнофильмов отнесся легкомысленно, мимоходом заметив, что смотреть их взрослому человеку скучно, а вот лет до четырнадцати почему бы и нет — познавательно и отвлекает от более вредных занятий вроде игры в футбол.

Со вступлением в дискуссию третьего участника, немецкого политолога, совпал звонок в дверь. С проклятиями — кого там еще нелегкая? — пошел я к двери и, открыв ее, увидел на лестничной площадке двух незнакомых мужчин: один повыше и постарше, в сером пальто и в шапке из барсука, другой пониже, помоложе, в пальто темном, бесформенном, вытертом и в шапке из зверя дешевого, облезлого, должно быть, еще при жизни.

— Владимир Николаевич? — удостоверился старший. — Мы агитаторы, интересуемся, почему вы не идете голосовать?

— Я не иду голосовать, потому что не хочу.

— А почему не хотите?

— Просто не хочу.

— Но это не ответ. У вас есть какие-то серьезные причины?

— Слушайте, — стал я сердиться, — какая вам разница, какие у меня причины, серьезные или несерьезные? Вас послали ко мне, пойдите и скажите, что он не идет, и все. А мне вам объяснять все с начала скучно и неинтересно. Ведь вы даже не знаете, кто я такой.

Оказалось, я не к месту поскромничал.

— Владимир Николаевич, — сказал старший. — Мы знаем, кто вы такой. И хотели бы поговорить с вами не только о выборах.

— А о чем же еще? — удивился я.

— Вообще обо всей вашей жизни. Поверьте, нам есть, что вам сказать. Можно войти?

Заинтригованный их странной настойчивостью, я подумал и сказал:

— Одного пушу. А двоих ни в коем случае.

Для такого предупреждения у меня было достаточно оснований. От подобных агитаторов мне уже приходилось отбиваться и даже с применением чего под руку попадет.

Младший вопросительно посмотрел на старшего. Старший помедлил и сказал младшему:

— Останься и подожди.

— Здесь или на улице? — спросил младший с развязной игривостью.

— Подожди на улице, — был ответ, и младший тут же двинулся к лифту.

Хотя неожиданный гость остался один, я, пропускающая его вперед, был бдителен. Держа дистанцию, обошел его, выключил приемник и спросил, чем могу служить.

Вошедший выдержал секундную паузу, снял шапку и заговорил четко и гладко, словно читал по бумаге:

— Владимир Николаевич, я из райкома КПСС, моя фамилия Богданов. Я уполномочен вам передать, что терпение советской власти и народа полностью исчерпано.

Это были слова, не достойные никакого ответа. Но я счел необходимым хотя бы по ритуалу ответить, что насчет советской власти не знаю, а народу я ничего плохого не сделал.

— Вы можете говорить, что хотите, — продолжил Богданов, — но мне также поручено вам передать, что если вы не измените ситуацию, в которой находитесь, ваша жизнь здесь станет невыносимой.

— Что это значит? — спросил я. — Как я могу изменить ситуацию?

— Я сказал вам все, что мне поручили.

— В таком случае передайте тем, кто вам поручил, что мое терпение тоже кончилось, моя жизнь уже сейчас невыносима и, если речь идет о том, чтобы я покинул СССР, я готов это сделать.

— Хорошо, — сказал он, — я так и передам. До свиданья...

Таким образом, мне, может быть, в тот день единственному человеку во всем Советском Союзе, было предложено реально выбрать одну возможность из предлагаемых двух.

Делай, что должно

Литератор Александр Храбровицкий прислал мне однажды свою работу (впоследствии мною утерянную), которая называлась: „Делай, что должно, и не думай о последствиях“. Собственно, работа состояла из рассказа о том, что существует такое изречение, приписываемое кому-то из древних римлян (в работе было названо имя, но я его позабыл), на латыни оно звучит так-то, а по-французски вот так. Это изречение уважали, записывали, переписывали и передавали другим Паскаль, Толстой, Ганди, кто-то еще...

Изречение мне понравилось. Оно настолько соответствовало моим собственным понятиям об основном правиле поведения (для себя), что я был удивлен, как это раньше оно мне не попадалось. Еще в молодости я пришел к выводу, что думать о последствиях самое безнадежное дело — они непредвидимы. Благоразумие никогда не было в числе почитаемых мною добродетелей. Я делал, что должно, о последствиях особо не заботился, и они в конце концов оказались более милостивы, чем можно было бы ожидать.

Но теперь я все-таки задумался о последствиях, поскольку потерял ориентиры и больше не знал, что должно делать.

И пошел целый

Первый раз меня собирались съесть и отнюдь не в переносном смысле, а самым натуральным об-

разом, когда мне было десять месяцев от роду. Мои родители, которые всю жизнь зачем-то колесили по всем доступным им пространствам, привезли меня из Таджикистана в город Первомайск на Донбассе показать своего первенца бабушке Евгении Петровне и дедушке Павлу Николаевичу, которые в те места тоже попали случайно.

К тому времени на Украине уже начался знаменитый голод 1933 года.

Мать моя, по молодой беспечности оставив меня где-то на лавочке, отвлеклась на какое-то дело, а когда вернулась, того, что оставила там, где оставила, не было. Ей повезло, что тетка, которая меня украла, еще не успела удалиться, что она была неопытная воровка и слишком слаба для борьбы с разъяренной матерью.

Таким образом, я был спасен для дальнейшего сопротивления бесконечным попыткам разных людей, организаций и трудовых коллективов съесть меня, как говорят, с потрохами.

Моя младшая дочь Ольга в возрасте около трех лет сочинила такую сказку:

„Шел слон. Навстречу ему волк. Волк сказал: „Слон, слон, можно я тебя съем?“ — „Нельзя“, — сказал слон и пошел целый“.

Мать моей дочери говорит, что это сказочка про меня.

Но, правду сказать, к моменту, когда слону был предложен выбор, он только со стороны выглядел целым. А на самом деле был уже сильно покусан, обгрызан и еле-еле жив.

С печенью в сердце

В июле 1988 года в палату интенсивной терапии больницы района Богенхаузен в Мюнхене был доставлен русский писатель-эмигрант, который на плохом немецком языке и с помощью дополняющих речь междометий и жестов изобразил жжение в груди вроде изжоги. Дежурный врач вызвал заведующего отделением доктора Кирша. Тот, как выяснилось, бывал в Румынии и потому считал себя осведомленным в родном языке пациента.

— Спокойный вечер, — сказал он, войдя в палату, хотя было всего лишь позднее утро. — Имеете о чем пожалеть?

Писателю было, конечно, о чем пожалеть. Ему было жаль бесцельно растраченных лет, иллюзий, денег и еще того, что сорвалась поездка в Америку. Но он предположил, что его спрашивают не об этом. И догадался: на что он жалуется.

— Ja, ja, — сказал он охотно. — Ich habe etwas für пожалеть. Es brennt hier.

— Где печень? — спросил доктор, продолжая свои упражнения в русском языке. — Тут печень? — И положил руку больному на грудь.

— Найн! — испугался больной. — Моя печень есть здесь. — И показал на правую сторону своего живота.

— Вас? — озабочился доктор. — Здесь тоже печень? — Он встал со стула, воткнул пациенту в живот все десять пальцев и стал мять его, словно месил тесто. Пока месил, забавлял пациента беседой. — У вас в России большие события. Перестройка, гласность. Горбачев великий человек, а

его Раиса очень шармантная дама. — Подумал, покачал головой. — Здесь никакой печени нет. Здесь есть печень. — Положил опять руку на грудь. — Здесь, — повторил, — печени нет, здесь есть.

Больной заволновался. Он допускал, что в результате нездорового образа жизни и чрезмерного употребления алкогольных напитков печень могла сместиться, но неужели так далеко? Подумав, он сообразил, в чем дело, но решил уточнить:

— Доктор, вы имеет в виду, что здесь brennt, то есть печет?

— Яволь! — сказал доктор, довольный, что его наконец поняли. — Здесь печень.

— А здесь не печет?

— Здесь нет печени, — согласился он и принялся делать больному кардиограмму.

Кардиограмма оказалась нехорошей, а в эстетическом отношении и совсем безобразной. Вместо привычных высокогорных зазубрин с острыми углами какие-то кривые ползучие волны, словно проведенные пьяной рукой.

— Но вы не нуждаете иметь никакое волнение, — сказал доктор ласково, — сейчас будем сделать для вас eine Spritze* и вы будете стать совсем покойный.

Немного о смысле жизни

Году приблизительно в 1970-м один доморощенный проповедник, склоняя В.В. к религии и вере в загробную жизнь, сказал:

*Die Spritze (нем.) — укол.

— Это не может быть, чтобы жизнь человека проходила без всякого смысла и кончалась просто ничем. Даже дерево для чего-то существует. Оно поглощает углекислый газ и выделяет кислород для поддержания нашей жизни.

— А мы наоборот, — глубокомысленно заметил В.В. — Кислород вдыхаем, углекислый газ выдыхаем, поддерживаем жизнь деревьев.

Надежды разного свойства

К тому времени, когда В.В., как выражаются англоязычные люди, нашел себя в больнице, на его родине уже третий год шел через пень-колоду исторический процесс, называемый перестройкой. На который В.В. возлагал скромные надежды генерального и личного свойства. Будучи не слишком самонадеянным, В.В. все же лелеял предположение, что в отечественных пределах неприсутствие его как-нибудь ощущается и вот-вот то ли возникнет некое лицо или группа лиц, то ли по почтовым каналам прибудет депеша с почтительным реверансом: давайте, мол, незабвенный, складывайте ваши манатки и возвращайтесь, нам очень вас не хватает. Но, видимо, напрасны и преждевременны были его надежды, и В.В. чем дальше, тем отчетливей замечал, что ни перестройка, ни гласность (немцы произносили „гласность“), никак его не касаются. Увы. В перестроечной прессе мелькали неупоминаемые прежде факты, события, даты, названия и имена, среди которых В.В., напрасно мусоля палец, себя обыч-

но не обнаруживал, а если и обнаруживал, то огорченно вздыхал. Прямо скажем, не часто его поминали, но если уж поминали, то называли врагом перестройки и, как в старые добрые времена, со всякими нечистоплотными и отвратительными животными сравнивали. А соотечественники, которые ему стали все чаще и чаще встречаться, тоже вели себя странно. Говорили медленно, как бы предполагая, что он или забыл русский язык или оглох, и все время невпопад употребляли личные местоимения. Говорили восхищенно: ваши магазины, ваши дороги, ваша природа! Нам до вас еще далеко. В.В. иногда удивлялся и пытался втиснуть свой комментарий, что это у них магазины, дороги, природа, а я, мол, к ним отношусь по временному недоразумению, а вообще-то я как бы один из вас... из нас... тут он и сам начинал сильно путаться, краснеть и сердиться. И думать: а чего это они так настойчиво отделяют его от себя? И хотя корреспондентка В.В., называемая в данном сочинении Элизой, кое-что ему объяснила, он всех встреченных за последнее время советских людей не мог заподозрить в принадлежности к КГБ. Но некоторых трудно было не заподозрить в идиотизме. Десятки встреченных относились с великодушной ухмылкой и, еще не выслушав, перебивали, что он отстал от времени и происходящего в России ему никак не понять. Он думал и не мог взять в толк, когда он так сильно отстал и от чего. Пока не заметил, что те же самые люди на каждом шагу задают один и тот же вопрос: почему он не возвращается? Нет, не говорили, мол, пожалуйста, возвращайтесь, а спрашивали с упреком:

почему не возвращается? Тогда он стал встречно интересоваться: если вы от времени не отстали и знаете, что происходит в вашей стране, то, может быть, вам известно и то, что некоторые люди, и среди них ваш покорный слуга, лишены советского гражданства, а советская наша (ваша) граница все еще на замке?

Пройдет еще два с лишним года, прежде чем перестроечный президент на закате своей карьеры решится издать указ, возвращающий лишенцам возможность вернуться на родину. А пока один и тот же вопрос повторяется без конца, и задающие его, не слыша ответа, подставляют свой, самый пошлый из всех, какие только можно придумать: он не возвращается потому (почему? почему?), что не может жить без западной колбасы.

Тем временем у них в России начался книжный бум. Из печати выходит то, что раньше писалось в стол. „Дети Арбата“, „Белые одежды“, „Ночевала тучка золотая“, „Пушкинский дом“... Читайте, завидуйте. Завидуйте, особенно те, кто писал всегда исключительно в пределах сегодня возможного, приноравливал свое перо к обстоятельствам, писал по указке КПСС. Читающая публика заволновалась. Тиражи толстых журналов достигли немислимых величин, но за спросом не поспевали. Очереди в библиотеках растянулись на месяцы.

В.В. следил за всем издаелека и вдруг засуетился — может быть, никогда в жизни так не суетился. Очень уж захотелось попасть в число печатаемых, читаемых и обсуждаемых. И тем обиднее показались всякие предположения насчет пример-

женности его здешним нашим (их) колбасным изделиям.

Из письма другу

...Можешь себе представить, что в связи с перестройкой здесь вошло в моду все русское. Продают изображения Горбачева и Раисы, матрешки, командирские часы, майки, на которых по-русски написано С.С.С.Р. или даже просто начертаны русские буквы вразброс, но без всякого смысла, вроде: ВПЦДДЫМЛЪЮЕ. Кириллица некоторым здешним людям кажется настолько непостижимой, что один немец всерьез спрашивал меня, неужели из этих букв правда можно складывать какие-то слова. Все большим спросом пользуется русская литература. Нет, не жалкая эмигрантская, скромным представителем которой числится ваш корреспондент, а изготовляемая в России. Сочинители этой литературы в одиночку и группами путешествуют по территориям западных стран, в том числе и Германии. За ними бегут толпы издателей, соревнуясь в желании не упустить нового российского гения, который немедленно объявляется как российский *Der Größte Lebende Schriftsteller* — Величайший Живущий Писатель. Причем величайших оказалось такое количество, что непонятно, остались ли в России просто великие, просто хорошие или просто простые. Величайший Живущий Писатель Рыбаков, Величайший Живущий Писатель Битов, Величайший Живущий Писатель Приставкин, Величайший Живущий Писатель Попов, Величайшая Живущая Писательни-

ца Токарева. Один мой знакомый называет их для краткости ВЖП. Откровенно говоря, наблюдая за передвижениями и речами ВЖП, я первое время втайне надеялся, что, может быть, кто-нибудь из них замолвит словечко и за меня. Ведь они не только ВЖП, но еще и ПП — прорабы перестройки. Со всевозможных трибун выступают с пламенными речами, призывая к стиранию белых пятен, то есть к открытию замалчиваемых прежде явлений, предметов, имен. А поскольку имя автора этих строк тоже стоит в списке замалчиваемых, я все ждал и, признаюсь, даже как бы и предвкушал, что кто-нибудь из разъезжающих героев вспомнит и обо мне.

Подходящих случаев было достаточно. Например, серия вечеров русской литературы, устроенных в здешней Академии при нашем с Ирой содействии. Были приглашены видный критик, два поэта и два прозаика, одним из которых оказался Кирюша. Все шло хорошо, но под конец случилась небольшая перепалка. Кирюша на своем вечере сообщил публике, что свобода, наступившая при перестройке, имела странный эффект: немедленно опустошила ящики письменных столов. Что-то писалось, копилось, лежало годами. Казалось, накоплено столько, что хватит на века. Но время пришло, сразу все напечатали, люди-то думают, что это еще начало, а это уже конец. Печатать больше нечего. Год тому назад я слушал того же выступающего с теми же утверждениями в Нью-Йорке, но тогда спорить не стал.

И здесь его вечер омрачить постеснялся. Но потом у нас был общий ужин в ресторане, и там я в

присутствии академической публики и журналистов сказал: утверждение о том, что вся литература опубликована, не очень точно. Есть целая литература, которую называют эмигрантской, она, не считая отдельных покойников, еще совсем не опубликована, и пока это так, доверять сказкам, что в России наступила полная свобода, следует с осторожностью. А московским коллегам, которые сюда приезжают по нашим приглашениям, не надо пытаться нам же за это вешать лапшу на уши. Кирюша, конечно, понял (и трудно было не понять), что камень в его огород, но возразить ничего не посмел, а начал бурчать вполголоса, что нельзя бороться с тоталитаризмом тоталитарными методами. Какое это имело отношение ко мною сказанному, я не понял, но, между прочим, думаю, что с тоталитаризмом только тоталитарными методами и можно бороться. Тоталитаризм ко всем другим методам не чувствителен. Должен признать, что мое выступление было воспринято не только Кирюшей, но и немецкой публикой с неудовольствием: зачем же ставить гостя в неудобное положение? Тем более что его принимают здесь за либерала (кем он, допустим, может считаться) и за героя, — тут уж, как говорится, ха-ха. Я помню, как лет десять назад Кирюша, будучи одним из составителей известного альманаха, сначала согласился, а потом отказался поддержать своих исключаемых из СП коллег и сказал знаменательную фразу: человек имеет право один раз в жизни отказаться от данного им слова. Меня тогда поразила не робость поведения (это уж ладно), а абсолютная нехудожественность формулировки. (Для меня художественность — это точность.) Что зна-

чит один раз? Какой именно раз: тот или этот? Из какой раскладки вытекает, что не сдержать слово можно один раз, а не два, не три, не четыре? Я уверен, что человек подлинного таланта всегда отличается и подлинностью поведения. Конечно, в какой-то критической ситуации он может струсить, но быть трусом всегда не может. В прошлом году он встречался в Америке с Ефимом и еще какими-то эмигрантами, включая автора этих строк, а потом в „Московских новостях“ немедленно и без видимой необходимости ото всех отрекся, сказав, что с Ефимом у него ничего общего нет, а эмигранты отстали на пятнадцать лет (непонятно, от кого отстали и почему именно на пятнадцать, а не на больше или на меньше, кто подсчитал?).

И вот другой визитер, тоже возведенный в ранг ВЖП. В Штокдорфе за водкой и пельменями состоялся у нас разговор, который передаю почти дословно.

— Обожаю пельмени, — сказал ВЖП. — Хотя мне это совершенно не нужно. Разжирел. Врач говорит: нужно держать диету и самую строгую. А я не могу. Люблю пожрать и ничего не поделаешь. А здесь бы я вообще помер. У вас тут такие колбасы, такие сыры. Ты уже, конечно, не вернешься? — вывел он свой вопрос прямо из гастрономии.

Я занервничал. Эта сказка про белого бычка мне изрядно уже надоела.

— Друг мой заезжий, — сказал я ему, — в моем теле кроме желудка, входа в него и выхода, размещены еще всякие органы и железы, которые вырабатывают мысли, желания, сомнения, радо-

сти, печали, любовь к ближнему, детям, животным, природе и родине. И надежду на то, что я обязательно вернусь на свою родину, буду там жить, писать, печататься, любоваться березками и топить печку березовыми дровами. А поскольку ты такой влиятельный человек, вот и поспособствуй тому, чтобы это случилось.

— Чему поспособствовать? — спросил он.

— Моему возвращению.

— Но ты же не хочешь.

— Кто тебе это сказал?

— Ты.

— Я тебе этого не говорил.

— Старик, — сказал он, кладя на тарелку недожеванный пельмень. — Ты только что сказал, что ты отсюда не уедешь, потому что здесь такая колбаса, такие сыры...

Я пытался говорить с ним медленно и рассудительно, как с душевнобольным.

— Слушай, про колбасу говорил ты, а не я. Я сказал что-то прямо противоположное. Я сказал, что хочу вернуться.

— А зачем? Зачем? — никак он не мог понять. — Ты там жить все равно не сможешь. Ты можешь обижаться, когда говорят про колбасу, но я тебе скажу, это правда, человеку привыкшему к здешней пище...

— Я не привык, — перебил я его. — Я не ем колбасу. Мое любимое блюдо: картошка с постным маслом и с луком.

— Где ты ее возьмешь? — сказал он и в волнении укусил салфетку. — Картошки на рынке нет, а в магазинах только гнилая. Капуста отравлена

пестицидами. Морковь — гербицидами. Помидоры — нитратами. А постного масла днем с огнем не сыщешь. В магазинах пусто. Негде купить штаны. Запчастей для машины не найдешь. Сковородку я везу отсюда. Электролампочки не достанешь. Телевизоры горят. Мясо тухлое. В больницах больных заражают СПИДом. Дети в Чернобыле рождаются с двумя головами.

Я пытался ему возразить. Я сказал:

— Не пугай. Некоторые одноголовые еще как-то живут и голода, слава Богу, нет.

— Есть, есть голод! — закричал он. — Жрать совершенно нечего.

Тогда я, не удержавшись съехидил:

— А как ты борешься с лишним весом?

Представь себе, он не уловил ехидства и чуть не заплакал, говоря, что с лишним весом никак не борется, потому что в диетических магазинах так же пусто, как во всех других. Но под конец, забыв все предыдущее, пообещал:

— Если когда-нибудь приедешь, можешь рассчитывать на пельмени не хуже этих.

...Поверь мне, я нисколько не сомневаюсь в необратимости происходящих событий и в том, что гражданство мне рано или поздно будет возвращено. Но хотел бы получить его пораньше, сейчас. Мне кажется, это мало кто понимает, но события происходят грандиозные, я бы даже сказал, величайшие в современной истории, и я хочу принять в них участие (сам, впрочем, ясно не представляю, какое именно). Я не забываю, что вступил в такой возраст, когда, если еще есть какие-то желания, с исполнением их стоит поторопиться. По-

тому-то и суюсь со своими вопросами о гражданстве к каждому, кто сколько-нибудь приближен к сегодняшней власти.

Недавно был у меня в гостях один депутат, известный, как он про себя говорит, правовед. Хвастался своей близостью к Горбачеву и своей прогрессивностью по части принятия новых законов. Я и его спросил насчет гражданства. Он сказал: „Никаких проблем. Напиши письмо Горбачеву, скажи, что хотел бы вернуться, способствовать перестройке, что никаких материальных претензий нет. Напиши проникновенно, со слезой, он это любит“. Я разозлился. „Ты меня не понял, — сказал я. — У меня материальные претензии есть. У меня к советской власти вообще много претензий. И первая состоит в том, что гражданство должно быть мне возвращено не в порядке оказания милости, а как принадлежащее мне по бесспорному праву. Без всяких слезных прошений.“ — „Ну, как же, как же, — пытался он не упустить формальную сторону дела. — Для того чтобы дать гражданство, нужно какое-то основание“. — „Не дать, а вернуть, — поправил я. — Разве тебе, правоведу, не должно быть понятно, что лишение честного человека гражданства есть преступление? Пока брежневские, андроновские и черненко-ские указы о лишении людей гражданства не отменены, преступление продолжается“. — „Я с тобой согласен, — сказал правовед, — но все-таки, если ты хочешь получить гражданство, надо написать заявление“. — „Нет, заявление писать не буду. Я не писал заявление, чтобы меня лишили гражданства, и не буду писать, чтобы мне его воз-

вратили“. — „Но если ты думаешь, что тебе вернут гражданство без твоей просьбы, это наивно“. — „Тогда наивно думать, — сказал я, — что я попрошу“.

И что ты думаешь? Правовед сделал из этого вывод, что я просто не хочу вернуться, а условия свои ставлю для саморекламы. Мне спорить надоело, и я сказал:

— Да, ты прав, я возвращаться не хочу. А ты хочешь и даже спешишь, потому что твоя электричка уходит через двадцать минут, а я выпил и на машине в город отвезти тебя не смогу.

Я хотел и на нашу станцию отправить его пешком, но пожалел и довез.

Чтобы изобразить весь спектр предпринимаемых мною попыток, расскажу о встрече в Вашингтоне с депутатом еще более важным, чем посетивший меня в Штокдорфе. Депутат выступал с докладом о работе Верховного Совета, где он занимает пост председателя какой-то комиссии. И вот я его спросил сначала публично, а потом в кулуарах, не собирается ли Верховный Совет принимать решения по поводу лишенных гражданства.

Публично он мне ответил, что, конечно же, собирается, а в кулуарах объяснил, что это вопрос второстепенный и у Верховного Совета есть дела поважнее. Я возразил, что более важных дел, чем немедленная отмена бандитских законов и принятие новых, уважающих права человека, у Верховного Совета нет. Он возражать не стал, но спросил, почему меня это так волнует. Я ему объяснил. Он мое объяснение истолковал по-своему.

— То есть вы хотите посетить Москву? Я ду-

маю, что это возможно. Напишите мне письмо, я постараюсь для вас что-нибудь сделать. Адрес у меня простой: Москва, Кремль, мне. Меня там найдут, — добавил он самодовольно.

Я сперва разозлился и хотел послать его не в Москву-Кремль, а по более подходящему адресу, но сдержался. По дороге домой и вовсе остыл и стал думать: а чего я суечусь и куда лезу? Пока книги мои запрещены, я могу о них не беспокоиться. Книги запрещенные живут дольше незапрещенных, живут по крайней мере до тех пор, пока запрещены. А что касается всякой активности, то, может, судьба намеренно меня от нее оберегает, чтобы я занимался своим делом, а не доступной каждому суетой. И гражданство, что ж... Оно в настоящем смысле не паспортом удостоверяется. А впрочем, от высокого штиля воздержимся.

Элиза Барская. Общий Рынок

Общий Рынок — это Люськин восьмой или девятый муж, какой именно, она сама точно не помнит. Когда я спрашиваю, сколько их было, она начинает загибать пальцы: Марик, Леня, Борис, Славка Первый, Славка Второй, Сашка... Она не знает, считать ли Игоря, с которым вместе жили, заявление подавали, но разошлись до расписки. Правда, ни с одним из Славков она тоже расписана не была, но с обоими справляла свадьбу, а от Славки Второго у нее сын Степа.

— Короче говоря, — сбившись со счета, говорит Люська грустно и гордо, — у меня их было больше, чем у Элизабет Тэйлор.

Общий Рынок был найден и подобран ею в Сочи, на пляже для иностранцев „Жемчужина“, куда она попала благодаря своему папаше — бухгалтеру (кажется, главному) „Интуриста“. По паспорту Рынка зовут Владлен, он работает инженером по холодильным установкам, что способствует его широким связям в торговом легальном и подпольном мире. Вся его одежда от носков и трусов до галстуков и запонок не из Болгарословакии, как он презрительно называет весь Восточный блок, а из стран Общего рынка. Вот откуда его прозвище. Даже презервативы он достает исключительно западного производства, некоторые очень мудреной конструкции. Один из них Люська подарила мне, но если бы я предложила его надеть моему мужу, то очень бы его удивила, любовников у меня нет, а подарок я, пожалев выкинуть, держу в шкатулке с моими, если так можно сказать, драгоценностями: малахитовым перстнем, янтарными бусами и дедушкиным серебряным стаканчиком для водки со старинной надписью: „Пей, да дело разумеи“.

Что касается истории с Общим Рынком, то она была простая — из анекдотов о муже, вернувшемся из командировки.

Вернувшись из командировки, Общий Рынок застал Люську с Феликсом Фельдманом. Люська была так беспечна, что даже не позаботилась закрыть дверь на цепочку. Поза была красноречива: Феликс, поставив Люську раком, смотрел по телевизору встречу наших хоккеистов с канадцами и при этом грыз яблоко. Телевизор был

включен на полную громкость, почему они и не услышали звука открываемой двери.

Люська очень смешно (может, даже и привирая) рассказывала, как, увидев мужа в расстегнутом пальто и с портфелем, она растерялась и спросила, почему он приехал раньше времени, а Феликс сообщил ему огорченно, что наши опять выигрывают (он, конечно, болел не за наших), и только после этого опомнился, схватил штаны и убежал в ванную. А когда, приготовившись к смертельной схватке, решился выйти, то увидел, что Рынок досматривает хоккей, находясь в той же позиции, в какой застал Феликса, и к тому же догрызает яблоко, которое бросил Феликс. (Насчет яблока я не поверила, но Люська божилась, что так все и было.) Потом они трахали Люську вдвоем, по очереди и одновременно. Рынку это так понравилось, что через несколько дней он предложил Люське опять пригласить Феликса. На что Люська, со свойственной ей последовательностью, надавала ему по морде и выгнала из дому, сказав, что такие предложения он может делать своим блядам, но не родной жене.

Записки незнающего

Я никогда не был в обычном смысле слова верующим человеком. Но и никогда (или почти никогда, во всяком случае, такого времени не помню) не был неверующим. Я — незнающий.

Я не верю вообще в то, чего не вижу своими

глазами и существование чего не подтверждает мой собственный опыт.

Я допускаю, что Бог есть, но не верю, что он милостив. Будь он милостив, зачем бы ему создавать живые существа такими, какие мы есть, — смертными, страдающими, теряющими близких и с такой жестокостью унижающими и уничтожающими друг друга?

Люди, говорящие о безграничном милосердии Бога, сознательно или несознательно заискивают перед Высшим Начальством, льстят ему, надеясь, что лесть Там будет принята так же благосклонно, как здесь начальством земным. Этим самым люди проявляют свое сомнение в беспристрастности Высшего Суда.

Я не верю, что Бог есть существо, подобное человеку.

Я прочел у Милана Кундеры соображение, которое, кажется, само по себе цитата. Если Бог похож на человека и у него есть рот и зубы, значит, у него есть кишечник, желудок, и значит, он, как мы, ест, пьет и ходит в уборную. И значит, желудок, зубы, печень, почки и прочие органы должны исполнять свои функции, а порой должны и болеть. А если они не болят и никаких функций физиологических не имеют, то зачем же они?

Я не верю, что Бог следит за нашими поступками и потом, после смерти, будет нам воздавать по заслугам. Неужели он не выше этого? Если ему не нравится наше поведение, то почему бы ему нас не переделать, не сделать хорошими? Ах, да. Он наделил нас волей. А кто вам это сказал? Нет никаких доказательств, что любой совершаемый

нами поступок совершается нами сознательно, а не предопределен кем-то заранее.

Немецкие шутки

Немецкий язык один из, наверное, очень немногих в мире, в котором фактически нет матерных слов. Есть слово „фicken“, но мужской орган они называют „шванц“ (то же, что хвост), а женский обозначают словом „мушель“ (раковина). Один германофил, приходящий в восторг от каждого звука немецкой речи, уверяя меня в превосходстве здешнего языка перед нашим, приводил в пример именно слово „мушель“.

— Ты видишь, — говорил он, — насколько это слово точно соответствует обозначаемому предмету. Ведь он действительно похож на раковину.

Я возразил, что наибольшая точность в языке достигается только тогда, когда для каждого отдельного предмета находится свое отдельное слово, а не приблизительные аналоги.

Самые грубые, но употребляемые постоянно немецкие слова — „арш“ и „шайзе“. Но зато эти слова вызывают очень много эмоций и ассоциаций и присутствуют в девяноста процентах немецких шуток.

В больнице я несколько раз смотрел популярную телевизионную программу „Verstehen Sie Spaß?“ („Понимаете ли вы шутки?“). Шутки основаны на том, что член телевизионной команды вступает в отношения со случайно встреченным и снимаемым скрытой камерой человеком и каким-то образом ставит его в неловкое положение. Ну,

например, в магазине продавщицу просят положить яйца на какую-то полку. Она кладет (так специально подстроено), полка рушится, все яйца разбиваются. Она в ужасе, но ей надо работать, она следующую упаковку кладет очень осторожно на другую полку, но и та рушится. Продавщица готова заплакать, но тут появляются телевизионщики и объясняют, что это была всего-навсего шутка, и, если она смеется, значит, относится к понимающим шутки.

Или такая шутка. На швейцарской границе немецкого туриста или туристку останавливает человек в форме полицейского и просит предъявить коробку с медицинским набором на случай аварии. Затем спрашивает: „А где ваши презервативы?“ — „Какие презервативы?“ — „Вы разве не знаете? В связи с распространением СПИДа в Швейцарии принят закон, что все приезжие должны иметь с собой презервативы“. Девушка, от которой требовали предъявить презервативы, настолько растерялась, что не находит слов. Старик, к которому пристали с тем же, начал спорить: „Зачем презервативы, я старый человек, у меня в машине сидит моя жена, тоже старуха. Мы давно этим друг с другом не занимаемся, а уж с кем-то еще...“ — „Нет, — настаивает псевдополицейский, — вы должны иметь презервативы, и вы можете купить их прямо у меня, три марки штука“. Старик, недоумевая, сдается и платит три марки за упаковку с изображенным на ней швейцарским крестом. В это время из кустов выскакивает с микрофоном знаменитый ведущий этой программы, старик узнает его и громко смеется.

И вот коронный номер в лифте со скрытой камерой. Девушка оказалась вдвоем с незнакомым толстым мужчиной и тот неожиданно громко пукает. Девушка, делает вид, что не слышит. Он пукает еще раз и объясняет ей, что съел слишком много лука. Девушка не знала, как реагировать, закатывает глаза. Ту же шутку тот же человек проделывает в том же лифте с китайцем и объясняет, что съел много лука. Китаец по-английски сердито говорит, что не понимает немецкого, и высказывает при первой возможности.

Несколько таких шуток собирают в один фильм, который показывают зрителям в большом театральном зале и передают по телевидению.

Такой вот юмор.

Девяносто девять из ста остаются в живых

После обследования, проведенного с применением новейшей диагностической аппаратуры и введением в сердце катетера, больного в сопровождении швестер Моники и дюжины заглядывающих ему в рот практикантов навестил лично профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии Финкенцеллер. Если кого интересует (меня интересует) этимология слова, ставшего этой фамилией, то оно происходит из двух корней и приблизительно означает „Делающий клетки для зябликов“. Или буквально: „Зябликовый клеточник“. Профессор поздоровался, спросил про перестройку, гласность, Горбачева и Раису Горбачеву (*sehr hübsch**), пощупал

**Schr hübsch (нем.) — очень красивая, прелестная.*

пульс, затем предложил каждому из студентов тоже пощупать, при этом что-то им объясняя. Затем, выгнав их всех и швестер Монику в коридор, профессор присел на край койки, взял руку больного в свою и мягким голосом сказал, что больной находится в худшем состоянии, чем можно судить по внешнему виду, артерии сердца почти полностью закупорены, если ничего не делать, то наиболее вероятный прогноз: в ближайшие дни обширный инфаркт и, увы, — профессор привел выражение своего лица в соответствие со смыслом слов, — летальный исход.

Услышав такое, больной, как ни странно, вовсе не испугался. Даже наоборот, как бы загордился и приосанился. Летальный — это звучит красиво и очень значительно. Это не то, что просто умереть или, тем более, сыграть в ящик, отдать концы, дать дуба, откинуть копыта или что там еще? Слова „летальный исход“ навевают представление о каком-то необыкновенном, волшебном полете.

— Но, — сказал профессор, — у нас есть хороший шанс вас спасти. Мы можем сделать вам операцию. Из ноги вынем вену, порежем на куски, сюда вставим... Это рискованно, но...

— Какая степень риска? — поинтересовался больной.

— Примерно один процент. То есть девяносто девять пациентов из ста остаются в живых.

— Ну, что ж, — склонился к согласию пациент. — Давайте рискуем.

— Вот и хорошо, — заторопился профессор. — Я думаю, это наиболее разумное решение. — И тут же сунул на подпись неизвестно откуда извлечен-

ную бумагу, что в случае чего никаких претензий со стороны летально исшедшего не последует. С этой бумагой профессор так суетился, что у больного мелькнуло невольное подозрение: а нет ли тут какого подвоха. За годы жизни в Германии он то и дело, не извлекая из опыта никакого урока, подписывал какие-то бумаги автоматически, привезя с собой привычки, выработанные в мире, где всякие обязательства, в том числе и закрепленные подписью, мало что значат. Но здесь они как раз что-то значили. В первую очередь их значение проявлялось в том, что с его банковского счета бесконечно снимались платы за подписку на какие-то журналы, от которых он никак не мог потом отвязаться, за обслуживание копировальной машины, которой у него давно не было, за членство в обществе самаритян, о которых он знал только, что к городу Самаре они никакого отношения не имеют.

Больной насторожился и решил для начала изучить бумагу внимательно. Но текст был длинный и не во всех пунктах понятный, и словаря под рукой не было, а профессор стоял над душой, то есть как раз сложилась такая обстановка, при которой он и прежние бумаги подписывал.

Больной взял услужливо протянутую ему ручку и коряво вывел свою фамилию, которая в немецком исполнении удлинялась на целых три буквы.

И сразу полегчало. Теперь осталось положиться на судьбу и на мастерство профессора Финкенцеллера, а там — будь что будет. В конце концов мы все всё равно приговорены к смертной казни, и наши заботы о собственном здоровье есть попытка

всего лишь отсрочить, а не отменить исполнение приговора.

А один все-таки умирает

Швестер Луиза — деревенская женщина лет сорока с квадратной фигурой и лицом настолько рызанским, что кажется странным, как это она ни слова не понимает по-русски. Она пессимистка, в благополучный исход чего бы то ни было, кажется, вообще никогда не верит, а своим пациентам пророчит самое худшее. Мне, когда я еще только-только был сюда привезен, сказала, подвешивая капельницу, что у меня, очевидно, обширный инфаркт, и врачи, конечно, сделают все, что смогут, но... Хорошо, что я оказался не столь впечатлительным, как наш знаменитый актер, который несколькими годами позже выслушал в лондонской больнице подобный диагноз и немедленно умер.

После ухода профессора Финкенцеллера Луиза ввезла на тележке обед и поинтересовалась:

— Ну что сказал доктор? Плохо, да?

— Он сказал, что нужна операция.

— О! — Луиза затрясла головой. — Операция — это очень опасно. Это ведь все-таки открытое сердце. Я раньше работала в хирургии, я там кое-чего насмотрелась. Вам грудную клетку разрежут циркулярной пилой...

И стала с большим удовольствием нагружать меня информацией о подробностях. Меня усыпят, положат, сделают надрез, потом включают циркулярную пилу. Грудную клетку резать не так-то просто, пила визжит, перегревается, пахнет ды-

мом, горелым мясом, кровь брызжет в разные стороны, иногда даже заляпывает хирургу глаза. Потом все ребра вот так раздвинут, сердце вынут и перережут артерии. А вместо них из ноги вынут вену...

— Но, — перебил я Луизу, — профессор сказал, что девяносто девять человек из ста выживают.

— Конечно, конечно, — согласилась Луиза, — девяносто девять выживают. — И тут же покачала головой. — А кто-то один все-таки помирает.

Впрочем, она же сказала мне, что у нее есть друг, который после такой же операции ездит на велосипеде по сорок километров в день очень быстро и хорошо себя чувствует...

Интеллектуальная собственность

В дни между назначением операции и ее проведением больного посетили сначала священник с вопросом, нет ли желания причаститься, а затем нотариус с предложением составить завещание. От священника больной отказался, полагая, что общаться с Высшей Инстанцией лучше всего без посредников, а насчет завещания задумался.

Прожив ко времени операции 56 без малого лет, работая с раннего детства, будучи довольно известным даже в мировом масштабе писателем, больной, как он сам с удивлением обнаружил, весьма не преуспел в накоплении предметов материального достатка. Какие-то кавказские мудрецы придумали, что мужчина может считать жизнь свою прошедшей не зря только в том случае, если родил сына, построил дом и посадил дерево. Сына

пациент наш родил. Родил еще двух дочерей, но они у составителей данной мудрости в счет не идут. Деревья какие-то сажал на каких-то субботниках. А вот дома нет, не построил, жил в чужом. Не владел никакими ценностями дороже подержанного автомобиля, в банке имел минус четыре тысячи марок, и единственным его богатством было то, что, как он потом узнал, называется интеллектуальной собственностью. Эта собственность представляла собой несколько уже написанных книг и порядочное количество бумаг, которые в папках, в чемоданах, в мешках, на полках, в шкафах и просто под кроватью захламляли те помещения, где приходилось обитать нашему автору.

Варианты „Чонкина“. Незаконченные большие куски и мелкие наброски. Развитие главного сюжета, бесчисленные ответвления от него. И вот самый исток замысла.

Приближение к замыслу

Я стоял на углу площади Разгуляй и пил газированную воду. Был 1958 год, жаркий день в середине лета. Я стоял на углу площади. Не на том углу, где строительный институт, а как раз напротив, где овощной магазин. Была середина лета, жара, пахло выхлопными газами, разогретым асфальтом и капустой „провансаль“. Запах этой капусты шел из открытых дверей овощного магазина, возле которого я как раз и стоял.

Капуста „провансаль“ была в те годы незаменимой закуской ко всякому столу, а уж к нашему, тогдашнему, тем более. Когда я работал плотни-

ком и потом учился в пединституте, питание мое состояло в основном из рожек или рожков, не знаю, как в родительном падеже называются эти макароны, короткие и крученые, похожие на рубленых толстых высушенных червей. Вкушающему рожки впервые они могут показаться даже деликатесом, но когда жуешь их, сваренные на воде и без всякой приправы, ежедневно неделю, и две, и три, то от этой преснятины воротить начинает. Но зато уж с аванса, с получки или со стипендии раскошались на бутылку водки и возьмишь этой самой капусты „провансаль“, с яблоками, брусникой, и клюквой, и чем-то еще... ну ладно, хватит об этом.

Итак, я стоял на углу площади Разгуляй возле овощного магазина, где продавали капусту „провансаль“. Я стоял, пил газированную воду без сиропа, пять копеек стакан, хотя мог бы позволить себе и с сиропом „крюшон“ за сорок копеек. Мог бы, но не позволил и пил без сиропа воду, которая накачивалась углекислым газом и превращалась в горьковатый пузырящийся колкий напиток. Газ поступал из стоячего баллона с резиновыми шлангами и проходил через сатуратор, нелепое сооружение на двух велосипедных колесах, ассоциативно вызывавшее ностальгию по временам бипланов, паровозов и немного кино.

Я пил газированную воду и краем уха вслушивался в разговор между газировщицей и другой какой-то тетей, сочувственно внимавшей и цокавшей языком и восклицавшей время от времени „Да что ты!“. Газировщица была возраста лет под сорок, упитанная, широкая в плечах и боках, она сидела на маленькой табуретке, и зад сползал со

всех сторон с табуретки, словно тесто за край квашни.

Газировщица говорила, а руки ее, пухлые, мокрые, красные, с короткими пальцами, ловко управлялись со всеми возложенными на них обязанностями: принимали мелочь, отсчитывали сдачу, обмывали стаканы на колесике-фонтане, дававшем восходящие струи, отмеряли темно-красный сироп из стеклянных цилиндров с метками и затем открывали кран, откуда ударяла в стакан и шипела тугая струя.

Был жаркий день в середине лета, я стоял на углу площади Разгуляй, пил газированную воду и пассивно внимал разговору, вяло текущему мимо ушей.

— Ничего с ним поделать не могу, не слушается меня, паразит, и все. А что я могу ему сделать, если он здоровый как слон. Четырнадцать лет, а уже ботинки, поверишь ли, сорок третий размер и малы. И все радости: школу пропускает, курит, пьет, дома то ночует, то нет. Уже два привода имеет. На той неделе участковый приходил, вы, говорит, Анна, если не примете мер, сына упустите. Упустите, говорит, сына упустите. В колонию попадет, а там уже все. Там его и воровать научат, и грабить, и убивать, да еще, за отсутствием женской ласки, в пидарасы заделают. О, Господи, сколько я ночей проплакала, сколько слез пролила, сколько глотку криком драла, а все без толку. Был бы отец, дал бы ему ремня, а от моего крика что пользы...

— А где отец? — спросила слушательница.

— На фронте погиб, — вздохнула газировщица,

скидывая мелочь в тарелку. — Полковник был. Как в первый день войны ушел, так и с концами.

Я пил воду, краем равнодушного уха улавливал разговор, особо в него не вникая. Но, имея автоматическую привычку манипулировать простыми числами, отнял от пятидесяти восьми четырнадцать, отнял еще девять месяцев и получилось, что ну никак не мог юный злостный курильщик, хулиган и будущий педераст родиться от полковника, пропавшего в начале войны.

Ставя на место стакан, я посмотрел на газировщицу и подумал, что все она врет. Не было у нее никакого полковника и вообще никакого такого человека, которого можно называть мужем, а был кто-нибудь торопливый из нижних чинов, который вступает со случайными дамами в связь, имея в виду, что, по солдатскому грубому выражению, „наше дело не рожать: сунул, вынул и — бежать“.

Имея за плечами какой-никакой жизненный опыт, встречал я в процессе его приобретения разных людей, в том числе и таких вот горемык женского пола. Они никогда не достигли своей изначальной мечты о заботливом муже и благополучной семейной жизни, им перепали всего лишь случайные и торопливые радости соития где-нибудь в сенах, в подъезде, на сеновалах, в кустах, в кукурузе, а то и просто посреди поля на колючей стерне, иногда и с последствиями. В колхозах, строительных общежитиях, при армейских кухнях видел наш сочинитель стареющих и неутешенных как бы вдов, они, не испытав реального счастья, сочиняли себе легенды и жили выдуманным прошлым, как будто всамделишным. Все-все плели

они одну и ту же историю безумной любви и радостного замужества, которое кончилось с началом войны: его забрали, и он погиб, причем обязательно в чине полковника. Ниже нельзя, не интересно, а выше фантазия не поднималась, да и кто же поверит?

Эти сказки рассказывали они, зазывая к себе голодных до женского тела солдат. Которые если и приносили с собой бутылку водки, то и спасибо — месячное солдатское жалование всё на эту одну бутылку и уходило. Так что иные, прижимистые, и вовсе на посещение соглашались при известном условии: поставишь пол-литра — приду.

И опять же по принципу — наше дело не рождать. А то, что она стара, или конопата, или с выбитым глазом, так это, рассуждали солдаты, ничего: глаз можно заткнуть соломой, морду прикрыть портянкой и — сойдет.

В описываемый день я пил газировку на площади Разгуляй, ожидая автобуса номер 3, на котором намеревался достичь журнала „Юность“ (Воровского, 52) и узнать, как там насчет стихов, оставленных две недели тому назад. Но, посмотрев на газировщицу и услышав ее рассказ, вдруг передумал и поспешил домой, вниз по Доброслободскому переулку, лелея в себе неожиданно родившийся замысел рассказа, которому сразу пришло название „Вдова полковника“.

В то время я сочинял стихи. Проза не получалась. В прозе, я знал, надо писать о жизни, которая тебе лучше всего известна. Но мне моя собственная жизнь казалась скучной, недостойной изображения, и потому первый рассказ был о событии, удаленном от меня и моего жизненного

опыта во времени и пространстве. Действие разворачивалось в прошлом веке в Гонолулу...

Не дописавши гонолульский сюжет, я выкинул его на помойку, но мысли о прозе не оставлял. Мысли не оставлял, но сюжеты приходили в голову странные, вымученные, нежизненные. И вдруг эта газировщица и вообразенный ею полковник...

Эврика

Я нес свой неожиданный замысел вниз по Доброслободскому переулку, чувствуя, что сейчас непременно случится то, к чему я стремился, то есть будет написан рассказ, в самом деле рассказ, а не проба пера и не ученический лепет. Я шел то-ропливо, испытывая большое волнение, и, возможно, был похож на одного исторического персонажа, о котором за двенадцать лет до того ученикам ремесленного училища номер 8 города Запорожье преподаватель физики Сидор Петрович Кныш рассказывал так:

— Давным-давно у древней Грэции жив такой ученый по хвамилии Архимед. И вот пишов вин якось у баню и став мытыся и, моючись, загубыв мыдло. Загубыв и не може нияк знайти. Мацав, мацав — не намацав. Мацав, мацав — не намацав. Мацав, мацав — намацав. Пидняв тое мыдло до горы и як тики вытягнув його з воды, воно стало важче. Вин подывывся, опустыв мыдло знову у воду, воно стало лёгше, пидняв — важче, опустыв — лёгше. Тоди вин выскочив з воды як скаженный и як був, у мыдли и голяка, побиг по вулицы и став гукаты: „Эврика! Эврика!“ А люди

його пытаются: а шо ты таке кричишь? А вин тики руками маше и: „Эврика! Эврика!“ А потим при-биг до хаты и став усе, шо у хати було, пихаты у воду, та из воды, у воду, та из воды, и воду ту важиты. Усю тую хату залыв водой, зато вывив закон, запишить. — И диктует, формулируя чисто по-русски: — „Тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость“.

Обстоятельство места

Моим домом летом 1958 года было так называемое семейное общежитие, где я жил со своей первой женой, тогда еще без детей. Мы вдвоем занимали первую половину 16-метровой узкой комнаты, начиная от двери до шифоньера, стоящего поперек. В другой половине у окна жила семья более многочисленная: каменщик Григорий с женой, тещей и двумя мальчиками трех и четырех лет, Петей и Вадиком.

Имущества у меня и моей жены помимо одежды было: большая металлическая кровать с никелированными спинками, сосновый кухонный стол, застеленный клеенкой, две крашеных табуретки и кое-что из посуды — сковорода, кастрюля, пара тарелок. А шкаф, разделявший комнату, принадлежал Григорию, он был человек богатый.

К тому же он был еще и художник, посещал какие-то рисовальные курсы, а дома писал маслом лесные пейзажи, от которых стоял в комнате удушливый запах олифы. Григорий был богат, но не настолько, чтобы иметь свой мольберт. Холст я

подрамнике он устанавливал и закреплял на венском плетеном стуле и, прежде чем сделать очередной мазок, долго прицеливался, прижмуривая то один глаз, то другой. Жена художника, рыжая украинка Галя, сначала родила ему Петю и Вадика, а потом, будучи от мужниного искусства в подавленном состоянии, начала постепенно спиваться, погуливать „налево“ и в конце концов стала многим доступной за бутылку водки, а то и за так. За что перед отходом ко сну попрекаема бывала каменщиком, который нудил шепотом, но слышно было по другую сторону шкафа:

— Ежели тебе не хватает того, что от меня имеешь, и у тебя там чешется, я не возражаю, но можно же по-культурному, а не с кем попало.

— Да разве ж я с кем попало? — оправдывалась Галя. — Да если б я с кем попало хотела, вон он сто шестнадцатый автобус, ходит каждые двадцать минут.

Я не знаю, куда ходил сто шестнадцатый автобус и как влияло его движение на сексуальную активность Гали, но семейная жизнь постепенно разлаживалась. Галя чем дальше, тем меньше заботилась о семье, и для ухода за детьми была выписана с Украины ее мать, крупная старуха, размером с кухонный сервант. Она по ночам сильно храпела и издавала другие трубные звуки, а днем все покрикивала на детей, впрочем, беззлобно: „Вадик, не лазий пид кровать, а то я тобі зараз надаю шлепки по жопи“.

Когда эти слова доходили до ушей Григория, он отрывал кисть от холста, долго смотрел на тещу, а потом говорил тихо и ненастойчиво:

— Мама, не надо говорить по жопе, надо говорить по заднице.

На валенке

Писал я обычно на валенке.

Между двумя комнатами, нашей, на две семьи, и двенадцатиметровой, на одну, был разделявший их тамбур, квадратный, полтора метра на полтора, освещенный голой лампочкой в сорок свечей. Там висела грязная роба, и скапливалась разная обувь. В том числе подшитые валенки жены ожидали подходящего времени. Здесь же был детский стульчик, в котором моя сидельная часть в те годы еще легко помещалась.

Не находя иного спокойного места, садился я на стульчик, ставил перед собою валенок, клал на валенок амбарную книгу в твердом картонном переплете и уплывал от реальности так далеко, что не замечал хождения соседей и хлопанья дверей со стороны то правого, то левого уха.

Так вот, пришел с Разгуляя домой и сразу же сел за валенок. А когда через два часа от валенка оторвался, мое возможное собрание сочинений обогатилось рассказом „Вдова полковника“, впоследствии, конечно, утерянным. А впрочем, рассказ нам тот и не нужен, а в пересказе сюжет выглядел приблизительно так.

В некоей лесостепной полосе стояла деревня (позднее получившая у автора название Красное). Широкое поле рядом с деревней было аэродромом, а при нем расположились авиационный истребительный полк и привязанный к полку батальон

аэродромного обслуживания (БАО). Городок, где жили летчики, механики, мотористы и красноармейцы из БАО, был временный, казармы и командирские общежития друг от друга отличались только плотностью проживания и представляли собой бараки, сколоченные в основном из фанеры. По вечерам при части на пыльном пяточке между летной столовой и казармами БАО бывали танцы под патефон, и как только начинала мембрана излучать в пространство „Дунайские волны“ или „Утомленное солнце“, так деревенские девушки, натянув на себя что получше, попарно и в одиночку тянулись в сторону колючей проволоки, подныривали под нее и возникали на пяточке в надежде на приглашение к танцу и на дальнейшее противоборство. В противоборстве одна сторона стремилась где-нибудь в ближайших кустах или в стоге сена немедленно справить „свое удовольствие“ и тем ограничиться, а в задачу другой стороны входили бдительность, отпор и стремление закрепить любовь обещанием, что охраняемый предмет вожделения после законного оформления отношений (но никак не раньше) перейдет навсегда и в полную собственность алчущего. По принципу: тады хучь ложкой. А чтобы до времени уберечь самих себя от чужого напора и своей же минутной слабости, продевали девушки в трусы не резинки, а веревки, да такие, чтобы впопыхах ни развязать, ни разорвать, ни зубами перекусить.

Была среди этих девушек Нюра, почтальонша, простая, деревенская, кроткая и улыбчивая. Она так улыбалась, словно стеснялась своего собственного существования и того, что слишком много занимает места в этом и без нее тесном мире.

Была она небдительной и веревкой не запаслась. Того красноармейца, с которым танцевала, домой к себе привела и большого сопротивления не оказала. Остался он у нее до утра, надеясь, что дело под воскресенье и строгой проверки не будет, но ни свет ни заря завывала, зарыдала сирена: тревога! Вскочил солдат и, на ходу застегиваясь, побежал к себе в часть, не оставив Нюре ничего, кроме фотокарточки 3х4 и воспоминания, что его звали Ваней.

А случилось это 22 июня 1941 года.

В тот же день самолеты, что стояли там, за ключей проволокой, группами по четыре в ряд, разбежались, поднялись в воздух и в нем растаяли, оставив о себе память в виде каких-то построек, каптерок, бочек из-под бензина, патронных ящиков, промасленной ветоши и истоптанной площадки, где были когда-то танцы под патефон.

Понятно, что Нюра была девушка необыкновенная, иначе зачем автор стал бы о ней писать? Она не могла себе даже представить, что событие, случившееся между ней и Иваном, есть некий пустяк, вроде стакана воды — выпил и позабыл. Нюра думала, что произошло такое, о чем забыть никак не возможно и краткосрочный ее возлюбленный тоже этого не сможет выкинуть из сердца и головы. И уж, само собой, не исчезнет, и не сгинет на фронте, и еще появится в Нюриной жизни.

В ожидании второго пришествия Ивана жила Нюра как обычно: ходила на почту в районный город Долгов, носила письма, и тем, кто в грамоте слаб, их читала, а не слабые сами читали ей. Читали бесхитростно отчеты своих мужиков, женихов, сыновей, отцов, братьев, племянников о боях,

погоде, бомбежке, кормежке, ранениях и страданиях, а ей, Нюре, хоть бы кто прислал хоть бы что.

И вот как-то, завидуя другим и стыдясь сама себя, сочинила она от нечего делать: „Привет из Энской части! Здравствуйте, Нюра! Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам ваш Иван...“

Тут как раз следует наш сюжет замысловатый прервать уточнением, что помимо Григория, проживавшего с семьею за шифоньером, был у меня сосед, занимавший со своей сумасшедшей женой и малолетней дочерью отдельную комнату, вход в которую был тоже через этот же тамбур. Представляете себе, семья всего лишь из трех человек занимала целую комнату в двенадцать квадратных метров! Соседа звали Леха Лихов, был он законченный придурок, стрезва вел себя тихо-мирно, но, поглотивши некий объем алкоголя, выходил в тамбур с раскрытым перочинным ножом и без какой бы то ни было провокации подносил этот нож к моему лицу и, усмехаясь, спрашивал: „Ты вот это вот видел?“ Я вот это вот видел, но не знал, как реагировать. Меня, к месту сказать, два раза в жизни уже ножами пыряли и оба раза просто ни с того ни с сего. В деревне, когда мне было лет двенадцать, мой тогдашний дружок Шурик показал мне новый перочинный нож и спросил: „Хочешь, я тебе глаз выбью?“. Я подумал, что он шутит, и в шутку сказал: „Хочу“. Он, ни на миг не задумавшись, размахнулся, но попал, к счастью, не в глаз, а в бровь. Рана оказалась небольшая, но крови вытекло много, и шрам остался на всю жизнь. А другой раз в ремесленном училище то же самое повторилось один к одному. За обедом

Изя Симкин показал мне нож и спросил: „Хочешь, я тебя ударю?“ Я опять подумал, что шутка, и сам пошутил: „Ударь“. Он размахнулся и всадил мне нож под левую лопатку. На мне были шинель и ватный подшинельник, поэтому до сердца нож не дошел и на будущее профессору Финкенцеллеру осталась кое-какая работа. А шрам тоже остался. И остался опыт, в результате которого я знал, что на Лехины вопросы лучше не отвечать ничего. В случае чего один раз можно выбить нож и скрутить Леху, но я всегда помнил, что жить мне с ним не один день, и если он сейчас спрашивает, видел я это вот или не видел, то в другой раз начнет действовать без вопроса. Поэтому с самого начала (хоть и бывало порою не по себе) я избрал своей тактикой полное нереагирование и настолько не реагировать привык, что писание на валенке под ножом стало уже как бы нормальным рабочим условием.

Я и сейчас реагировать бы не стал, но нужен был слушатель и нужен был просто немедленно.

— Слушай, Леха, — сказал я, — убери нож, я тебе свой рассказ прочту.

Леха от предложения так опешил, что даже стал часто и нервно икать, а потом ушел к себе в комнату, вернулся с двумя полстаканами водки, прилепился спиной к углу и приготовился слушать...

Вдова полковника

Нинке Курзовой от Николая письма приходили чуть ли не каждый день, а иной раз по два, по три

вместе. У него там на фронте прорезался поэтический талант, и все его письма были как бы одним длинным стихотворением:

Вчера ходили мы на бой,
Фашиста били смело.
Сказал командир наш молодой:
Вы дрались умело...

Нинка только руками разводила от удивления. Люди пишут, как люди, а этот...

Не плачьте вы, жена-красотка,
И вы, старуха-мать.
Домой вернемся мы с охоткой,
Вас будем обнимать.

— Старуха-мать, — скептически повторяла Нинка. — Да она у него старуха-мать-то уж три года как померла.

Стихи эти могли Нинку больше порадовать, но было ей не до стихов: и в колхозе работа, и дома, и беременна на последнем месяце, отчего тошнило ее каждый день и кровь прилиwała к голове, и тогда правая щека почти что сравнивалась по цвету с левой, обезображенной родимым пятном. Нинке было приятно, что муж оказался поэтом, но хотелось бы знать, как он живет на самом деле, а стихи были совсем не про то.

— Чего бы ни писал, а раз пишет, значит, жив, — говорила Нюра. — Это и есть самое главное.

— Это, конечно, да, — со вздохом соглашалась Нинка и бросала письмо в угол на лавку, где и остальные письма лежали.

С началом войны сумка Нюры сильно потяжелела. Похоже было, что все люди, сколько-нибудь

умевшие вырисовывать буквы, взялись за перо и — кто во что горазд, иной раз до удивления неграмотно и коряво спешили сообщить кому-нибудь на этом свете, что вот, мол, я, жив-здоров или нездоров, но все-таки жив, чего и вам отчасти желаю.

Даже деду Шапкину, сначала живому, а потом мертвому, регулярно писал с фронта внучатый племянник Тимоша, который обнаружился только недавно. Тимошу в тридцатом году, когда он еще был подростком, вместе с отцом, матерью, двумя сестрами, дедом и бабушкой выслали неизвестно куда, и до самой до войны слуху-духу от них не было никакого. Теперь он писал длинно и обстоятельно, как везли их зимой в промерзлых теплушках много дней и ночей в неведомом направлении, кормя при этом мороженой мелкой картошкой, нечищенной и отваренной, как для свиней. Бабушка спала перед самой дверью и там ночью скончалась, перед тем обмочившись и примерзши к полу.

Довезли их до Казахстана, посадили на большие телеги, везли, везли, сбросили в степи. Дали на человека по полпуду муки и сказали: живите здесь, как хотите. Кто помрет, тому туда и дорога, а кто выживет — молодец. Оставили, правда, несколько лопат, граблей, вил и один топор.

Когда туда приехали, морозы, на счастье, кончились, снег стаял, но пошли дожди, и много дней небо текло на них беспрестанно, степь, промокнув насквозь, стояла набухшая, пустая, из края в край заросшая ковылем да полынью, и было никак не представить, что здесь можно как-нибудь жить.

Не только что бабы, а и мужики взрослые пла-

кали, словно дети. Но отец Тимоши, Тимофей тоже Шапкин, сказал, что плакать толку мало, слезами горю не поможешь, всем велел браться за инструменты. Сам первый воткнул в землю лопату и стал рыть землянку. Кому не достало главной работы, того посылали в степь искать дикое просо, шалфей и всякие травы, рвать руками ковыль да полынь на топку и ловить, коли удастся, хоть сусликов, хоть мышей — делать припасы. На этих припасах долго б не протянули, но отец однажды куда-то ушел далеко, а приехал на лошади. Лошадь убили, а мясо ее ели потом всю зиму. Повезло, что снег опять выпал, морозы ударили, и мясо не портилось. К тому времени уже выкопали две землянки, сляпали печку и так жили, да не все выжили. Первым дед на тот свет отошел, а к весне обе Тимошины сестры захворали какой-то быстротекущей болезнью и вскоре тоже преставились.

По весне позвал отец Тимошу с собою в бега. Пусть поймают, посадят, убьют, все лучше будет, чем здесь помирать.

Шли они через степь, добрались до станции Есиль, там залезли в вагон с брынзой. Отец наелся брынзы и в том же вагоне умер от заворота кишок. А Тимошу на путях схватила железнодорожная охрана, после чего был отправлен он в детский дом. Там он учился сначала в школе, потом окончил школу фабрично-заводского обучения и до призыва в армию работал штукатуром.

Тимоша писал исправно, его письма — грязно-желтые треугольники — приходили почти каждый день. Тимоша разрисовывал свою прошлую и тепе-

решную жизнь до мельчайших подробностей, рассказывал о погибших и раненых сослуживцах, а деда Шапкина о его жизни не спрашивал, как бы полагая, что с тем ничего не происходит и ничего случиться не может. Дед давно уже помер, а Тимоша все писал и писал, не обращая внимания на полное недохождение к нему ответов из Красного.

Всем кто-то что-то писал. Всем, кроме Нюры. С начала войны не было никаких вестей от отца. И Иван, к которому она в мыслях уже привыкла, тоже как провалился.

Она ждала от него письма, но, не дождавшись, сама написала ему, зная только имя адресата и ничего больше. Фамилию у Ивана она в ту ночь спросить постеснялась и теперь написала: „Красная Армия, Энская часть, Ивану, который знает“. Даже чеховский Ванька Жуков адресовал свое послание более точно, он знал дедушкино отчество. Адресат на ее послание никак не отозвался, но и отправление не вернулось, что давало кое-какую надежду.

В момент сочинения рассказа у автора был соблазн сделать героиню беременной, и тогда ее усилия приобретали бы больший смысл. Но литература такая вещь: в ней иногда наибольший смысл имеет бессмыслица. Наличие ребенка придавало бы усилиям героини видимость меркантильного интереса, а автор хотел обойтись без него и потому от идеи беременности отказался. Еще возникал вопрос: а какая же у Ивана фамилия? Казалось бы, большое ли дело, придумать герою фамилию, и в крайнем случае почему бы его не назвать любой фамилией, взятой из телефонного справоч-

ника или из некролога в „Вечерней Москве“? Автор, конечно, мог бы так поступить, но не мог. Потому что фамилию можно придумать любую любому живому бесфамильному человеку, а книжному герою точно не подберешь, так и сам герой не получится. Вот почему автор мучился и за себя и за Нюру, она тоже ничего подходящего вообразить не смогла и оставила Ивана просто Иваном.

Иногда Нюра являлась в Долгов слишком рано и в ожидании прибытия почтового поезда прочитывала вчерашние газеты со сводками Информбюро, регулярно сообщавшими, что советские войска, исполняя стратегические планы Верховного командования, отступили на заранее намеченные позиции. В сводках война изображалась скупой и сухо, но зато репортажи с фронта были полны красочными описаниями подвигов отдельных людей. Больше всего Нюру интересовали подвиги летчиков из Энской части. В газетах часто упоминалась Энская часть, все герои служили именно в ней, и Нюра думала, что действительно есть такая особая и единственная в своем роде часть, которая называется Энская. Летчики Энской части сбивали по многу самолетов противника, бомбили железнодорожные узлы, мосты, составы, уничтожали колонны танков с бреющего полета, шли на таран, выскакивали из горящих машин с парашютом, садились на партизанские аэродромы в тылу немецких войск, подбирали товарищей, сбитых над вражеской территорией, и взлетали с ними на глазах у изумленных врагов. Вот почему и Ивану местом службы была выбрана Энская часть.

Глубокой осенью район был захвачен немцами,

к Новому году снова отбит, но за это время захватчики успели пограбить местное население, и без того почти нищее.

В Красном у людей по разнарядке было изъято десять коров, в число изымаемых попала Нюрина Красавка. Несмотря на то, что Нюра была одинокая женщина. Относись к каждому своему животному, как к близкому человеку, Нюра кидалась к Красавке, пыталась вытащить ее из угоняемого стада. Немецкий солдат из команды, сопровождавшей стадо, сначала пытался оттолкнуть ее руками. Потом пнул ногою в живот, потом ударил ее прикладом по правому плечу и сломал ключицу. Ключица впоследствии сама по себе срослась, но не совсем ровно, правое плечо у Нюры было всегда выше левого, так носят люди больное ухо. В ту же зиму от какой-то чумы передохли у нее куры, и из всей живности остался только кабан Борька, к которому она привязалась настолько, что о превращении его в мясо ей нельзя было даже и намекнуть.

После ухода немцев приступила Нюра к прежней своей работе сельского почтальона. Плелась в Долгов и обратно. Разносила письма по избам. Кажется, в деревне не было никого, кроме нее, кому б хоть кто-нибудь не писал.

Получала письма даже баба Дуня от какой-то своей дальней родственницы с Урала. Одной Нюре не было ничего.

Как-то еще с давних времен осталась у нее целая стопка, штук, может быть, даже сто, ученических тетрадей в косую линейку и лежали они без дела в старом кованом сундуке. Нюра достала

одну из них, положила перед собой, обмакнула ручку в чернила и вот: „Привет из Энской части! Здравствуйте, Нюра! Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам ваш Иван“.

Она вспомнила чьи-то чужие письма и газетные очерки о подвигах разных героических летчиков и, вкладывая в письмо собственные переживания, быстро заскользила пером по бумаге. И получилось у нее письмо, ну прямо как статья в газете, но только получше, потому что искренней и душевней.

Текст, сочиненный Нюрой, ей самой понравился, она вырвала его из тетради, сложила треугольником, написала свой собственный адрес, а потом на почте стукнула по треугольнику штемпелем. Вернувшись домой, письмо перечитала и, перечитывая, поплакала. Она и не думала кому-то это письмо показывать. Она для себя это написала, для печальной утешки в безысходном своем одиночестве. Но зашла к Нинке Курзовой, принесла ей от Николая два новых письма и оба опять в стихах.

Нинка за прошедшее время родила мальчика Никодима, теперь сидела с ним, вывалив грудь, и, пока он питался, причмокивая, она одной рукой придерживала его, а другой стирала в деревянной шайке пеленки.

Имея обе руки занятые, она попросила открыть письмо, увидела опять строчки столбиком, матюкнулась в сердцах и сказала Нюре, чтоб та бросила письмо на лавку в угол, где вся предыдущая корреспонденция лежала частично нераспечатанная.

— Почто бросать? — спросила Нюра. — Это ж от мужа.

— А ну его! — сказала Нинка сердито. — Ну что он пишет? Для чего? Я ему отписала, что дите родилось, что Никодимом назвали, в честь евонного же папаши, а он опять стишки про старуху-мать пишет, которой нету.

Нюре, конечно, какое дело, а все же сказала:

— Знаешь, Нинок, он же тебе не откуда, а с войны пишет. Вот и хочет талант свой показать, покуда жив. А там мало ли чего случится.

— Ежли б чего случилось, — рассудила Нинка, — то другой бы рукой было написано. А это подчерк евонный. Да я-то что. Я-то не против. Но все-таки вот же ж сын. Ну напиши ж ты хоть такой вопрос: как, мол, там сынок мой кровный, как поживает? А уж после этого пиши, хоть как Пушкин и Лермонтов. Так нет же.

Ребенок заснул и отвалился от груди. Нинка перенесла его и уложила в колыску. Пока укладывала, Никодим проснулся и закричал младенческим басом. Нинка стала качать колыску.

— Ладно, — сказала Нюра. — Пожалуй, пойду. — Взялась уже за ручку двери, остановилась. — Слышь, Нинка, — посмотрела на подругу нерешительно и с улыбкой. — А мой-то тоже прислал письмо.

— И чего пишет? — спросила Нинка механически, продолжая качать ребенка. И вдруг спохватилась: — Чего?

— Письмо пришло от Ивана, — сказала Нюра, глядя немного в сторону.

— Когда? — спросила Нинка недоверчиво.

— Вчерась, — сказала Нюра. — Вот. — Она вынула письмо из сумки и показала издалека.

Нинка смотрела на Нюру с открытым ртом. Никодим опять заверещал в люльке. Нинка стала трясти его зверски.

— Чего ж ты молчала? — домогалась Нинка.

— А чего говорить? Ну прислал и прислал, дело обыкновенное.

— Хо-хо, — сказала Нинка, — ничего себе обыкновенное. Столько время молчал, а тут накося! Чего так далеко держишь? Ну-ка покажь.

Взяла письмо одной рукой и, узнав Нюрин почерк, покрылась краской.

— Ну хорошо, что прислал. Проздравляю.

И уже вечером, уложив Никодима, разнесла по деревне: Нюрка мозгу повредила — сама себе письма пишет.

Потом другие это тоже заметили. Но некоторые, может быть, из ехидства, а иные по простодушию стали приставать, мол, если твой мужик объявился и пишет, то почитала бы. Нюра сперва отнекивалась, а потом согласилась.

Вечером, в субботу, после бани, сошлось у Нюры в избе все женское население. Пришла Нинка Курзова с дитем. Пришла Тайка Горшкова с двумя. Пришла баба Дуня с фляжкой самогона. Пришли две девушки-близняшки Манька и Зинка Четоровы и Клавдя, чернявая баба из эвакуированных по прозвищу Чернота. Про Черноту говорили, что она сидела в лагере по уголовному делу, с тех пор хранит на себе разные наколки, одна, главная, на животе: „Здесь лежал мой милый“. Была она баба безвредная, но от здешних отлича-

лась и видом, и ухватками, тем что всегда курила толстые и неумело слеplенные самокрутки, а чувство удивления выражала восклицанием: „Ех-тиёх!“ Что означало, кажется: „Эх, ты, ох!“

Сошлись бабы в Нюриной избе с вежливыми недоверчивыми улыбками. Кто затем, чтобы потом посмеяться, кто просто провести время нескучно.

Расселись кто где. Нюра, не пожалев керосину, засветила лампу семилинейную, фитиль открутила до самого яркого. Развернула треугольник, разгладила аккуратно, осмотрела слушательниц и начала волнуясь: „Привет из Энской части! Здравствуйте, Нюра! Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам ваш Иван.

Извините, что долго не писал постольку, поскольку был занятый уничтожением и убийством немецко-фашистских захватчиков, которые вероломно напали на нашу страну, убивают стариков и старух, насильничают и вообще ведут себя безобразным способом. Приходится вести против них неравные воздушные бои, летая на всяческих аэропланах со стрельбою из пулемета. За время того, что мы с вами не виделись, удалось мне в неравном воздушном бою подстрелить несколько бомбовозов, а также живую силу и танков противника. Только вы не думайте, что я только летаю и только стреляю по бомбовозам или по танкам, а о вас никогда не думаю. Нет, любимая наша Нюра, летая на аэропланах и ведя смертельные схватки в неравном воздушном бою, я постоянно вспоминаю вашу фигуру, ваши глаза, и щечки, и носик, как мы с вами жили, целовались и миловались для совместного счастья. И все это я когда вспо-

минаю, то любовь моя к вам, милая Нюра, возрастает с еще большею зверскою силой, и также ненависть к фашисту-врагу. Также я думаю и уверен впоследствии, что вы меня тоже со временем не забываете, думаете обо мне, как я здесь сражаюсь, и беспокоитесь за мою молодую жизнь и здоровье. А я тоже за вашу. На этом сердечно заканчиваю, жду ответа как соловей лета и желаю вам всего хорошего в вашей молодой и цветущей жизни, ваш муж Иван“.

Вообще-то, у нее было написано просто „ваш Иван“, но, дочитывая письмо, она решила устно усилить впечатление от подписи и прочла не „ваш Иван“, а „ваш муж Иван“.

К прочитанному бабы отнеслись по-разному. Одни сразу во все поверили, потому что письмо было, как положено, с адресом получателя, с почтовым штемпелем, да и трудно было себе представить, что Нюра сама такое выдумала из своей головы. Другие не поверили, но заинтересовались и пожелали услышать продолжение. И, пожалуй, одна только Нинка Курзова отнеслась к письму с полным недоверием и пренебрежением, чего, однако, Нюре в глаза выразить не решалась, а за глаза изображала свою же подругу как чеканутую.

Как бы кто ни отнесся, а в следующую субботу опять собрались бабы у Нюры и прослушали очередное послание:

„А еще сообщаю вам, Нюра, что вчерась, токомы сели завтрикать, как раздался крик нашего командира „тревога“ и зеленая ракета оповестила нас о том, что приближаются вражеские бомбовозы, и командир приказал нам вступить с ними в

неравный воздушный бой. И я немедленно сел в свой самолет и поднял его в воздух. Поднялся я, дорогая Нюра, выше облаков. И вижу: летит на нас целая, можно сказать, армада, и тогда я приблизился и стал стрелять по ним из своего пулемета. И когда я вдарил первую очередь трассирующими снарядами, я увидел, как загорелся один самолет, а потом второй, третий и четвертый, и все четыре попадали на землю...”

— Надо же! — восхитилась Тайка Горшкова.

— Ехтиёх! — отозвалась Чернота.

„...Это была тижолая работа, Нюра. Некоторые люди думают, Нюра, что это легко сбивать вражеские самолеты. А это нелегко. Потому приходится, сражаясь, совершать несколько фигур высшего пилотажа и летать как в обыкновенном положении, так и кверху колесами. А еще, конечно, надо о том подумать, что там, в этих вражеских самолетах, тоже сидят люди такие же, вроде нас с вами, только что говорят по-другому. И может быть, у них тоже есть и жены, и дети, и родители, а также всякие другие родственники, дальние и близкие, и им тоже бывает неприятно, когда приходит к ним похоронка, что он погиб смертью храбрых за родину и за Гитлера. Но что же делать, Нюра, если идет война и эти люди не хотят понимать, что и у меня тоже есть кто-то, кто дорог моему горячему воинскому сердцу? Кто мне дорог, это я имею, конечно, в виду вас. И когда я вспоминаю, Нюра, вас, ваши глазки и вашу улыбку и то, что немцы сделали с вами, отнявши вашу корову, то с новой утроенной силой начинаю бить этих стервятников. И вот которых я побил, а ко-

торые бросились наутек, но один наглый продолжал свой полет дальше, а у меня уже нету патронов и кончились боеприпасы и бензину тоже всего ничего. Но тогда из последних сил догнал я этого уходящего стервятника и всей мощью ударил его своим тарантом...“

— А что такое тарант? — спросила одна из близняшек.

— А это там на самолете имеется такая как бы дубина, — объяснила Горшкова Тайка, — когда патроны кончаются, так бьют обыкновенно тарантом.

„...Вот ударил я его своим тарантом и вижу: самолет загорелся, а летчик схватился за голову и кричит: капут, капут. А когда я спустился на землю, то ко мне подошел наш командир и сказал: „Ты, Ваня, очень хорошо сражался сегодня в неравном воздушном бою, и я тебя за это награждаю орденом Боевого Красного Знамени“.

И так вот я по ночам, когда, бывает, после неравного воздушного боя не спится или, допустим, клопы кусают и думаешь обо всей прошедшей жизни, я думаю, что было у меня такое счастливое время, когда мы с вами встретились в деревне Красное, и что если бы не эти проклятые немцы, то мы создали бы крепкую и дружную нашу семью и вы бы рожали детишек и потом ухаживали за ними, а я бы работал в колхозе или же на заводе. И за вами бы я тоже всегда ухаживал со всей моей сердечностью“.

Слушая это, обе близняшки пустили слезу, а Зинаида Волкова зарыдала и с плачем выбежала из дому.

Так и пошло. По субботам бабы шли в баню, потом к Нюре. Некоторые со своими скамейками, с рукоделем, иной раз и с угощением каким-никаким. Собирались, грызли жареный горох, когда получалось, пили чай вприкуску или вприглядку, кто вязал, кто искал вшей в голове соседки, слушали, вздыхали, обсуждали, плакали, рассказывали про своих, вспоминали прошлую жизнь, думали о будущей. И уже стало это таким правилом, что сходились каждую субботу без предупреждения. Даже и жили от субботы до субботы. А для Нюры подготовка к очередной субботе стала ежедневной работой. Чего в газете прочитает, что услышит по радио, все оценивает, не пойдет ли ей. Отсюда были и описание разных подвигов, и ночные бои, и дальние бомбардировки, и вынужденные посадки, и прыжки с парашютом.

Нинка Курзова чем дальше, тем более ревновала. И однажды сказала Тайке:

— Вот интересно, ходят все к Нюрке, ходят. Все знают, что сама себе пишет, а ходят. Уж чем ее выдумки слушать, пришли бы ко мне. Мой-то мужик не выдуманный.

— Не выдуманный, а пишет глупо. Ты ж сама его стихи читать не хочешь. А ее выдуманный такое надумает, что прямо сердце холонет.

— Надо ж, — дивилась Нинка. — Холонет сердце. А чего ж там холонуть?

Нинка ходила, завидовала, ревновала и однажды взяла да сама сочинила письмо как бы от Николая, но не в стихах. Созвала баб в воскресенье, даже кисель овсяный на всех отварила. Бабы пришли, киселю поели, послушали вежливо, но никто

ни разу не заплакал, не засмеялся. И следующий раз пришла только Зинаида Волкова, да и то из расчета одолжить закваски для теста.

А к Нюре ходили. У бабы Дуни брали самогон, выпьют немного, по полстакашка, и слушают.

Нюре сперва с непривычки трудно было к каждой-то субботе новый текст сочинять, но постепенно расписалась. И пошла, пошла писать текст за текстом, излагая попеременно истории, вычитанные в газетах, услышанные от кого-то и выдуманные ею самой. Писала о совершенных Иваном подвигах, полученных за это наградах, и по лестнице воинских званий тоже героя своего постепенно продвигала все выше и выше. А кроме того, всегда в письмах была тема страстной любви и отклика на события реальной Нюриной жизни.

„Здравствуйте, Нюра, добрый вам день или вечер, а может быть, утро. У меня как раз утро. Проснулся я сегодня оттого, что тихо было в нашей Энской части, и хорошо так вокруг, и солнышко светит, и птички поют, как будто никакой войны не было и нет, и проснулся я оттого, что чувство меня разбудило такое, что вот не один я на целом свете, есть еще одна душа, такая же вроде, как и моя, и даже, может быть, не душа, а половина души, половина моя и половина ваша, и вот половины эти тянутся друг к другу, растягиваются навстречу простыни, и такой широченной, что закрывают все на свете. И вот как стянутся эти две половины, как сойдутся, так можно будет сразу и умереть. Потому что, как я думаю, счастье самое большое — это такое счастье, от которого умирают. А во всем остальном у нас хорошо и

спокойно. Вчерась летал я обратно на задание, и напали на меня одного шесть, а может, и более ихних бомбовозов, и всех их я побил из своего пулемета, но меня один тоже сзади подло ударил своим тарантом, и пришлось мне слезть с парашюта на землю. А командир наш встретил меня внизу и говорит: поздравляю, будешь ты теперь в звании капитана. На этом краткое свое повествование с сожалением завершаю, остаюсь к вам с любовью на веки долгие, с нежностью изумительной ваш Иван“.

Стоит ли говорить, что сама Нюра в выдумки собственные поверила прежде других. Пока пишет, вроде понимает, что пишет сама, а как закончит письмо, так тут же берет его в руки, словно оно и в самом деле прибыло издалека. И, бывало, сама себе начнет перечитывать и улыбается или плачет.

Тайке Горшковой пришла похоронка, она выбежала на мороз в одной рубашке, каталась по снегу, кричала на всю деревню. Нюре стало неловко, что она такая удачливая, — Иван ее воюет, не зная никаких неприятностей, — и к следующей субботе подоспело от него сообщение, что в неравном воздушном бою он был ранен, „слез с парашюта“ и попал в госпиталь. И оттуда написал, что „как только отчнулся, открыл глаза, смотрю и понять не могу, где это я нахожусь и каким это путем я здесь очутился. И вот теперь лежу и, обратно закрывши глаза, думаю о вас, вспоминаю вашу наружность, и ваш голос, и ваше дыхание. А санитарки здесь все красивые, но красивше вас никого нету“.

В письмах содержались разные наставления на все случаи жизни. Иван просил Нюру беречь здоровье и жизнь, из жаркой избы не выбегать на мороз незакутанной и не полоскать белье на реке, пока лед полностью не установится. А также следовали подробные объяснения, как хранить картошку, рубить капусту или подправить крыльцо. Почему-то автора волновали национальные проблемы, он их касался не раз и все в таком духе:

„А некоторые говорят, что немцы это особо зловредная нация, а я так скажу вам, дорогая Нюра, что нации все бывают друг другу равноценные, отличаются только цветом волос или глаз да по-другому еще разговаривают, а в остальном все исключительно такие, как мы, кроме, может быть, цыган. Вчера пришло мне письмо от товарища Калинина, он сообщает, что награжденный я теперь еще один раз орденом Ленина“.

Были соображения насчет наилучшего устройства жизни в данных условиях:

„А женщинам, которые слушают мои письма, передайте, что жизнь ихняя ныне такая тяжелая, что ни в сказке сказать, ни пером описать, но ничего не поделаешь вот такая война. А после войны тоже ничего хорошего не предвидится, потому что количество нашего брата со временем течения войны постепенно уменьшается, а я так думаю, что если бы у нас ввести хотя бы на время басурманские правила, у них же на одного мужика жен бывает и шесть и десять, и так тогда мужчин всем хватает. Я не потому что за такой разврат, но жалко мне, Нюрочка, очень жалко всех женщин, уж до того жалко, что на всех бы сразу же

нился и всех бы сразу пригрел. Но на самом-то деле у меня никого нет и быть не может, кроме вас одной, с чем и расстаюсь до следующего моего письма, которое будет написано через неделю“.

От заботы об обездоленных женщинах и от хозяйственных советов он опять переходил к описанию подвигов, полученных за них правительственных наград и воинских званий.

К концу войны удостоился Иван звания Героя Советского Союза и чина полковника. Нюра знала, что за полковником идут генеральские звания, но поднять своего возлюбленного до таких высот не решилась.

Окончание войны жители Красного встретили кто радостно, а кто с плачем. Бабы, к кому возвращались мужики, радовались, а те, к кому нет, еще больше свое горе горевали. Никто не знал, кто и когда прибудет, некоторые женщины ходили на станцию регулярно, как на дежурство. И Нюра тоже ходила вместе с другими. Она сама за это время так поверила своей выдумке, что, приходя на станцию, вглядывалась во всех появлявшихся там нечасто полковников, иногда, впрочем, смотрела и на тех, кто чином пониже.

В Красное вернулись с войны всего три мужика. Из них целый только один Мякишев, а остальные — Плечевой без руки и Курзов без глаза.

Нюра ходила-ходила, никого не встретила. И тогда сама себе написала извещение.

Коротко написала и сухо: „Настоящим сообщаем, что ваш муж героически погиб в неравном военном-воздушном бою с фашистским стервятником“.

Надо было поставить подпись, и она написала

сначала должность: „командир Энской части“, потом звание „генерал-майор“, потом решила, что это слишком, переправила на „генерал-лейтенант“, подумала, что это маловато, переписала все от начала до конца, обозначила подписавшего „генерал-капитаном“, а фамилию и тут не придумала, поставила закорючку и зарыдала...

Дочитав рассказ до получения Нюрой похоронки, я услышал какие-то странные звуки, поднял голову и увидел, что Леха Лихов плачет и хлюпает носом.

— Ты чего? — спросил я.

— Бабу жалко, — ответил Леха, утираясь кулаком. — Надо же сама себе письма писала и сама же верила! А у нас, между прочим, тоже в деревне была одна, такая же чеканутая. Также письма себе писала, а потом портрет такой себе заказала. Двойной. Она вместе с мужем. Ну, то есть не с мужем, а с этим. Ну как будто бы с мужем. И на стенку повесила...

„Вот! — подумал я. — Вот как должен кончаться этот рассказ!“

Так и закончил.

...В конце сороковых годов появились в деревнях фотогаффы-шабашники. За небольшие деньги, а то и за натуральную плату продуктами увеличивали по клеточкам фотогаффы, а если надо, украшивали, подмлаживали, одевали получше. Один такой в городском пальто с ящиком через плечо постучался к Нюре.

— Ну что, хозяйка, будем делать портреты?

— Чего? — переспросила Нюра.

— Увеличиваю фотографии. Из маленькой карточки делаю большой портрет. Одинарный портрет пятнадцать рублей, двойной четвертак.

Он открыл папку и стал показывать ретушированные фотопортреты разных людей и то, из чего они были сделаны. Подобные творения Нюра уже у кого-то видела и уже не раз думала, как бы и ей заказать такое, но не знала, где и как. А тут подвернулась такая оказия. Она пригласила фотографа в избу, показала ему карточки — свою и Ивана. Снимок Ивана, припиленный булавкой к стене был маленький и выцвел. Человек, на нем изображенный, виден был еле-еле и выглядел как заключенный: голова стриженная, глаза большие, вытаращенные. На обороте осталось посвящение: „Нюре от Вани в дни совместной жизни“, да и этот текст был написан ею самой химическим карандашом.

— Муж, что ли? — спросил фотограф.

— Муж, — обрадовалась она вопросу. — Погиб на войне. Герой Советского Союза был, полковник.

— Понятно, — сказал фотограф. Ему в его практике уже не только полковники, а и генералы встречались. — Так, может, его в полковничьей форме с орденами изобразим?

— А можно? — удивилась Нюра.

— Все можно, мамаша, — сказал фотограф. — Десятку накинешь, мы твоего мужа хоть в маршалы произведем. Согласна? Как, в фуражке будем делать, в папахе или без ничего?

— В летчиской фуражке, — сказала Нюра.

— Можно в летчиской.

Так и договорились.

И неделю спустя появился на стене у Нюры портрет, сделанный точно, как было заказано. Сама Нюра в строгом темном жакете, в белой кофточке, и коса уложена вокруг головы. Рядом с ней лихой военно-воздушный полковник в фуражке с кокардой, в золотых погонах со звездами, а на груди с обеих сторон ордена, а слева над орденами Золотая Звезда Героя. Может, полковник был не очень похож на Ивана, да и сама Нюра на себя не очень-то походила, но портрет ей понравился.

Писать, лежа под колесами грузовика

В бумагах В.В., случайно сохранившихся с восьмидесятого года, записано много мелких подробностей о событиях, приблизивших отъезд. Перечислять все — дело скучное, но В.В. как-никак является одним из персонажей данного повествования, и потому бросим беглый взгляд на тогдашнюю ситуацию.

Предъявленный в феврале „агитаторами“ ультиматум был почти прямым ответом на письмо в „Известия“ в защиту высланного в Горький академика. К тому времени у стратегов со Старой площади и Лубянки были основания думать, что до мысли об отъезде В.В. уже в общем созрел. Они обещали сделать его жизнь невыносимой и по пути исполнения обещания сильно продвинулись, что было героем отчасти предвидено. С первых дней своего странного диссидентства он предполагал, что властям вряд ли покажется соблазнительным вариант расправы обыкновенным образом, путем упечения в лагерь, и догадывался, что они

будут обдумывать варианты в основном уголовные. Он думал и то, что меры будут приниматься по линии усложнения жизненных обстоятельств. Зная, на что идет, он вначале преодолевал возводимые перед ним препятствия с относительной легкостью. Но в конце концов процедура выживания оказалась слишком изнурительной и мало совместимой с попыткой осуществления литературных амбиций. Слишком много всего навалилось. Тотальный запрет на все написанное и вообще на имя. Лишение какого бы то ни было легального заработка и обвинения в тунеядстве. Обещание, что „сдохнет в подвалах КГБ“. Отключение телефона. Мелочи вроде анонимных угроз, нападения из-за угла и проколотых шин. (Шины, кстати, однажды, после некоей пресс-конференции, были продырявлены сразу все четыре. Механик, которому они отданы были в починку, вернул их с большим удивлением: „А у вас враги серьезные. Шины—то не проколоты, а прострелены.“) И отравление в гостинице „Метрополь“ в 1975 году было не совсем безуспешной попыткой превратить В.В. в инвалида.

Некий остроумец заметил, что даже очень талантливому человеку трудно писать романы, лежа под колесами наехавшего на него грузовика.

В.В. все еще пытался продолжать „Чонкина“. Почти каждое утро доставал папку с недописанными главами и вставлял в машинку новый лист бумаги. Но или являлся из дальних мест какой-нибудь сумасшедший ходатай, или с дурацкой улыбкой втискивался в дверь участковый уполномоченный Стрельников, или приходило известие, что

кто-то арестован, надо срочно писать письмо в защиту, созывать иностранных корреспондентов и вообще что-то делать.

В результате В.В. пытался думать о Чонкине, а мысли оказывались совсем в другом месте. И на вложенном в машинку листе появлялась не новая страница „Чонкина“, а открытое письмо Брежневу или Андропову. Письмо начиналось всегда очень вежливо, с попыткой убедить адресата, что он, они, партия, КГБ, советская власть поступают очень неправильно. Вначале ставилось слово „глубокоуважаемый“. Затем В.В. начинал сердиться сам на себя: стоит ли эта сволочь глубокого уважения? Написанное рвется в клочья и спускается в унитаз. Новый вариант начинается с эпитета „уважаемый“. Затем новый лист и — просто имя и отчество. Затем еще один лист и — не имя-отчество, а „господин“. Или „гражданин“...

Да, трудно писать романы и даже открытые письма, лежа под наехавшим грузовиком.

Если посмотреть в то время на В.В. со стороны, то надо признать, что из беспечного, покладистого, мягкого человека, не умевшего, не любившего, не желавшего драться, превратился он в недоверчивую, агрессивно настроенную личность, готовую всегда к нападению. Выходя на улицу, принимал меры, чтобы посторонние не приближались. Если садился на скамейку и кто-то опускался рядом, он тут же вставал и уходил. Вечерами на улице никогда не вынимал из кармана сигареты, чтобы у встречного не было повода приблизиться с предложением якобы прикурить. Тогда у диссидентов было правило, что, если на них нападают, они, подозре-

вал, что это провокация с целью их самих обвинить в хулиганстве, демонстративно поднимают руки и не оказывают сопротивления. В.В. занял другую позицию, сказал себе, что будет по возможности избегать острых ситуаций, но в случае нападения руки вверх поднимать не станет. Пусть нападающих будет сто, он хотя бы одного из них, если сможет, ударит, если не сможет, укусит, не сможет укусить — плюнет в рожу.

В 1977 году в горах Бакуриани ночью они решили его готовность проверить, и четверка молодцов, выдававших себя за местных греков, напала на В.В. и Петрухина. Драка была не на жизнь, а на смерть, и не ожидавшие такого сопротивления „греки“ отступили с ощутимыми телесными повреждениями. Из прямых столкновений В.В. с его оппонентами это было одно из самых серьезных, но не первое и не последнее. В 76-м году во дворе дома из рук В.В. был с трудом вырван переводчик Яшка Козловский, который сказал, что Богатырева убил академик Сахаров. В 79-м году был бит головой об стенку управдом, который прибыл из Баку, в столичной жизни не разобрался и решил помочь КГБ, управившись с В.В. собственноручно. Сначала он запрещал жене В.В. пользоваться стоявшим в подъезде общим телефоном, потом стал преследовать посещавших В.В. людей и однажды приказал слесарям свинтить номера с машины Вали Петрухина. Слесаря были легко отогнаны (им и самим задание не понравилось). Тогда управдом решил вступить в дело сам. Он схватил В.В. за грудки и обещал посадить в тюрьму. В.В. взял управдома за уши и стал бить головой об

стенку, говоря ему при этом всякие грубости. Тут к месту конфликта приблизился некий писатель кумыкской национальности с замечанием, что кавказцы — люди гордые, некоторых оскорблений совершенно не терпят, есть слова, после произнесения коих или оскорбителю или оскорбленному просто не жить. В.В. его спросил, какие именно слова считаются наиболее оскорбительными. Спрошенный сказал: нельзя называть человека собакой или свиньей. Тогда В.В., стучая управдома головой об стенку, назвал его собакой, свиньей, ослом, козлом и шакалом. После чего этот гордый восточный человек никогда больше не отгонял жену В.В. от телефона, не свинчивал у гостей номера, самого В.В. старался обходить стороной, но при случайных встречах здоровался очень вежливо. А уже после отъезда в Германию В.В. слышал, что управдома посадили за взятки. Что В.В. нисколько не удивило. Из всех встреченных им рьяных защитников советской власти он в те годы не встретил ни одного, чья приверженность данному строю не подкреплялась бы уголовными соображениями.

С управдомом В.В. как-то совладал, но всего вместе было уж слишком много. Года за три до того Борис Слуцкий, только что прочтя „Иваньки-аду“, сказал В.В.:

— Я вам завидую. Вы смешно пишете. Вы веселый человек. У вас в крови очень много гемоглобина.

Анализ крови В.В. 80-го года не сохранился, и сколько в нем оставалось гемоглобина, теперь сказать невозможно. Но надо признать, что писал он

уже не смешно. Очевидно, потому, что писать смешно, лежа под колесами наехавшего грузовика, даже трудней, чем писать серьезно.

Деревенщик Василий

А вот описание встречи летом 1980-го. Я приехал в Керчь проститься (оказалось, навеки) с отцом и сестрой, а потом завернул в Коктебель, где был кое-кто из наших друзей. В Коктебеле на набережной, гуляя с тогда шестилетней Олей, я подошел к киоску, где продавался сок, напомнивший строку из „Мастера и Маргариты“: „Абрикосовая дала обильную пену“. Я сунул в амбразуру киоска свой рубль, но, наткнувшись на другую руку, смутился, отстранился и увидел перед собой человека небольшого роста, даже ниже меня, с окладистой седой бородой, которая, казалось, была слишком для него тяжела и пригибала его голову вниз. Он, кстати, тоже был с маленькой девочкой, примерно того же возраста, что и моя. По фотографиям я узнал в бородаче знаменитого уже к тому времени Деревенщика. Живьем я его никогда не видел, но однажды, еще в 1964 году, общался по телефону. Он тогда еще только начинал печататься, я же, будучи его ровесником, ступил на эту дорожку чуть-чуть пораньше, и, должно быть, поэтому он говорил со мной почтительно, называл по имени-отчеству, а себя просил называть просто Василием. Теперь я обратился к нему по фамилии и спросил, он ли это.

Он встрепнулся, обрадовался, хотя уже привык быть узнаваемым, и с заметным самодоволь-

ством, а также и с настороженностью, которая живет в каждом советском человеке, сказал одновременно окая и, как ни странно, картавя:

— Да вроде бы он.

— Очень приятно, — сказал я и тоже представился.

— Как же, как же, читал, — сказал он неожиданным для меня и не очень подходящим к случаю покровительственным тоном, каким говорят старшие с младшими.

Тон его меня удивил, а знание — нет: мне было известно, что многие люди читали „Чонкина“ и „Иванькиаду“ в Сам-и Тамиздате, но все-таки приятно было получить еще одно подтверждение, что и в отдаленных провинциях люди имеют представление о том, что я пишу.

— Читали? Значит, доходят до ваших мест такие книги? — переспросил я, имея в виду опять-таки Тамиздат, переспросил просто из вежливости, в положительности ответа нисколько не сомневаясь.

— Ну почему ж не доходить? Доходят.

Потом я понял, что мы имели в виду разные вещи. Я думал о Тамиздате, а Василий читал что-то мое (вероятно, рассказ „Хочу быть честным“) за семнадцать лет до того в „Новом мире“. Поскольку мы держали в голове разное и по-разному представляли себе текущий литературный процесс, разговор дальше поехал наперекосяк.

Не оставляя своего снисходительного и даже барского тона (для чего я был совсем неподходящим объектом), он поинтересовался:

— Как вас печатают?

Я сказал, что меня просто не печатают.

— Ну просто, — закартавил он с назиданием, — просто никого не печатают.

— Нет, — говорю, — вы меня не так поняли. Меня вообще никак не печатают, ни просто, ни сложно, никак. Я вообще просто полностью запрещенный писатель.

Он пощипал бороду, подумал, видимо, ничего не понял или что-то, может быть, вспомнил, я увидел, что разговор не получается, да и не нужно, и пожалел, что сунулся со своим узнаванием. Мы разошлись. Потом два критика, проживавшие в доме творчества, рассказывали, что к ним обоим заходил Деревенщик, спрашивал: а в чем дело? Ему сказали про меня, что я уезжаю.

Он спросил: что? зачем? почему? Ему объяснили. Он удивился, но осудил и сказал, что я уезжаю зря. Ему сказали: как же зря, ведь, если он не уедет, его посадят.

— Ну что ж, что посадят, — сказал Василий. — Ну, посадят. Это ничего, что посадят, русскому писателю не грех и посидеть.

Оно, может быть, и было бы полезно выслушать подобный совет от того, кто сам следует своим рекомендациям, но Василий, насколько мне было известно, сживал тогда не в Бутырках, не в Леффортово и не в Вологодской пересылке, а исключительно на заседаниях бюро обкома КПСС и в правлении Союза писателей — членом того и другого он тогда состоял. Я ему через тех же критиков передал, что, если он, будучи последователь-

ным, первым сядет в тюрьму, я готов составить ему компанию.

Вернувшись из Коктебеля в Москву, я дома включил телевизор и увидел, что наш Деревенщик уже сидит. На этот раз в Кремлевском дворце, в президиуме очередного съезда Союза писателей, кажется, РСФСР.

Еще один ультиматум

...Ультиматум, предъявленный мне в феврале 1980-го, был не первым, но и, как ни странно, не последним. Следующий ультиматум был передан через Володю Санина.

С Володей я познакомился еще в 1960 году, когда мы вместе работали в редакции сатиры и юмора Всесоюзного радио. Именно тогда и началась наша дружба, правду сказать, весьма неравная, то есть он уделял мне гораздо больше внимания, чем я ему. Он ко мне ходил очень часто и вел себя как младший со старшим, хотя по возрасту старшим был именно он. Он воевал (малолеткой ушел на фронт добровольно), потом вместе с описываемыми им популярниками участвовал в рискованных экспедициях, но в обыкновенной жизни был человеком осторожным, а перед начальством робел. Тем не менее, когда я попал в опалу, он меня, к моему удивлению, не покинул, навещал регулярно и в любой момент проявлял готовность помочь. Этой готовностью я время от времени пользовался. Сочинял под его именем что-то для радио и кино, иногда просто брал у него деньги в долг, а уезжая из Москвы, чемодан с рукописями хранил именно у него.

В середине марта 1980 года Санин пришел очень взволнованный.

— Володя, — сказал он, не раздеваясь, — я по серьезному делу. Вчера мне позвонил Юрка Идашкин. Ты знаешь, из „Октября“ он давно ушел и работает помощником у Стукалина, председателя Госкомиздата. Вообще мы с ним в последнее время не общаемся, но тут он звонит и говорит, что хорошо бы встретиться. Договорились встретиться у „Речного вокзала“. Ну, встретились, прошлись по улице, и вдруг Идашкин мне говорит: ты ведь, кажется, дружишь с Володей Войновичем? Я говорю: да, а что? И тогда он говорит, что на днях был в кабинете у Стукалина. Он зашел туда по делу, а там в это время был еще один какой-то большой человек, и они говорили о тебе.

— И что же, интересно, они говорили?

— Они говорили, что с Войновичем надо кончать. Так и сказали: пора кончать. Когда Юрка зашел, они прекратили разговор, но вот это он слышал и просил тебе передать.

— А больше он ничего не слышал?

— Нет, больше он ничего не слышал, но я его спросил: а что значит кончать? Юрка посмотрел на меня и спросил: „А ты разве не понимаешь? Кончать — это значит убить. Способов есть много. Например, Володя ездит на автомобиле, а на дороге мало ли что может случиться“.

Я не знаю, кто кого считал дураком, кем и на каком этапе была сочинена версия случайно подслушанного разговора, я в нее, конечно же, не поверил. Я понял, что мне делается повторное предложение, и немного удивился, потому что, как мне

казалось, я ясно ответил на первое, сделанное „агитатором“ Богдановым.

То, что повторное предложение сопровождалось очередной угрозой, меня никак не задело, я уже давно пришел к убеждению, что имею дело с людьми, по крайней мере, не умными, которые не понимают, что человек, доведенный до определенного состояния, перестает реагировать на угрозы и тогда употреблять их бессмысленно. Знал я еще и то, что этим людям никогда, ни на каком этапе нельзя показывать, что ты их боишься. Покажешь, они будут шантажировать, торговаться и пытаться сорвать с тебя больше, чем рассчитывали вначале. Чтобы продемонстрировать косвенным образом, но наглядно, что угрозы не имеют и не будут иметь никакого практического значения, я оторвал клочок бумаги, именно оторвал, именно клочок, рваный клочок, с надеждой показать, что я не потрудились даже этот клочок отрезать или оторвать как-нибудь поаккуратнее. Эту бумажку я украсил корявым текстом, который восстанавливаю по памяти, но, надеюсь, достаточно точно: „Я согласен покинуть СССР после того, как будут выслушаны мои весьма скромные условия. Всякие попытки повлиять на мои намерения каким бы то ни было нецивилизованным способом вызовут реакцию, противоположную ожидаемой“. Это был весь текст. Ни указания адресата, ни адреса отправителя, ни подписи, ни числа.

— Вот, — протянул я бумагу Санину, — передай это Идашкину.

Санин с сомнением посмотрел на эту писульку, но аккуратно сложил ее (чем попытался придать ей более или менее правильную геометрическую фор-

му, а потом — мне это не известно, но я так думаю — она при продвижении по инстанции могла быть поправлена и ножницами) и положил в боковой карман.

При следующем появлении (может быть, на другой день) Санин сказал, что бумажку передал и Идашкин очень доволен. Идашкин сказал, что бумажка отправлена по назначению, и он не сомневается, что реакция „на Володино заявление“ будет положительной.

Я был доволен, что кагебешники косвенно унизились и мою писульку возвели в ранг „заявления“.

Был удовлетворен и Идашкин.

„Понимаешь, — сказал он Санину (а Санин — мне), — к нему очень боялись обращаться. После той истории с „Метрополем“, к нему никто не решился подступиться, потому что он реагирует непредсказуемо“.

— Правильно, — сказал я самодовольно. — Действовал и буду действовать непредсказуемо.

Идашкин же сказал Санину (а потом при встрече повторил и мне), что те люди, которые когда-то отравили меня в „Метрополе“, были за эту акцию наказаны.

Все эти дни Санин неустанно совершал челночные рейсы: от меня к Идашкину и обратно. (Не знаю, правда, далеко ли было ходить и не ожидали Идашкин очередного донесения где-нибудь за углом.)

Очень скоро пришел ответ (опять через Санина), что меня готовы выслушать. Я спросил: кто, когда и где? Санин ушел с этим вопросом и на другой день вернулся с ответом, что выслушать поже-

лания поручено Идашкину, время его устроит любое, а насчет места он не знает. У него — наверное, я не соглашусь, у меня — ему неудобно.

— Я предложил для этого мою квартиру, — сказал Санин. — И Юрка согласился. Так что если ты не против...

Я был не против.

Уговорить графа Потоцкого

То мартовское воскресенье помню как сейчас...

У метро „Речной вокзал“ торговали первой мимозой. У автобусной остановки стояла группа неуклюже одетых (в валенках, в брезентовых зипунах поверх телогреек) мужиков, любителей подледного лова, может быть, последнего в том году. На реке лед еще был крепок, а здесь безмятежно сияло солнце и из-под слежалого, темного, сбитого к бровке снега медленно, робко, словно готовые втянуться обратно, выползали ручьи. Это была Пасха, или Вербное воскресенье, или что-то подобное, потому что ясно, четко, празднично и с разных сторон (откуда их столько взялось?) звонили колокола.

Я шел и думал, что вот весна, и тает снег, и звонят колокола, и все могло бы быть хорошо, но почему же этой стране так не везет, почему так получилось, что ею управляют грубые, невежественные, бездарные и ничтожные старики, которые только ради своего властолюбия и корыстолюбия, до сих пор ни тем, ни другим не наевшись (и никаких других объективных причин нет), держат многомиллионный народ в состоянии страха, нищеты и покорности. Неужели эти люди, которые идут на-

встречу с авоськами, с лыжами, с детьми и их са-лазками не видят, как убого они живут? Неужели эта жизнь кажется им сколько-нибудь нормальной? Почему они не бунтуют, не протестуют и сносят безропотно унижения, которым подвергает их государство?

Когда я поднялся к Санину, Идашкин был уже там.

— Как ты думаешь, ты за собой хвоста не привел? — спросил он, сделав озабоченное лицо.

— Не знаю, — сказал я. — Не думал и не смотрел. А тебя это как-то волнует?

Вопрос задан был иронически. Идашкин смутился или сделал вид, что смутился.

— Нет, нет, конечно. Мне в общем-то все равно.

Для разминки поговорили о том о сем, о том, как он после сердечного приступа бросил курить сразу и навсегда, а я пока не бросил.

Перешли к сути дела, начав с общеполитической обстановки.

— Ты понимаешь, — сказал Идашкин, — ситуация в мире, в стране изменилась, это касается всех, но тебя больше, чем многих. Ты существовал, позволял себе, что хотел, и мог рассчитывать на защиту мирового общественного мнения. Теперь нам на это мнение наплевать. Мы, — продолжал он, злоупотребляя местоимениями множественного числа, — влезли в Афганистан и, кажется, не скоро оттуда вылезем. Это уже катастрофически отражается на всех наших других делах. И это делает нас нечувствительными ко многому, что раньше мы ощущали болезненно. Поэтому, если тебя сегодня арестуют и дадут большой срок, и будут какие-то

протесты, они ни на кого не действуют. Мы все равно проигрываем по всем статьям. А с каким счетом — 4:0 или 6:0 — это уже неважно. Но, допустим, тебя не посадят. А просто сошлют куда-то в Якутию. Тебе там будет ой как несладко. Это здесь ты можешь воевать даже с самим Андроповым и писать ему открытые письма. А там ты будешь иметь дело с участковым милиционером. Который даже и не знает, что есть иностранные корреспонденты, и что от их писанины у него может быть какая-нибудь неприятность.

С тем, что говорил Идашкин, я был полностью согласен. Больше того, он единственный из всех, с кем я говорил в те дни, оценивал ситуацию точно так же, как я. Он был прав во всем, кроме одного: ему не надо было меня убеждать, я явился не за этим.

От теперешней ситуации перешли к оценке перспектив. И тут согласились почти во всем.

— Ты пойми, — убеждал Идашкин, — сейчас ситуация острая. Настолько острая, что даже те люди, которые к тебе хорошо относятся и тебя ценят, а такие люди есть, поверь мне... Но даже они сейчас не смогут ничего для тебя сделать. Поэтому уехать — для тебя наиболее разумный выход. Ты уедешь, побудешь там, посмотришь тамошнюю жизнь, посмотришь, как ты в нее вписываешься, а здесь за это время... Слушай, давай говорить реалистически. Это, конечно, совсем между нами, но люди, которые управляют сегодня страной, находятся в таком возрасте, что лет через пять-шесть... — тут он немного спохватился, что позволяет себе больше, чем надо, и быстро проскользил взглядом по стенам и потолку. Но это было совсем

бесполезно, потому что хотя на потолке у Санина не было ничего, кроме люстры, но зато на стенах висели оленьи рога, черепаший панцирь, засушенные морские звезды, за всеми этими реликвиями можно было припрятать микрофоны любого калибра... Испуг его был инстинктивный и краткий, он тут же опомнился и (все же понизив голос) продолжил: — ...лет через пять-шесть никого из них, ни одного человека не останется.

И это было как раз то, о чем я тоже думал, о чем говорил жене и друзьям. Я говорил, что весь этот ряд кувшинных рыл на трибуне Мавзолея время очень скоро (я тоже думал о пятилетию) сотрет, заменит их другими, может быть, более человекоподобными обличьями. Многие мои собеседники, потеряв всякое представление о реалиях, возражали всерьез, что здесь никогда ничего не изменится, что геронтологи работают над членами Политбюро ежедневно и с успехом, и сами эти старики из Политбюро достигли высот в искусстве замены стариков еще более глубокими стариками, и так будет еще сто или тысячу лет, но я, исходя из более реалистических прикидок, точно понимал, что эта гора должна будет скоро, сразу и катастрофически рухнуть.

Все было ясно, но Идашкину, очевидно, нравилась его миссия или соблазняла возможность той откровенности, которой он не смел себе позволить в собственном кругу общения.

— Я тебе советую, — продолжал он, — поезжай, посмотри. Может быть, пожив там, ты увидишь, что здесь тоже не все так плохо, как тебе кажется. Я понимаю, ты опасаясь, что тебя лишат гражданства, но мне кажется, что это не обязательно.

Если ты там не будешь очень активно выступать против советской власти, это никому не будет нужно. Зачем лишать гражданства еще одного писателя? Это неразумно. Кроме того, я тебе скажу так: у нас есть еще немало людей, которые относятся к тебе просто очень хорошо.

Эту часть его речи я выслушал из вежливости. Существование отдельных терпимо ко мне относящихся кагебешников я еще мог бы себе представить, но в то, что меня не лишат гражданства, не верил. Хотя допускал, что это случится не сразу, и на том строил некоторые непрочные планы.

Прежде чем перейти к выдвиганию заготовленных мною условий, я спросил Идашкина, как он думает, нельзя ли достичь примерно такого компромисса: я совсем уйду из общественной жизни и даже скроюсь из виду. Уеду куда-нибудь в провинцию. Не буду делать никаких заявлений. Буду писать, скажем, „Чонкина“, не распространяя. Мне от государства ничего не нужно. Деньги у меня есть, всем ясно, что они есть, и даже ясно откуда. Так вот — пусть меня просто оставят в покое.

Правду сказать, я сам не был уверен, что хочу того, о чем говорю. Хотя, если бы власти на это пошли, я бы подумал о том же более обстоятельно. Но я и сам понимал, что раз уж там где-то решено меня выпроводить, то, значит, машина раскручена и останавливать ее или поворачивать в другую сторону вряд ли кто захочет. Что Идашкин тут же и подтвердил.

— Я, конечно, могу спросить, — сказал он. — Мне это ничего не стоит. Но я думаю, что твой вариант принят не будет. Он нереалистичен. Это как если бы, допустим, Израиль сказал: давайте оста-

новимся на том, что есть. То, что нами захвачено — наше, а остальное пусть останется, как есть.

Тут я немного рассердился и сказал Идашкину, что его сравнение меня с государством, хотя бы и маленьким, может мне польстить, но аналогия некорректная. Мое отличие от Израиля и преимущество состоит в том, что захваченного мною я вернуть не могу, даже если бы захотел.

После чего я выдвинул свои требования, которые, и вправду, были вполне скромны.

— Я уеду только при условии, что мне не будут чиниться никакие препятствия. Куда-то ходить и обивать пороги, добиваясь отъезда, я не буду, и это должно быть ясно.

— Не о чем спорить, — быстро сказал Идашкин. — Где надо, все оговорено, тебе осталось только обратиться в ОВИР, там тебя уже ждут и все документы будут оформлены немедленно.

— Второе, — сказал я, — состав семьи...

— Ты можешь взять с собой всех родственников, каких только хочешь.

— Третье: библиотека, архивы...

— Об этом нечего говорить. Это твое имущество, оно должно быть с тобой.

— Четвертое поважнее. Моя кооперативная квартира должна быть до отъезда передана родителям моей жены, и там до отъезда же должен быть включен телефон.

Идашкин опять сделал озабоченное лицо.

— Ну, на этот последний вопрос я сам тебе ответить не могу. Но я спрошу. И думаю, что это будет решено положительно. Это не каприз, а нормальное резонное требование.

На этом мы разошлись.

На другой день — опять Санин.

— Идашкин просит тебя еще на минутку забежать ко мне.

Забежал.

Идашкин сияет.

— Все твои просьбы, или требования, или как ты хочешь, удовлетворены. Тебе идут полностью навстречу, но и к тебе тоже есть просьба...

— ...уехать до Олимпийских игр?

Идашкин выразил восхищение моей догадливостью:

— Ты угадал.

Не могу даже передать, как мне хотелось немедленно согласиться. Если б зависело только от меня, я бы взял себе несколько дней съездить к отцу и сестре, проститься со старшими детьми и все, и долой.

Надоело! С тех пор как я решил уехать, все время думал: только бы поскорей! Все раздражало. Нет, не только рожи на Мавзолее, не только бегущие по пятам кагебешники и перебегающие на другую сторону улицы вчерашние полуприятеля. Но и все остальные люди, водители автомобилей, милиционеры, продавцы, покупатели, писатели и прохожие надоели! Я знаю, вот сейчас на их глазах кто-нибудь схватят, будут тащить, вязать, убивать, и можешь сколько угодно вопить, они не услышат. Идущий куда-то народ будет дальше струиться мимо, обтекая место насилия, как вода обтекает камень.

В те дни одной старухе очень не повезло столкнуться со мной в темном месте. Ира послала меня

ранним утром за молоком, я шел в коротком полублузе и спортивных брюках, заправленных в сапоги. И в проходном дворе эта убогая, несмотря на темноту, обратила внимание на мою одежду, остановилась и, сердитым пальцем тыча в мою нижнюю часть:

— Это надо же, что носят! — сказала с таким осуждением, будто я шел вообще без штанов.

Я сначала оторопел, остановился, оглядел, что на мне ее так возмутило. И вдруг вся моя злоба на партию, правительство, Союз писателей, КГБ, портреты вождей, кумачовые полотна, Брежнева, Сталина, Ленина и мавзолей Ленина вылилась на эту жалкую старую дуру. Я на нее набросился, наговорил ей всяких грубостей (не пересекая, правда, границ нормативной лексики) и агрессией своей так напугал, что она молча кинулась наутек, и надо заметить, что для ее преклонных лет оказалась довольно прыткой.

Мне все надоело и все надоели, но сразу уехать я не мог. Было сказано, что я могу взять с собой кого угодно. А кого? Пашу и Марину? Но если их, то тогда и их мать, мою первую жену. Не отнимать же у нее детей. Я на всякий случай ей предложил, она не только отказалась, но спрятала паспорта детей, чтобы они сами не решили такого вопроса. Но я и не хотел, чтоб они ее бросили. Я знал, что это ее убьет. Оставались у меня отец и сестра Фаина с малолетним Мишей. Тащить их с собой, таких не приспособленных к жизни? Куда? Что я там с ними буду делать? Что бы ни было, я предложил, но отец отказался: „Куда же мы поедем от наших могил!“ Хотя где там эти могилы? Раскиданы по

всей территории СССР, давным-давно обезличены, цветочек некуда положить.

Со своими близкими я разобрался, остались родители Иры, старые, консервативные, нелегкие на ногу люди. К тому же Данил Михайлович со своей большевистской дурью: „Вы что? Куда вы меня тащите? Неужели я, коммунист, поеду целоваться с вашим Штраусом?“ А Анна Михайловна, в ней никакого большевизма не было, но она по субботам ходила в баню (помыться и к мозолистке), и, если выпадало на этот день какое-то важное дело, из-за которого надо было отменить баню, она испытывала невероятные страдания и не могла себе представить, что помыться можно в пятницу или, наоборот, в воскресенье. А тут надо принимать решение посерьезнее. Уезжают единственная дочь и единственная внучка. Уехать с ними? Куда? За границу? В Германию? Ей, правда, все равно, Штраус, не Штраус, но Германия — это так далеко и так чуждо, что невозможно даже вообразить. И остаться без дочери и без внучки тоже как умереть.

Она говорит Ире:

— Пусть уезжает Володя. Он все это сделал, пусть сам и едет.

Ира спрашивает:

— А Оля пусть останется без отца?

Анна Михайловна не отвечает. Она сама понимает, что ее предложение принять нельзя. Но уехать она тоже не может.

Ира говорит мне:

— Нет, мы сейчас не поедem. Я не могу их бросить сейчас. Давай подождем до Нового года.

— А что случится до Нового года?

— Ну, может быть, они свыкнутся с мыслью, что им придется остаться. Или в конце концов дойдут до мысли, что можно уехать.

Я — Данилу Михайловичу:

— Если не хотите ехать в Германию, езжайте в Израиль. По крайней мере, мы будем достижимы друг для друга. Там вы, если вам очень хочется, вступите в израильскую компартию.

— Вы хотите, чтобы я поехал в эту фашистскую страну? Которая нагло попирает права палестинцев?

Есть прекрасный еврейский анекдот. Приходит к Рабиновичу сват: „Рабинович, почему бы вам не отдать вашу Риву замуж за графа Потоцкого?“ Рабинович: „Что? За этого гоя? Да как вы смеете такое мне предлагать?“ Сват: „Рабинович, подумайте, это же граф Потоцкий, самый богатый человек на земле. Ваша Рива всю жизнь будет жить в хоромах, ходить в шелках, ездить в каретах и как сыр в масле кататься“. Рабинович упирается: „Нет, пусть этот Потоцкий будет хоть трижды богат, но Рива за гоя не пойдет никогда“. Сват употребляет все свое красноречие и наконец, через несколько часов, вырывает согласие. Выскакивает на улицу взъерошенный, взмокший от пота и отдувается: „Ууфф! Теперь осталось уговорить только графа Потоцкого“.

Преуспев в своих уговорах не более, чем этот анекдотический сват, я иду встречаться с Идашкиным и говорю ему:

— До Олимпиады уехать никак не могу. Уеду к Новому году.

Вижу на лице его признаки очень большого

разочарования. Он уже почти выполнил свою миссию, и вот на последнем пункте осечка.

Но я говорю:

— Ты скажи этим, кто тебя послал, что я на время Олимпийских игр из Москвы куда-нибудь уберусь. Я буду эти игры бойкотировать, как американцы.

Он кисло улыбается моей неуместной шутке.

На другой день Санин приносит сообщение. Не-кто сказал Идашкину, что это, конечно, не то, чего мы от него (от меня) ожидали, но ладно, мол, до конца года потерпим.

А потерпят ли в самом деле, а не решат ли выйти из положения более кардинальным способом, это еще не известно.

Я выхожу на улицу. Встречаю критика Михаила Семеновича Гуса. Того самого, который пытался меня удушить еще при моем (литературном) рождении, а потом заливал водой. Это ему принадлежит крылатая фраза: „Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть“.

Раньше я проходил мимо него молча, а теперь стал здороваться. Отчасти из-за его внука, детского врача. Он приходил к нам смотреть Олю и брал почитать „Чонкина“. И вот я встречаю дедушку Гуса, здороваюсь, он останавливается и говорит, покачивая в такт своим словам головой:

— А мне вчера исполнилось восемьдесят лет.

— Поздравляю, — говорю я.

Он вздыхает.

— Да с чем уж там поздравлять?

— Ну хотя бы с тем, что вы до этого возраста дожили!

— Да, — кивает он. — Дожил. И много чего сделал. Много плохого сделал. Вот и вас, молодого, травил.

— Ну это, — решил я его утешить, — неважно.

— Нет, важно, — сказал он и вдруг заплакал. И, махнув рукой, отошел.

Кажется, он чуть ли не единственный из всех встреченных мною людей подобного рода, кого совесть хоть в конце жизни угрызла.

Если бы я был Высшей Инстанцией, я бы искренние угрызения совести считал достаточным основанием для прощения всех грехов.

Это же Чонкин!

„Вдова полковника“ — это рассказ о рассказе, написанном на заре туманной юности, утерянном и приблизительно восстановленном. Здесь есть только Нюра. Ее возлюбленный не имеет еще ни четкого характера, ни облика, ни даже фамилии, но его появление предопределено. Сочинив эту историю, В.В. сразу понял, что нужен второй рассказ о том, кем на самом деле был и что должен был делать персонаж, произведенный Нюрой в летчики, в полковники и герои. Ясно, что он не должен быть ни летчиком, ни полковником, ни героем.

А кем?

В.В. много раз пытался его описать, но получалась бесформенная неживая фигура. Пять лет В.В. писал и печатал что-то другое и все думал, думал, как вдруг возникла перед ним картина, затерянная на задворках памяти: Польша, Силезия, обнесенный красным кирпичным забором военный горо-

док и плац для строевых занятий между казармами и столовой. Вдоль плаца по булыжной мостовой тяжелый немецкий битюг тянет телегу, а в ней — никого. А где же возница? А вон он, попал каким-то образом под телегу, слава Богу, что между колес. Зацепился ногой за вожжу. Лошадь идет, тянет телегу, тянет запутавшегося солдата, он трется мордой о булыжник, не проявляя ни малейшей попытки изменить ситуацию. И другая картина налезла на первую. То же место, та же лошадь, та же телега, но теперь солдат наверху, на облучке. Голова обмотана грязным бинтом. Бинт размотался, выбился из-под пилотки, развевается на ветру. Слегка подбоченясь и откинувши корпус назад, солдат потряхивает вожжами, лошадь неохотно трусит мелкой рысью.

— Ого-го! — покрикивает на нее солдат, и во всем облике его есть что-то нелепое, комическое и трогательное.

— Кто это? — спросил В.В. стоявшего рядом с ним сослуживца.

— Ты разве не знаешь? — удивился сослуживец. — Это же Чонкин!

Из письма другу

Предварительные исследования завершены, и операция назначена на 8 июня. Как ни странно, ожидаю этого события с полным равнодушием. Которое, возможно, достигается медикаментозно — ведь в меня все время что-то вливают. Правда, прошлую ночь меня вдруг обуял ужасный страх. Среди ночи я проснулся и понял, что умираю. Нет,

у меня не было ни боли, ни затруднений с дыханием, а просто чувство, что умираю, и все. Сначала я боролся со страхом сам, потом вызвал швестер Луизу и сказал ей: „Вы знаете, мне кажется, я умираю“. Она посмотрела на меня, пощупала пульс и сказала, что вообще не похоже, но все бывает. Сделала мне укол и пошла за дежурным врачом, но, пока она за ним ходила, я заснул, а на рассвете проснулся совершенно спокойный и стал переписывать завещание. После чего приступил к смиренному ожиданию своей участи. Теперь страха нет совершенно. Об обязательности летального исхода не думаю, но возможности его тоже не исключаю. Не считая себя столь уникальным творением природы, ради которого высшие силы специально будут вникать в ход намечаемого хирургического вмешательства.

Тем более, что время, когда я не мог представить существующий мир без своего присутствия, осталось в далеком прошлом, о котором в моих бумагах сохранилась такая запись.

Я умру

О том, что я умру, я узнал в возрасте девяти лет на хуторе Северо-Восточном (Ставропольский край), куда мы бежали от немцев.

Мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна.

Бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты. Я однажды нашел где-то ведро с зеленой масляной краской, опустил в него обе руки и получил две кра-

сивые зеленые перчатки. Увидев это, бабушка сказала, что масляная краска вообще не отмывается и мои руки придется отрезать. Я ужасно перепугался и даже заплакал, но потом подумал и сказал, что если руки нельзя отмыть, то зачем же их все-таки отрезать? Лучше я буду всю жизнь ходить с зелеными руками. Бабушка возразила, что это никак невозможно. Масляная краска перекрывает все поры, руки без доступа воздуха загниют, и без ампутации не обойтись. Когда я застудил уши, бабушка пророчила мне полную глухоту, и она же одну из своих сентенций начала словами: „Когда ты умрешь...“

Я ее перебил и спросил: а почему это я умру?

Она сказала: потому что все умирают, и ты тоже умрешь. Я сказал: нет, я не умру никогда. Она сказала: что за глупости? Почему это все умирают, а ты один не умрешь? Я сказал: потому что я не хочу. Но никто не хочет, сказала бабушка. Никто не хочет, а все умирают.

Я никак не мог ей поверить. То есть я уже знал, что время от времени где-то каких-то покойников везут в деревянных ящиках куда-то за город или за деревню и там закапывают в землю, такое случилось, например, с моим дедушкой, но я никогда не думал, что это обязательно должно случиться со всеми, и уж вовсе не думал, что может случиться со мной.

Теперь бабушка сказала, что может, и даже непременно случится.

Конечно, моя бабушка была фантазерка и часто рассказывала такое, во что поверить было попросту невозможно. Она даже утверждала, что в свое время была маленькой девочкой.

Я в девочку не верил и в то, что умру, не поверил тоже. Но потом стал думать и попробовал вообразить. Ну, с самой бабушкой все получилось более или менее легко. Она была маленькая, худая, желтая, с острым носиком. Если положить ее в гроб, закрыть глаза, украсить цветами, она там будет как раз на месте. В конце концов, напрягши все свое воображение, я представил себе, что могут умереть мои тетя, дядя, двоюродные братья, даже мама и папа.

Но я?

Было лето, был ясный и жаркий день. Я отошел от хутора подальше в степь и стал смотреть вдаль. В степи, от края до края, серебрился сухой ковыль и перетекал в дымное марево на горизонте. Черный коршун неподвижно висел под солнцем. Я закрыл один глаз и закрыл второй. Открыл глаза поочередно и увидел то же самое: ковыль серебрился, марево дымилось, коршун висел. Я закрыл и открыл глаза одновременно. Все оставалось там, где было, даже коршун не сдвинулся с места.

Я попытался представить, как это все может существовать без меня, но чем больше думал, чем сильнее напрягался, тем яснее понимал, что без меня это не может существовать никак.

Из письма другу

...Что касается моего родословия, то о нем я имел весьма смутное представление до тех пор, пока меня не разыскал некий Видак Вуйнович, серб, бывший артиллерийский полковник, ныне историк и архивист, автор книги о происхождении и

истории нашего рода с 1325 года и до наших дней. По приведенным им данным, род Войновичей (а также Войиновичей, Вуйновичей и Вуйиновичей) идет от некоего Воина, князя Ужицкого (? — 1347), который был властелином обширных земель „от Ужице до моря“ (включавших в себя часть Сербии, Далмации и Черногории), воеводой царя Стефана Дечанского Неманича и его же зятем (женившись на царской дочери Теодоре).

Откуда пошел Воин, кто были его папа, дедушка и так далее, утонуло во мгле веков, зато потом в некоторых ветвях сохранились все имена до единого.

У Воина были три сына: Милош, Алтоман и Войислав. Через Войислава род продолжился так: Стефан — Дейан — Джуро — Милош — Воин — Вуйо — Милош — Воин — Александр — Широ — Никола — Павел — Николай — и я.

От Алтомана пошли Алтомановичи, от одного из Милошей — Милошевичи, а еще от разных потомков Воина пошли Войиславовичи, Сердаровичи, Лаличи, Дондичи и проч., и проч., и проч. Алтомановичи перешли в мусульманство, то есть стали боснийцами. В XIX веке историк Косто Войнович „покатоличил“ и стал писать про себя: „по роду серб, по политике хорват, а по вере католик“. Сын его Иво стал известным хорватским писателем. Сейчас сербы, хорваты, боснийцы враждуют между собой, не помня, что все они — одного корня и говорят на одном языке.

Кажется, в восемнадцатом веке часть рода Войновичей (черногорцы) поселилась в районе Которской бухты, где находился знаменитый Которский

флот. Отсюда члены рода уходили иногда очень далеко, служили разным странам, где достигали порой высоких чинов. Среди них были итальянские и австрийские адмиралы, генералы и даже венецианские дожи. Двое (Иован и Марко) были русскими адмиралами. Мой прапрадед Шпиро (Спиридон Александрович), имел собственный торговый флот, ходил с ним в Россию. Его сыновья, все шесть, капитаны дальнего плавания, в начале 1880-х годов со своими кораблями пришли в Россию навсегда и приняли русское подданство.

У Александра Войновича было шесть дочерей и четыре сына, у Шпиро шесть сыновей и одна дочь, у Николы шесть сыновей, у деда Павла два сына и дочь, у моего отца сын и дочь, у меня две дочери и сын. Сын пока не женат, и если у него не будет сына, эта ветвь нашего рода исчезнет.

По мере захирения нашего рода истощалось и благосостояние. От флота, которым владел Шпиро, его сыновьям досталось по кораблю, а одному из его внуков — моему дедушке — ничего не досталось. По семейному преданию дедушка рос очень застенчивым мальчиком и заикался. Стесняясь заикания, бросил школу, за что родителями был лишен наследства. Может, оно и к лучшему. Потому что слишком умных, образованных и богатых большевики убивали.

Трудно себе вообразить, но я всего лишь пятнадцатый потомок человека, жившего в первой половине четырнадцатого века. Если представить себе, что каждый мой предок знал своего деда, отца, сына и внука (что вполне возможно), то три человека лично знали всех живших в течение шести с половиной веков.

Моих предков по материнской линии я не знаю никого дальше дедушки с бабушкой, евреев из местечка Хащеваты Гайворонского уезда Одесской губернии. Мой еврейский дедушка (насколько я помню мамины рассказы) был человеком малограмотным, но управлял мельницей. Мама говорила „управлял“, и я думал, что он был управляющим, но совсем недавно и случайно я встретил одного престарелого родственника, который мне сказал: „Твой дедушка Колман был голова и имел три собственных мельницы в Одесской губернии“.

Теперь понятно мне, почему в двадцатых годах (опять не очень ясный мамин рассказ) чекисты арестовали его, пытали и отбили почки, требуя выдать спрятанное золото. Не знаю, было ли у него это золото (может быть), выдал ли он его (наверное, выдал), но от прошлого состояния при мне уже не было никаких следов и никаких благородных металлов, не считая дедушкиного серебряного портсигара, маминых золотых коронок и маминых воспоминаний о том, что дедушка любил хорошо одеваться и любимой его поговоркой была: „я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи“.

Все эти рассказы никак не вяжутся с образом, оставшимся в моей памяти.

Мама

Моя мама почему-то всегда боялась впасть в свойственные родителям преувеличения и обо мне и моей младшей сестре Файне говорила:

— Я знаю, что у моих детей никаких особых способностей нет.

А не веря во врожденные наши способности, не верила и в отдельные их проявления. И, очевидно, поэтому с видимым раздражением относилась к моим словам о том, что я помню, как мы в моем раннем детстве попали в аварию.

— Ты не можешь этого помнить, — говорила она сердито. — Ты никак не можешь этого помнить, потому что тебе тогда не было и трех лет.

На мой вопрос, а откуда же я знаю то, о чем говорю, она никакого подходящего ответа не находила, но соглашалась, что да, авария такая имела место. Мы ехали в открытой легковой машине по узкой горной дороге, наш шофер Борисенко перед каждым поворотом притормаживал и сигналил, а встречный автомобиль выскочил на полном ходу и неожиданно из-за скалы. От удара нашу легковушку отбросило, и мы чуть не опрокинулись в пропасть, а машина, которая нас ударила, не остановившись, умчалась.

Сейчас меня в давней истории больше всего удивляет тот факт, что по среднеазиатским горным дорогам уже тогда ходило достаточно автомобилей, чтобы два из них столкнулись на повороте, и один сумел скрыться и не быть найденным.

Подробностей, кто кого стукнул и при каких в точности обстоятельствах, я, конечно, не запомнил, но память сохранила удар и облако оседающей на дорогу пыли. Вот так, хотя и в общем виде, я аварию не только запомнил, но воспоминание это, несмотря на нечеткость общей картины и отсутствия в ней деталей, осталось со мной на всю жизнь.

Почему моя мать не верила в наши с сестрой способности, мне этого никогда не понять.

Сама она была очень способной. Училась урывками, но была всегда и везде первая (чем и гордилась). Когда отца моего посадили, мама, работая по вечерам и имея на руках двоих иждивенцев, меня и бабушку, закончила с отличием дневное отделение Ленинабадского пединститута. Преподавала впоследствии математику в старших классах, а внеклассно (и бесплатно) готовила многочисленных учеников к поступлению в самые строгие вузы страны, включая МГУ, ЛГУ, МИФИ, ФИЗТЕХ и прочие. И ученики ее (если не были евреями), как правило, самый сложный тамошний конкурс преодолевали успешно.

Математика была маминой непреходящей любовью. Найдя, бывало, где-то особенно заковыристую задачу для самых непроходимых математических факультетов, мать в нее жадно вгрызалась и могла по нескольку дней, теряя аппетит и просыпаясь по ночам, колдовать, пока не находила решение.

Она говорила, что ей для сложных решений в уме нужна реальная и чистая плоскость, например, потолок, на котором она мысленно располагала, складывала, делила, перемножала и возводила в степень громоздкие числа с многоступенчатыми превращениями. Решая задачу, она блуждала взглядом по потолку, шевелила губами и дергала рукой, словно чертила мелом.

Второй страстью были книги, которые она заглатывала в огромном количестве. Я встречал в жизни много людей начитанных, но прочитавших столько, пожалуй, не видел. Во всяком случае она прочла книг гораздо больше, чем мой отец, я и моя сестра вместе взятые, хотя мы тоже были читатели не последние.

Читать мама любила лежа, а в годы наибольшего благополучия еще и с шоколадной конфетой, заранее отложенной „на после обеда“.

Надо при этом признать, что читала она без особого разбора, испытывая склонность к сочинениям романтическим, нравоучительным, с положительными героями, а под конец жизни всей другой литературе предпочитала серию „Жизнь замечательных людей“, восхищаясь мужеством, стойкостью, благородством и неподкупностью ее беллетризованных персонажей.

Об отце я подробнее расскажу ниже, но он вообще был человеком очень одаренным литературно и столь высоких нравственных качеств, какие я в такой концентрации в серии „Жизнь замечательных людей“ встречал, а просто в жизни, пожалуй, нет.

В любом случае при таких генах я был просто обречен на обладание какими-то способностями и не совсем заурядным характером, и ума не приложу, почему матери было так важно этого не замечать.

Между тем ее утверждения я запоминал, они в начале моей жизни подавляли меня, и я рос очень неуверенным в себе мальчиком. Я видел, что в некоторых вещах мои сверстники умелее, ловчее, сильнее и (что тоже важно) рослее меня. Не ценя в себе того, чем я от них отличался, я в конце концов пришел к долго меня не покидавшему убеждению, что я хуже всех. При моей унаследованной от отца и, насколько мне известно, от деда склонности к сомнениям, такое представление о себе играло очень плохую роль в моей жизни, только после двадцати лет я стал избавляться от комплекса не-

полноценности, постепенно приходя к убеждению, что я не хуже других.

Мне кажется, я не ушел слишком в другую сторону, во всяком случае, до мании величия не дошел.

Враг народа Рахимбаев

Мне мои самые ранние воспоминания после аварии легко приблизительно датировать, деля их на две половины. Первая половина, до лета 1936 года, была прожита в Душанбе, как раз перед моим рождением переименованном в Сталинабад, а вторая, до мая 1941 года, протекла в Ходженте, переименованном в Ленинабад непосредственно накануне нашего туда переезда.

Из жизни в Сталинабаде я вывез постепенно угасающее воспоминание о няньке тете Зине и тряпичной кукле, названной в ее честь тоже Зиной. И еще — как меня снимали на редакционном балконе газеты „Коммунист Таджикистана“. Фотограф, суя голову в черный мешок, обещал, что из объектива вылетит птичка, и я был очень огорчен, что птичкиного вылета не заметил, и даже хотел не из тщеславия, а исключительно ради птички, надеясь на этот раз не проморгать, сняться второй раз, но второго раза не случилось.

От той неувиденной птички сохранился большой снимок лобастого мальчика в матросской курточке, держащего в руках журнал „Пионер“ с фотографией рыболова на обложке.

В памяти остались катания с отцом на велосипеде, не очень удобный, но ни с чем не сравнимый

способ передвижения на раме. А еще поездки с уже упомянутым редакционным шофером Борисенко в открытом автомобиле. Ветер бил в лицо, сзади струилась пыль, а шофер тешил меня и себя песней: „Эх, яблочко, куда котишься, попадешь ко мне в рот, не воротишься“.

Вспоминается и такое: я перехожу дорогу, а на меня надвигается большой, красивый, коричневый, лакированный, страшный ЗИС-101 со сверкающим никелем радиатором, огромными фарами, и я знаю, что в этом ЗИСе едет злой человек, враг народа Абдулло Рахимбаев. Он ездит специально, чтобы давить маленьких детей, и меня он тоже хочет задавить.

Тут в виде одного воспоминания выступают два, слившихся воедино. Должно быть, я видел машину, она меня восхитила и напугала, когда ее пассажир был еще не врагом народа, а председателем Совета народных комиссаров, но потом он стал врагом народа, и тогда мне стало ясно, для чего он ездил по улицам на своем коричневом ЗИСе.

Бесмертные души

Я не верю в бессмертие души. Если душа может существовать вне нашего тела, то зачем же ей вообще нужна эта ненадежная оболочка? Люди верят в свое бессмертие, потому что не могут примириться со страшной мыслью о краткости и видимой бессмысленности своего существования, и их воображение также не позволяет им представить мир без себя. Я тоже долго не мог себе представить мир без

себя, а теперь представляю и очень легко. Мне кажется, человеческая жизнь похожа на отрезок линии (прямой ли, кривой ли — неважно): с ничего началась и ничем кончилась.

В некотором смысле человек все же бессмертен или почти бессмертен: его гены, а с ними черты внешности и личности и даже прошлый опыт переходят из поколения в поколение, перемешиваясь, но сохраняясь при этом дольше, чем мы думаем. У меня есть родственники, от которых меня отделяет разрыв лет примерно в двести, и тем не менее между нами есть вполне очевидное сходство. Например, взять фотографии мои и Милована Джила-са (он тоже из рода Войновичей) — на некоторых из них мы явно похожи.

Даже манеры передаются генетически. Если потомственного аристократа с младенческого возраста воспитать в крестьянской семье, он будет отличаться неприспособленностью к крестьянскому труду и некоторыми несвойственными крестьянам манерами. Я думаю, что и потомственный крестьянин проявит большую неловкость в бальных танцах и пользовании носовым платком. Переходящие свойства и есть элемент нашего бессмертия.

Неверующие говорят, что Бога нет, а есть природа и есть ее законы. Но если есть такая Природа и с такими законами, то, значит, сама Природа и есть Бог.

Я думаю, что разделение людей на верующих и неверующих, в общем, условно. Неверующие во что-то все-таки верят, а верующие редко верят достаточно. Хотя сами даже этого не знают. Церковь не признает закон эволюции, потому что закон яко-

бы отрицает божественное происхождение человека. А почему отрицает? Почему Бог должен был создавать человека сразу в готовом виде, а не сотворить некий студень, из которого постепенно пусть разовьется все то, что есть?

Ходжент

Следующее воспоминание: мы с дедушкой, маминым папой, едем по какому-то пустырю на фаэтоне с откидным верхом, с пригорка открывается панорама множества приплюснутых к земле одноэтажных домов. Я спрашиваю:

— Дедушка, это что?

— Это город Ходжент, — отвечает дедушка.

Тогда, во второй половине тридцатых годов, город Ходжент оставался почти таким, каким был и за тысячу лет до того, — одноэтажным, знойным, с грязными арыками, пыльными тополями и толстенными акациями, которые, как почтительно утверждало предание, были посажены Александром Македонским, жившим до нашей эры. И ничего удивительного: Ходжент и при мне жил, как до нашей эры.

Что-то из новых времен там уже было. Железная дорога, автомобили, бипланы У-2, но основными приметами пыльных ходжентских улиц, дворов и базаров оставались верблюды, волы, ослы, бездомные собаки, слепой с лицом, побитым оспой, прокаженный с колокольчиком на шее, чайхана, таджики в стеганых халатах и с голыми брюхами, таджички с лицами, закрытыми плотной паранджой из конского волоса.

Из обуви больше всего помнятся ичиги — мягкие сапоги очень хорошей кожи, без подошв, и галоши, блестящие, с красной ворсистой подкладкой и пупыристыми подошвами. Богатые люди ходили в ичигах с галошами, победнее — носили ичиги без галош, еще беднее — галоши без ичигов, и совсем бедные не имели ни ичигов, ни галош.

Это все еще было время, когда люди ездили в пролетках и фэзтонах, белье стирали на ребристых стиральных досках, его же колотили толстыми рубчатыми кусками дерева и полоскали в реке, в утюгах раздували древесный уголь, простуженное горло полоскали керосином, а зубы драли так, что слышно было в другом квартале.

Мелкие торговцы развозили по дворам на ишаках жвачки: кусок вара — пять копеек, кусок парафина — десять. На тех же ишаках прибывали к нам во двор всякие восточные сладости: петушки, тянучки и самое вкусное блюдо на свете — что-то сбитое, может быть, из яичных белков с сахаром и еще с чем-то, белое, как снег, густое, как тесто, и сладкое, как сама сладость, под названием мешалда.

На ишаках же, иногда запряженных в двухколесные тележки (а чаще в мешках, перекинутых через спину), возили молоко, уголь, дрова, да чего только не возили. На ишаках с зазывными криками разъезжали точильщики ножей, лудильщики кастрюль и старьевщики.

На повозке с упряжкой из двух ишаков жившему через двор от нас начальнику НКВД Комарову был доставлен большой деревянный ящик, а из него извлечен обложенный для сохранности струж-

ками, черный, сверкающий, как галоша, мотоцикл с толстыми колесами и мощной фарой.

Наша улица тянулась вдоль берега реки Сыр-Дарьи и называлась Набережная. Между улицей и берегом была еще булыжная мостовая (с арыками по обе стороны), за ней луг, а уж за ним река, отгороженная от луга насыпной дамбой против наводнений.

Берег был песчаный, пологий, там женщины купались в трикотажных рейтузах с резинками под коленями и в полотняных стеганых лифчиках, а мужчины либо в кальсонах, либо совсем без ничего — входя в воду или выходя, прикрывались ладонями.

А на лугу, готовясь к битвам с мировым империализмом, тренировались кавалеристы в фуражках с опущенными под подбородок ремешками.

Они скакали на лошадях, преодолевали препятствия и рубили лозу, взмахивая длинными, сверкающими на солнце пашками.

Мир в целом оставался таким, каким он был сто, двести и тысячу лет назад, и при Александре Македонском. Мощность армии все еще измерялась количеством штыков или сабель. Дети, играя в войну, скакали на палочках верхом, и эти же палочки превращались по мере необходимости из лошадей в пашки.

Евреи тела

Итак, больному было сказано, что до операции он должен вести себя с исключительной осторожностью, инфаркт может развиваться в любую секунду.

Поэтому из палаты выходить разрешается, но ненадолго и не дальше этого коридора. Быть всегда в сфере видимости врачей. Ни в коем случае не курить.

Он себе обещал, что после операции бросит, но пока продолжал курить и именно для этого несколько раз на дню прятался от врачей, так что в случае катастрофических последствий курения врачи нашли бы его нескоро. Правда, количество выкуриваемых сигарет он сократил и рассчитал так, что в утро операции у него оставалась одна последняя сигарета. Он собирался ее медленно и с наслаждением выкурить и на том проститься с сорокалетней привычкой.

Накануне вечером швестер Моника пригласила его в процедурную, сказав: „Будем бриться“. Он взял в горсть собственный подбородок: „А что, вам кажется, я не брит?“ Она улыбнулась: „Здесь да, а там, наверное, нет“. „А зачем? — спросил он. — Меня же резать будут здесь, а не там“. „Не знаю, — сказала она, — я не операционная сестра, а дежурная, но я знаю, что так полагается“. Стесняясь предстоящей процедуры, он попросил у Моника бритву, с тем чтобы исполнить все самому, но она эту идею отвергла, бритье должно быть качественным, а ему самому ввиду сложной конфигурации выбриваемого места справиться с ним будет не так-то просто. „А у меня большой опыт“, — сказала Моника.

Она отвела пациента в процедурную, уложила на стол, покрытый клеенкой, и стащила с него штаны. Он лежал в глупом виде: верхняя половина одета, а нижняя — наоборот. Он лежал на спине с

выставленным наружу этим, беспредельно конфузясь, что у него это есть и что оно такое жалкое, скукоженное, маленькое, похожее, скорее, на детскую пипку, чем на мужской детородный орган. Он совсем готов был сгореть от смущения, когда Моника, прежде чем дотронуться до, надела очки, словно без них такую малость могла не разглядеть. Но он стал приходить в себя, когда заметил, что Моника относится к этому предмету, как к любому другому в сфере ее внимания. Взяла двумя пальцами, оттянула, схватила баллончик фирмы „Жиллет“, нажала на кнопку, и из него, словно из огнетушителя, бурно полезла пена, которой было щедро покрыто все пространство ниже пупа, вокруг предмета, и около. Отставила баллончик, взяла безопасную бритву, принялась за работу. Держа предмет в вытянутом состоянии, поворачивала его туда и сюда, как парикмахеры прошлого, брея клиентов, держали их за кончик носа. Почти сорок лет, со времен прохождения пациентом военкоматских комиссий, ни одна женская рука не касалась этого места со столь безличным к нему отношением.

...Когда-то у В.В. был сосед, по социальному положению член Союза писателей СССР и по профессии сказочник. Он писал сказки про добрых зверей и птиц, и самым добрым существом был у него переходящий из сказки в сказку Добрый Аист, которого автор обычно наделял своими собственными, как ему виделось, достоинствами. Поэтому самого сказочника добрые к нему люди звали Добрый Аист, а не очень добрые прозвище сократили и называли попросту Дрист. Но мы все-таки будем называть его, как он хотел, Добрым Аистом или для

краткости просто Аистом. Так вот с этим Аистом у В.В. был спор о возможности (опять та же тема!) употребления в литературе ненормативной лексики. Герой нашего повествования тогда еще только склонялся к мысли, что литература, претендующая на правдивое изображение жизни, никак не может удержаться в общепринятых рамках приличий. Аист реагировал на эти суждения с большим и пылким негодованием. „Мат, — кричал он, — это что-то грязное, омерзительное. Матерные слова придумал какой-то отвратительный горбатый онанист“.

В.В. с этим мнением согласиться не мог. Он считал, что матерные слова — это обыкновенные слова, придуманные народом всего лишь для обозначения определенных частей тела и действий. Был бы странным и убогим язык без этих обозначений. Но, может быть, именно тот самый горбатый онанист и к тому же ханжа и придумал разделить слова на приличные и такие, которые надо произносить сладострастно, шепотом и с оглядкой. „Глупости! — пылал в негодовании Аист. — Почему, если вам хочется зачем-то помянуть свою пипку, вы должны обязательно употреблять слово из трех букв? Вам разве недостаточно сказать „половой член“? „А почему вы, — сказал его собеседник, — вот это сооружение, что у вас между щек, называете словом из трех букв, а не сморкательным членом?“

Это был многолетний спор, в процессе которого Аист наконец допустил, что неприличные слова в редчайших случаях употреблять можно, но только не в прямом смысле. С чем его оппонент опять не согласился. Потому что считал, что избавиться от

понятия „мат“, оприличить „неприличные“ слова можно только единственным способом: введением их в нормальный речевой обиход и употреблять в самом прямом смысле. Но сам он своему убеждению следовать не решался.

Сейчас, когда в столь непрезентабельном виде (да еще перед молодой женщиной) В.В. лежал на столе, похожем на разделочный, ему пришло в голову, что половые органы на теле человека, это как евреи в России. Никто не бывает к ним равнодушен, но одни полагают, что они ужасны и отвратительны, а другие делают вид, будто не знают, что это такое и для чего существует. Обозначать их словами следует с большой осторожностью. „Жид“ звучит так же непристойно, как другое слово с тем же количеством букв. Слово „еврей“ цензурно, но употребляется как бы в научном смысле, как латинское „пенис“. Сказать это слово бывает нужно, но при произнесении возникает заминка, говорящий пытается пробросить его незаметным пасом и тут же двинуться дальше. Человек называет себя русским, украинцем, татаринцом так же просто, как слесарем, пекарем, инженером, но каждый, кто говорит „я еврей“, так или иначе, напрягается и или выдавлиывает из себя как признание, или произносит с вызовом: да, я еврей, ну и что? Если русского еврея, как бы спокойно он ни относился к своей национальности, подвергнуть испытанию детектором лжи, он будет быстро, четко отвечать на любые вопросы, но при вопросе „кто вы по национальности“ непременно замнется, что будет прибором четко отмечено.

И многие другие люди (я не имею в виду антисемитов) при произнесении слова „еврей“ испыты-

вают разнообразные сложные чувства. Произнося по необходимости, дают понять, что ничего плохого о евреях не думают (варианты: „евреи тоже хорошие люди“, „евреи тоже бывают всякие“, а то и самокритично: „евреи плохие, но и мы тоже не лучше“) или о данном конкретном еврее плохо не думают („он хотя и еврей, но хороший человек“), а многие смягчают неудобное слово уменьшительным суффиксом „еврейчик“ или вводя бюрократический оборот: „лицо еврейской национальности“ (я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал „лицо русской национальности“). А то и вовсе пытаются обойтись эвфемизмом, как, например, в Одессе, где евреев, боясь оскорбить, называют маланцами.

Деревенская старушка рассуждала на эту же тему: „Евреи хорошие люди, только название у них очень противное“.

...Теплой губкой Моника обмыла обскобленную поверхность и махровым полотенцем мягко вокруг обтерла. Пациент скосил глаза, и то, что он увидел, было похоже на жалкого, общипанного, синего цыпленка, которого долго морозили в морозильнике.

Сами знаете

К тому, что сказано выше.

В шестьдесят каком-то году мы с женой зашли в ресторан „Якорь“ на улице Горького. Это был ресторан еврейской кухни. Все знали, что ресторан еврейской кухни, но эта его особенность не афишировалась и сохранялась как бы подпольно и непонятно чего ради. Тем более что директор, повара и официанты были, я слышал, русские. Так или ина-

че, ресторан этот существовал и был хорошо посещаем благодаря своему направлению и выгодному расположению.

Так вот, мы с женой зашли в ресторан, официантка дала нам меню, а сама застыла над нами с блокнотиком, ожидая заказа. Собственно, меню было обыкновенное, как во всех других ресторанах. Котлеты, шницели, шашлыки, но среди них кушанье под загадочным названием: блюдо национальное. Я ткнул пальцем в название и спросил официантку:

— А что значит блюдо национальное? Какой национальности?

— Сами знаете, — сказала официантка и покраснела.

Инстинкт умнее ума

Но все-таки, почему же я, думая, что Бога в обычном понимании нет, и сомневаясь в неизбежности посмертного наказания, никого не убиваю? Просто потому, что во мне есть инстинкт и он говорит мне **не убий**. Именно инстинкт, а не воспитание и даже не религия. Этот инстинкт говорил мне **не убий** задолго до того, как я прочел Библию. Инстинкт **не убий** родился до заповеди. Больше того, он сам родил эту заповедь.

Принято говорить „низменные инстинкты“ и даже полагать, что инстинкты вообще низменны. Но это не так. Инстинкты руководят нашим поведением гораздо больше, чем мы думаем. Инстинкты делятся на эгоистические и альтруистические — в нас есть те и те. Эгоистические инстинкты сильнее альтруистических, но главный альтруистический

инстинкт, совесть, тоже в нас заметно присутствует.

Инстинкт самосохранения очень важен и нужен человеку. Человек создан Богом (Природой) как замкнутая и отвечающая сама за себя биологическая система. Поэтому, если утопающий думает сначала о спасении себя, это нормально. Но если спасшийся спокойно смотрит, как тонет другой, значит, у него нет или не хватает альтруистического инстинкта, значит, он вообще психически неполноценен.

Интуиция — это тоже инстинкт, который неизвестными путями оценивает ситуацию и оценивает правильно. Бывает, человек встречает другого человека и тот ему чем-то не нравится. Инстинкт говорит: не дружи с этим человеком, он плохой, он тебя предаст. Но умственный анализ это предположение отвергает. Ум говорит: нет, этот человек приветлив, услужлив, готов всегда одолжить денег, прийти на помощь в беде. Но вот возникает ситуация рискованнее или сложнее обычной, и вдруг вы видите, что этот человек, который когда-то чем-то мимолетно вам не понравился, на самом деле не так хорош, как вас убедил ваш ум.

Инстинкт умнее ума.

Гений инстинктивен.

Примитивный человек с развитыми инстинктами может не осилить правил грамматики или умножения, но в доступных ему пределах проявляет большое и тонкое понимание сути вещей. Примитивный человек с развитыми инстинктами совершает правильный поступок не думая, но не может объяснить, почему он его совершил.

Гений инстинктивен и обладает мощным интел-

лектом. Но интеллект не заслоняет инстинктов, доверяет им. Гений совершает поступок интуитивно, а потом может подумать и объяснить, почему он его совершил.

Интеллектуал обладает сильным интеллектом и слабым инстинктом. Он сначала долго думает, потом совершает поступок. И, как правило, невпопад.

Кант говорил (приблизительно), что корова умнее гностика. Она не думает, но знает точно, какую траву можно есть, а какую нельзя. Гностик всегда думает и всегда ест не то.

Элиза Барская. Жертва Хиросимы

Вот мое знакомство с Антоном.

Был звонок в дверь, я открыла, увидела на пороге приземистого мужчину лет сорока в сыром плаще и ненашей шляпе с неширокими приопущенными полями.

— Извините, — сказал он, часто мигая, — вы не знаете, где ваши соседи из этой квартиры?

Я не знала.

— Дело в том, что живущий здесь молодой человек является моим законным внебрачным сыном, а его мамаша, которой я добровольно плачу алименты, назначив мне время, сама куда-то удалась. Я вынужден ее ждать. Но на улице мокро, в подъезде темно, вы не позволите посидеть у вас и выкурить сигаретку?

Слегка удивившись такой непринужденности, я сказала, что у меня в квартире не прибрано, и провела его на кухню. Ни чаю, ни кофе не предложила, надеясь, что он скоро уйдет.

Он снял шляпу и оказался не только совершенно лысым, но не имеющим бровей и ресниц.

Он долго сверкал зажигалкой, которая никак не желала воспламеняться, наконец задымил.

— Хорошо живете, — сказал он, оглядевшись. — Вы поэтесса или прозаик?

— Ни то, ни другое, — сказала я.

— Ну, это мы все ни то, ни другое, — заметил он. — Я спрашиваю, кем вы числитесь?

Я сказала, что числюсь преподавательницей английского языка.

— Хорошая профессия, — сказал он, — только малооплачиваемая. А ваш муж — писатель?

Я сказала, что тоже нет.

Он спросил, кто, я сказала: гидролог. Он спросил, где, я сказала: в командировке.

— Смелый человек, — сказал он. — Оставлять дома и надолго столь соблазнительное имущество очень неосмотрительно.

Я подумала, уж не решил ли он ко мне пристать, и, посмотрев на часы, предположила, что, может быть, соседка уже пришла.

— Возможно, — согласился он, — но мне у вас так уютно, что я, пожалуй, позволю себе еще одну сигаретку. Только одну и не больше.

Победив свою зажигалку во второй раз, он усмехнулся и вдруг сказал:

— А вы меня не бойтесь, я стерильный.

Уже слегка раздраженная его нахальством, я решила съязвить:

— Вы имеете в виду, что у вас нет венерических болезней?

— Ну, это само собой, — сказал он. — Венерических нет. Но вот что интересно, нет даже и того, на чем они держатся. То есть, если буквально, что-то, конечно, имеется, но, как говорят в наших грубых кругах, не маячит.

Стараясь не выдать своего смущения, я спросила, как же это с ним случилось такое несчастье, спросила не всерьез, а думая, что у моего собеседника такое странное направление юмора.

Он посмотрел мне прямо в глаза и с той же своей усмешкой сказал нечто совсем уж загадочное:

— Жертва Хиросимы.

Антон был членом группкома литераторов и работал в уникальном жанре: сочинял частушки, загадки, пословицы и поговорки о преимуществах советского образа жизни и колхозного строительства. Занимался он этим для денег, а удовольствие получал от намеренной идиотичности своих сочинений, из которых я запомнила отдельные перлы вроде: „Бригадному подряду все рады“, „Почитай не того, кто много болтает, а того, кто план выполняет“, „Председатель в колхозе, что в улье матка, без него ни дела нет, ни порядка“.

Раньше Антон служил на подводной лодке, о чем рассказывал так:

— Мы лежали на страже мира на дне пролива Королевы Шарлотты. С одной стороны город Ванкувер, Канада, с другой — Сиэтл, Соединенные Штаты Америки. Лежим тихо, мирно, с научными целями, но в случае чего можем так

п...дануть*, что ни от того, ни от другого горда ничего не останется, кроме пыли.

Лежим, не дышим, а закон там — вода, прокурор — акула. Мимо американские лодки скользят, а у нас сердце в пятки уходит. Потому что американцы — это не шведы какие-то, которые, чуть что, бузят на весь мир и шлют ноты протеста. Они без всяких протестов просто топят нас как котят. И вот какая-то подводная блядь клюнула нас подлейшим образом в жопу, а мы отключнуться не успели. Экранировка нарушилась, началось истечение радиации. Тут бы нам всплыть, покинуть лодку и потребовать у вражеской стороны немедленной госпитализации всего экипажа, но мы этого не сделали, поскольку наше присутствие там — очень страшная военная тайна. А у нас главное правило, если ты читала мои поговорки: сам погибай, но военную тайну не выдавай. Мы малым ходом, чтоб не шуметь чересчур винтами и не обнаружить своего присутствия, пошли в порт приписки на острове Кунашир. Ты, старуха, „Восемьдесят тысяч лье под водой“ читала? Так вот то же самое, но истекая при этом радиацией и теряя по дороге волосяной покров и мужские достоинства. Я тогда первую свою загадку и сочинил: без волос и без мудей полна горница людей — что это? Это, старуха, наша героическая гвардейская краснознаменная и ордена Нахимова первой степени субмарина. Мне за эту загадку наш замполит приставил шпалер к носу и обещал сделать в нем третью дырку на-

*См. примечание на стр. 23.

сквозь, как только дойдем до берега. Но до берега ему дойти не пришлось. Мы шли очень медленно, потому что наш двигатель работал лишь в четверть силы, и замполит отдал концы на подходе к родному порту.

Зато капитан наш оказался совсем молодец. Себя не пожалел и кома ду угробил, но военной тайны не выдал и лодку до места довел, о чем командующему флотом доложил женским голосом. За что получил звание Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали „Золотая Звезда“, которую я лично перед его гробом на атласной подушечке нес.

А нам всем, которые остались, дали по „Красной Звезде“ и по п...е мешалкой (извини, старуха, за случайную рифму) и списали на берег. Теперь иных уж нет, а те далече, но вскорости и тех долечат.*

Спасибо товарищу Сталину

Не знаю, устроено ли это было намеренно, но в той части Ходжента, где обитала наша семья, жили исключительно русские. Таджиков я воспринимал как иностранцев и встречал только за пределами этой части, не считая моей подружки Гали Салибаевой, а также мелких торговцев, точильщиков, старьевщиков, нищих, сумасшедших и прокаженных, которые иногда забредали и к нам.

С Галей я дружил и очень тесно. Мы ходили всегда вместе, взявшись за руки, она в таджикском шелковом платье с разноцветными расплывчатыми

*См. примечание на стр. 147.

узорами, а я в коротких штанишках со шлейками и поперечными перемычками и в длинных чулках в рубчик, которые прикреплялись к ноге одним из двух одинаково неприятных способов. Либо резинкой, натягиваемой на ногу чуть выше колена, либо с помощью специального пояса вроде того, что носят женщины, с резинками и застежками. Первый способ был неудобен тем, что резинка постоянно съезжала и падала вниз, к щиколотке, а за нею туда же соскальзывал и чулок, второй же способ постоянно напоминал мальчику, что он еще не вполне полноценное существо и на него можно натягивать чего кому вздумается, в том числе и предметы женского туалета.

Когда мы с Галей куда-нибудь шли, мальчишки из нашего и других дворов, подбегали, загораживали нам дорогу, приплясывали, корчили рожи и выкрикивали: „Тили-тили тесто, жених и невеста, тесто засохло, а невеста сдохла. Жених плакал, плакал и в штаны накакал“. Я огорчался, иногда даже готов был кинуться на дразнильщиков с кулаками, но Галя меня удерживала, утешала и обещала: „Когда ты вырастешь большой, я на тебе женюсь, а когда ты будешь старенький, я буду давать тебе таблетки и порошки и греть грелку“.

В детском саду, куда мы ходили с Галей, натянутый от стены к стене, висел транспарант со словами: „СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО“.

Под транспарантом располагался большой портрет товарища Сталина, который держал на руках девочку, сам смеялся и смешил ее, щекоча ее правую щеку своим левым усом. Эта девочка-таджичка по имени Мамлакат, похожая на Галю, была не-

многим старше нас, но уже широко прославилась тем, что первая в мире догадалась убирать хлопок двумя руками, а не одной. Воспитательница тетя Паня рассказывала нам, что Мамлакат, достигнув очень больших успехов в уборке хлопка, была приглашена в Москву, в Кремль, где дедушка Калинин лично вручил ей орден Ленина, а Сталин (его дедушкой никто никогда называть не решался) поднял ее на руки.

Глядя на портрет, я завидовал, огорчился и думал, что, если бы меня послали на хлопок, я бы не хуже Мамлакат догадался убирать его двумя руками. Ведь додумался же я своим умом, что, если буквы, которым меня научила бабушка, приставлять одна к другой, из них сложатся слова. И с радостью убедился, что я прав, прочтя название газеты „Известия“ и вывеску „Магазин“. Так что я тоже не самый глупый мальчик и до двух рук сам бы непременно додумался. И тогда Сталин меня тоже поднял бы на руки, но...

Совершая определенные усилия по части самопознания, я пытаюсь понять, правда ли или это кажется задним числом, что Сталин и Ленин мне с раннего детства очень не нравились. И думаю, может быть, правда, потому что с малолетства я многое постигал не умом, а инстинктом, который, как сказано выше, умнее ума.

По праздникам — 23 февраля, 1 мая и 7 ноября — к нам в детский сад приводили кавалериста со шпорами на сапогах и с длинной саблей на боку. Он рассказывал нам о непобедимости Красной Армии и давал потрогать саблю, впрочем, не вынимая из ножен. Нам в детсаду вообще рассказывали очень много важных вещей: о втором съезде

РКП(б), о взятии Зимнего дворца, о коварных про-
исках троцкистско-бухаринской оппозиции, и толь-
ко наша воспитательница тетя Паня читала нам
какие-то истории про зайчат, поросят и волков.

Тетя Паня, как я заметил, почему-то отличала
меня от других и иногда во время обеда сажала за
стол рядом с собой. Раза два или три она с раз-
решения мамы забирала меня на выходные дни к
себе домой, где жила вместе со своей матерью. Там
обе женщины развлекали меня и готовили мне
обед, усаживали меня за стол, как взрослого, вер-
нувшегося с тяжелой работы мужчину, и смотрели
с умилением, как я ем.

Только став взрослым, я понял, что тетя Паня и
ее мать жалели меня, потому что я жил без папы.
Они, вероятно, знали, где был мой папа и почему.

Сучонок

Ходжент ввиду частых землетрясений был поч-
ти весь одноэтажный, таким был и наш дом, длин-
ный, похожий на барак, но с отдельными, отгоро-
женными друг от друга двориками — каждый на
две семьи. В этих двориках жильцы разводили
цветы и летом спали среди цветов на открытом
воздухе. Моя кровать стояла рядом с кроватью
Женьки Чепенко, ложась спать, мы шепотом вели
между собою нескончаемые дискуссии о том о сем.
Например, о том, можно ли саблей перерубить тол-
стое дерево. Или Женька начинал спорить, что он
старше меня, потому что он тридцать первого года
рождения, а я тридцать второго. С чем я никак
согласиться не мог, точно зная, что тридцать два

больше, чем тридцать один. Память о наших разговорах перед впадением в сон под низко висящими крупными звездами была бы приятной, если бы не укус скорпиона, которого я во сне случайно коснулся рукой. Боль от укуса была столь велика, что остаток ночи я бегал по двору и орал, перебудив всю округу.

Кроме отдельных двориков было еще пространство между нашим домом и сараями, как бы общий двор, где водилась в больших количествах всякая живность, включая свиней, коз, кур, кошек и собак. Собаки все были бездомные, но опекаемые людьми: они жили у нас у всех, приходили в плохую погоду и ложились в коридоре. Но при этом проявляли известную деликатность и, как только ненастье кончалось, уходили во двор.

Вся эта мирная жизнь время от времени прекращалась и наступал Великий Ужас, который в моей памяти запечатлелся так: солнце застывает в зените, жара становится невыносимой, двор пустеет и все живое исчезает с лица земли.

Застывшая эта картина связана в памяти с приближением коричневого ЗИСа или появлением пары (он и она) отвратительного вида людей с толстой веревкой в руках. Эти люди назывались собачники. Они разъезжали по городу в повозках с клетками, набитыми несчастным скулящим и воющим собачьим сбродом, из которого потом, как всем было известно, варили мыло. Оставив повозки где-нибудь вдалеке, собачники, сами своими повадками напоминавшие хищников, шли по дворам с арканами и, завидев возможную жертву, крались к ней, приседая и раскрыв от напряжения рты. К счастью, это им не всегда удавалось. Собаки ка-

ким-то образом о приближении своих истребителей узнавали заранее и прибегали к людям прятаться. Забивались в самые дальние углы, поджимали хвосты, мелко дрожали, и это был настоящий, подлинный животный страх смерти. Хотя собаки, говорят, не потеют, мне помнится, что шерсть у них становилась от страха влажной и жирной.

Всех собак в нашем большом дворе без различия породы и пола звали Бобками. Рыжая сучка Бобка всегда пряталась у нас в коридоре и всегда задолго до появления собачников. Другой Бобка был большой, добродушный и беспечный пес, который нас, детей, охотно возил на спине и которого однажды собачники чуть не заарканили. Причем с моей помощью. Они появились в нашем дворе, мужчина и женщина с кольцами веревки, перекинутыми через левый локоть, и с петлями в правой руке. Его я не запомнил, а она была худая, плоская, в черной блузке с накладными карманами и закатанными выше локтей рукавами, в серой, из шинельного сукна юбке, в солдатских ботинках на босу ногу и с жеваной папиросой в зубах. Все живое немедленно сгнуло, во дворе были только я, Бобка и собачники, которые приближались к нему, приседая и втянув голову в плечи. Бобка неуверенно вилял коротким хвостом и наблюдал за этими людьми с настороженным любопытством.

Собачники заволновались. Бобка был крупный, и мыла из него наварить можно было немало. Готовя арканы к броску, собачники приближались к Бобке. Тот, чувствуя неладное, пятился, но не очень-то расторопно. Мужчина — раз! — кинул аркан, Бобка отскочил, петля просвистела мимо. Еще одна попытка, Бобка опять отскочил.

— Мальчик, — ласково сказала мне тетя, — надену собачке на шею веревочку.

А мне это интересно. Я взял веревку, подошел к Бобке, он, видя своего, подпустил. И вдруг я почувствовал, что совершаю ужасное предательство. Сейчас я надену ему петлю на шею, а эти люди посадят его в клетку, отвезут на мыловарню и превратят красивого, лохматого, белого с черными пятнами Бобку в кусок коричневого, вонючего и к тому же немылкого мыла.

— Пошел вон! — крикнул я Бобке. — Пошел! — ударил его петлей по спине, бросил веревку и побежал. А рядом со мной бежал Бобка.

— У, сучонок! — крикнула мне вслед собачница, и этот крик, растерянный, жалкий и злобный, застрял в моих ушах и вспоминался потом, когда меня самого пытались отправить на мыловарню.

Между прочим, если охотников на собак называть собачниками, то уничтожителей людей как же? Человечниками?

Кстати, слово „уничтожить“ это прямой перевод немецкого слова *vernichten*, то есть превратить в *nicht* или свести в ничто.

Папа в командировке

В Ходженте мы жили сначала впятером: бабушка, дедушка, мама, папа и я. Потом папа исчез. Я это понял не сразу, потому что, будучи журналистом, он и раньше пропадал, иногда подолгу. Но в конце концов я заметил, что отсутствие отца затягивается, и стал спрашивать у мамы, где папа. Мама отвечала: папа в командировке.

Однажды я прибежал домой в слезах, когда мать была дома. Она кинулась ко мне:

— Что случилось?

— Мокрица сказал, что мой папа сидит в тюрьме, что он враг народа.

— Кто сказал? Мокрица? А ну-ка пойдем!

Моего обидчика, по прозвищу Мокрица, который был старше меня года на полтора, мы нашли во дворе. Увидев мою разъяренную маму, он, вообразив себя кошкой, попытался залезть на акацию. Мама подпрыгнула, стащила его на землю и схватила сразу за оба уха.

— Ты зачем говоришь, что наш папа в тюрьме? Наш папа в командировке. Это все знают, что наш папа в командировке. Ты понял, негодяй? Наш папа в командировке. Где наш папа?

— В командировке! — проорал потрясенный Мокрица и зарыдал.

Шло время, я рос, а командировка отца все никак не кончалась. Облик его в моей памяти стал постепенно размываться, и одно только я помнил хорошо: у него была родинка справа над верхней губой.

Дедушка

Папы у меня не было, но был дедушка, которого я очень любил. Я его любил за то, что он был моим дедушкой, за то, что ни в чем мне не отказывал, качал меня на ноге и давал курить папиросы. А услышав в коридоре шаги, испуганно отбирал окурок: „Мама идет!“

Он же подарил мне раскрашенную картонную

лошадь, которая была названа, представьте себе, Зиной, в честь куклы. Лошадь была с колесиками, и я на ней ездил, отталкиваясь от пола ногами. А когда (и не так уж редко) случались землетрясения, Зина по комнате скакала сама.

До поры до времени я обращался со своей лошадью гуманно, но однажды, пожелав узнать, что у нее внутри, разорвал ей морду по вертикальному шву и был очень разочарован. Внутри у нее не было ничего, кроме того же картона, но даже не крашеного, а просто и как попало покрытого засохшим клеем с подтеками. Стоило ли ради такого открытия портить великолепную лошадь? Тут надо еще и то отметить, что, надругавшись над лошадью, я ее сперва жалел, обнимал и просил прощенья, но потом знание того, как она выглядит изнутри, очень меня к ней охладило, даже и кататься на ней не хотелось.

Дедушка часто чем-то болел и постоянно принимал касторку в желтых желатиновых облатках, сладких и приятных на вкус. Картонная коробка с этими облатками обычно стояла на тумбочке перед дедушкиной кроватью, я иногда до нее добирался и одну-две облатки заглатывал. Это, очевидно, вызывало в моем организме определенную реакцию, но я причину и следствие между собой не связывал и к чему именно приводило употребление касторки не запомнил.

Татарка

Мне было лет шесть, когда в нашем доме поселилась татарская семья, из которой я запомнил

только старуху. Она ходила по дорожке вдоль нашего дома, постукивая клюкой, сгорбленная, косматая. Лицо у нее было перекошено, изо рта торчали два зуба, из-под седых косм проблескивала розовая лысая макушка.

Она была страшна, как ведьма, и все дети ее боялись. При ее появлении шептались друг другу: „Татарка!“ и вели себя тихо, пока она не пройдет мимо.

Само это слово „татарка“ таило в себе, как мне казалось, какой-то непонятный зловещий смысл. Мы все ее боялись, а где боязнь, там и ненависть, которую мы с моим другом Женькой Чепенко решили проявить.

Приготовили несколько камней, залезли на крышу сарая, стоявшего у самой дорожки, по которой ходила татарка. Стали ждать и дождались. Татарка появилась на дорожке. Постукивая клюкой, словно слепая, она медленно приближалась. Мы каждый взяли по камню и приготовились. Вот старуха поравнялась с сараем, вот она его миновала... Я не помню, что сделал Женька, но я размахнулся и кинул свой камень...

До сих пор помню, как этот камень летел и как я в эти секунды кому-то взмолился, чтобы он пролетел мимо. Но он мимо не пролетел. Он попал старухе точно в то место, где розовела проплешина.

Прошло с тех пор столько времени, что страшно сказать, а я все помню, как старуха выпустила клюку, схватилась за голову, присела и как жутко кричала. Вот и сейчас, мне кажется, тот крик буравит мои барабанные перепонки.

Помню и то, как мы с Женькой сползали с кры-

ши на другой стороне сарая, и у меня дрожали руки и подгибались ноги от страха, что я старуху убил и вообще совершил что-то ужасное.

К счастью, ничего страшного не случилось. Старуха покричала, подобрала клюку, поднялась и пошла дальше. И потом постоянно появлялась на той же дорожке. Была она по-прежнему безобразна, но я помнил ее жуткий крик и понимал, что она никому никакого вреда принести не может. Тем не менее, встречая ее, каждый раз холодел от страха, что она узнала, кто кинул тот камень.

Допускаю, что несмотря на укоры совести старуха в конце концов ушла бы из моей памяти, но случилось вот что. Я сидел как-то дома один и цветными карандашами пытался нарисовать землетрясение. В дверь постучали, я открыл и увидел татарку. Обнажив свои два зуба, она улыбалась и протягивала мне старую тряпичную куклу с рыжими волосами, сделанными из чего-то вроде пакли.

— Что это? — спросил я, отступив и прижавшись спиною к стене.

— Это тебе, — сказала старуха. — Это подарок. У меня внучка померла, это осталось. Ты возьми, внучка будет рада.

Старуха ушла, а я прижимал куклу к себе, гладил ее конопляные волосы и плакал. Мне было жалко старуху, жалко ее умершую внучку и жалко себя за то, что я такой негодяй.

Эта кукла была, насколько я помню, моей последней в жизни игрушкой и второй куклой. Эту куклу я называл, конечно, Зиной. И очень ею дорожил. Но такой любви, как к первым двум Зинам, все-таки не испытывал.

Край света

Мне тоже однажды попало по голове, и даже сильнее, чем татарке. Мы с Женькой Чепенко играли в войну, и он в пылу сражения ударил меня трубой по голове. Очнулся я на высокой больничной койке у окна.

Мне долго не разрешали вставать, я целыми днями смотрел в окно и ничего интересного не видел, кроме забора, выкрашенного ядовито-зеленой масляной краской. Но от забора я не мог оторвать взгляда, точно зная, что им отгорожен край света. Но что за этим краем, я просто представить себе не мог.

Потом, когда мне разрешили гулять во дворе, я кинулся к этому забору, нашел в нем дырку, приложил к ней глаз и был очень разочарован.

За краем света росли пыльные лопухи, и по ним ползали мухи, точно такие же, как и в нашем мире.

А у нас дедушка умер

Вскоре после меня в ту же больницу попал и мой дедушка. Я ожидал, что он скоро вернется, но получилось не так. Я играл во дворе, когда там появилась мама:

— Вова, я должна тебе сказать, что наш дедушка умер.

Умер дедушка!

Я знал уже, что у других людей какие-нибудь родственники умирали. А у нас — ну никто. И вдруг такое сообщение. Остаться равнодушным

я, конечно, не мог и, завидев проходящего мимо Женьку Чепенко, закричал:

— Женька! А у нас дедушка умер!

Только потом, когда привезли гроб и поставили посреди двора на две табуретки, и я увидел дедушку, бледного, с закрытыми глазами, и он, когда я его позвал, не открыл глаза, не улыбнулся мне и ничего не сказал, я понял, что случилось нечто непоправимое и ужасное.

Мама и бабушка безутешно рыдали, и я рыдал вместе с ними, а потом еще плакал каждый раз, когда вспоминал, что дедушка умер.

И когда бывало, что где-то я разыгрался, почему-то смеюсь и не могу остановиться, я вспоминал, что у меня умер дедушка, и сразу испытывал такое горе, что не до смеху.

Долго-долго многое из того, что я видел, напоминало мне об умершем дедушке.

P.S. Дедушка умер от болезни почек, которые были отбиты у него в 20-х годах чекистами, искавшими золото.

Из письма другу

...В начале 1987 года вышло американское издание „Москвы 2042“. Издательство расстаралось, пригласило меня, организовало мою поездку по городам Восточного побережья и вбухало в одну только рекламу 35 тысяч долларов. Реклама состояла в том, что я перелетал из города в город и выступал в самых престижных университетах: Колумбийский, Йель, Корнель, Гарвард, Джорджта-

ун. По городам я передвигался в специально подаваемом мне длинном лимузине с шофером в темной униформе и в белых перчатках, с телевизором, с баром-холодильником, набитым напитками от французского шампанского до ликера „Айриш крим“. По прибытии на место, как я ни торопился, а шофер оказывался у моей дверцы первым и распахивал ее с почтительным поклоном. Меня это смущало, корбило, но я терпел, полагая, что так надо и издательство лучше знает, как мне себя вести.

И вот однажды в Гарварде, выходя из лимузина, я встретил... Прежде чем вы узнаете, кого именно встретил, вы должны себе представить, что все годы жизни за границей я общался только с эмигрантами. Из оставшихся в России близкие люди были невыездными, а выездные неблизкими — общаться ни у меня, ни у них желания не было. И вдруг все переменялось.

...Так вот. Лимузин плавно причалил к тротуару, выложенному из красных керамических плиток, шофер выскочил и распахнул дверь, а я, выставив ногу наружу, увидел нашего Публициста. Он стоял на тротуаре в том виде, в котором только что прибыл из Марьиной Рощи. В черном кожаном пиджаке китайского производства, в польских джинсах и с сумкой через плечо с надписью латинскими буквами AEROFLOT. При виде моего лимузина он остолбенел и открыл рот. Он, может быть, первый раз в жизни увидел такую машину, вперился в нее, ожидая, что из нее вылезет президент Соединенных Штатов или Элизабет Тэйлор, а увидел меня. Его тут же парализовало. Он как стоял с открытым ртом, так и остался.

Я ему сказал:

— Здорово! Как ты сюда попал?

Он ни одним членом не шевельнул, и лицевые мышцы оставались застывшими.

Я спросил:

— Игорь, ты что, оглох?

По-моему, у него онемели даже ресницы.

Я подергал его за рукав:

— Игорь, что с тобой? Очнись!

Он перевел взгляд на мою руку, с руки опять на мое лицо, наконец его собственное лицо поплыло в неуверенной улыбке и он спросил меня:

— Это вы?

— Не мы, а я, — сказал я ему. — Ты что? Ты нездоров?

— А эта вот... — он, видимо, хотел сказать слово „машина“, но не знал, можно ли такую роскошь называть столь обыденным словом, — ...твоя?

Я успокоил его, что не моя, и мы для начала пошли выпить по кружке пива.

Публицист сказал мне, что приехал сюда благодаря культурному фонду, который пригласил его не как писателя, а как главного редактора одного из самых прогрессивных изданий. Он был уже в Чикаго, в Ричмонде, где-то еще, а послезавтра едет в Нью-Йорк выступать в какой-то церкви перед эмигрантами.

Признаюсь, я ему был очень рад, но с первых же минут что-то такое меня стало смущать. Он мне с воодушевлением рассказывал о планах журнала на ближайшее время, о том, что у них в портфеле только что обнаруженные где-то стихи Мандельштама, последние рассказы Шаламова, неизданные

рассказы Зощенко, что-то эпистолярное из Пастернака.

— Ты представляешь, — говорил он, — абсолютно никакой цензуры. Мы никому ничего предварительно не представляем. Что хотим, то и печатаем.

Тут я, помня, что Публицист был когда-то и обо мне очень высокого мнения, сказал ему:

— Если вы печатаете, что хотите, почему бы вам не захотеть и меня напечатать?

Этот вопрос, очевидно, показался ему не очень уместным, потому что он мне на него просто ничего не ответил и перешел к другой теме, уже частично мной освещенной.

— Ты, — сказал он в полуутвердительной интонации, — домой, конечно, уже не вернешься?

— Обязательно вернусь, — сказал я. — Как только возникнет вопрос, так и вернусь.

Он промолчал.

После этого мы виделись в Нью-Йорке. На той самой встрече с эмигрантами в церкви. Публицист выступал в паре с Кирюшей, с которым год спустя мне предстояло встретиться в Мюнхене. Народу в церкви было битком. Пришли эмигранты, слависты и советские журналисты, которых в столь большом количестве я никогда раньше не видел. Я сидел где-то сзади рядом со слависткой Патришей, женщиной для этого рода занятий слишком красивой, умной и острой. Время от времени она громко комментировала речи выступавших, которые оба врали все то же — что в СССР больше нет никакой цензуры. При этом Кирюша плутовал ловко, а Публицист весьма неуклюже. Держался надуту, как представитель большой державы, имеющий от нее

государственное задание не дать себя втянуть в провокационные разговоры.

— Ну что вам сказать, — сообщил он публике снисходительно. — У нас сейчас нет, вообще нет никаких запретных имен и названий.

— Все врет! — сказала сзади Патриша. — Все врет!

Он, конечно, это слышал, но сделал вид, что не слышал, явно при этом смутившись.

— Вот, например, у нас в журнале мы решили печатать Булгакова. Мы не спрашивали ни у кого разрешения и вообще думали только о том, с чего начать: с „Роковых яиц“ или „Дьяволиады“.

— Опять врет! — сказала Патриша.

Я ее спросил, почему же врет. Наверное, так и было.

— Если даже так было, все равно врет.

Зато Кирюша всем очень понравился. Высказал мысль, которую через год довез и до Мюнхена, — что с наступлением свободы все сразу опубликовано и больше печатать нечего. Ему был задан вопрос, всех волнующий: а будут ли печатать в СССР Солженицына? Кирюша тут же извернулся самым ловким образом.

— Ну, Солженицын — это такое огромное явление, он сам по себе целое государство. А государство с государством как-нибудь сами договорятся без нас.

И этим трюком сорвал аплодисменты.

Мне было стыдно за выступавших и за аудиторию, которой гости так легко скормили свою мякину.

После этого на улице Публицист подошел ко мне и, не глядя в глаза, спросил, как мне понравилось его выступление.

— Ты ждешь честного ответа или какого? — спросил я.

Тут он начал лепетать что-то жалкое. Что никогда не был в Америке, а если будет прямо отвечать на задаваемые вопросы, его сюда больше никогда не пустят. И тогда сюда будут ездить те, кто ездил раньше.

— Ну да, — сказал я ему, — ты, может быть, прав. Если ты не будешь врать, тебя не будут сюда пускать, будут пускать старых врунов, но по мне пусть лучше врут они, а не ты.

Я думал, он будет возражать, спорить, ругаться, а он еще больше смутился и стал говорить:

— Да, да, ты прав, я на этом могу потерять репутацию.

Не знаю, понятно ли, почему я так болезненно воспринимаю подобные встречи. Ну, во-первых, я вообще ненавижу лгунов, во-вторых, когда врет мой как бы товарищ, он так или иначе приглашает меня в соучастники. Другие люди, зная о наших отношениях, интересуются моим мнением о том, что он говорит. И что — я из солидарности должен врать вместе с ним? И еще есть важное для меня соображение. Эти путешественники даже не понимают, насколько их ложь направлена прямо против меня лично. Если в России все хорошо и печатают вообще все или все достойное, это значит, что у меня тоже там все в порядке, что меня тоже там печатают или то, что я пишу, не достойно того, чтобы быть там напечатанным.

Интересно еще вот что. Игорь мне сказал, что их перед отъездом инструктировали, как вести себя за границей, советовали вести себя естественно и говорить все, что думают. Но они, предполагая, что начальство ожидает от них правильномыслия, говорят то, что, как им кажется, они, по мнению начальства, должны думать.

Пчелиная смерть

У моей мамы в институте была сокурсница тетя Наташа Касаткина. Однажды она пригласила нас с мамой к себе. Отец тети Наташи был пчеловод. Он надел на меня сетку и повел на свою маленькую пасеку. Земля там была посыпана песком.

Я подошел к одному из ульев и стал смотреть, как пчелы влетают в улей и вылетают. Само по себе это зрелище захватывающее. Видишь, как идет напряженная, неутомимая и, похоже, осмысленная работа. Все участники заняты до предела. Куда-то улетають, что-то там собирають и тут же — обратно. А потом я заметил, что кроме влетающих и вылетающих есть ползающие пчелы. Их много, они одна за другой выползають к краю отверстия в улье, задержатся на секунду и не слетают, а просто падают вниз и потом ползут все в одном направлении. Даже бороздку в песке прорыли. Ползут одна за другой, и по дороге — одна ближе, другая дальше — раз! — и опрокинулась на бок мертвая. А идущая следом обогнет мертвую и движется дальше. Но и ее путь не больше двух-трех человеческих шагов, а там и она, сковырнувшись, замрет навеки. И так непрерывно идут в одну и ту же сто-

рону с явным стремлением удалиться, насколько достанет сил, чтобы полностью избавить живых от себя, и — набок. И — все.

Глядя на этих пчел, я думал, что, наверное, и мой дедушка так же шел, шел своей дорогой, шел — и упал набок, и замер, и умер.

Дедушка умер, и никто больше не давал мне курить, а я в свои шесть лет к куренью уже пристратился.

Я стал воровать папиросы у мамы. Сначала не знал, куда девать окурки, а потом (умный был мальчик) нашел им очень подходящее место: раздвигал пасть лошади Зины и бросал окурки внутрь. Если когда-то следующий владелец лошади Зины разордал ее до конца, он, наверное, был удивлен тем, что питалась лошадь исключительно окурками папирос „Беломорканал“.

Родинка

В первом классе я учился, по выражению тети Наташи Касаткиной, из рук вон ужасно. Причина состояла не в том, что я был слишком туп, а в том, что несколько забежал вперед и на уроках бывало скучно. Ну в самом деле, какой может быть интерес читать обязательно по складам (так требовала учительница) „Ма-ма мы-ла ра-му“ мальчику, который давно уже знал грамоту настолько, что мог читать бегло газетные заголовки, вывески магазинов и рассказ Льва Толстого „Филиппок“?

Но самые ужасные мучения доставляли уроки чистописания, где меня учили писать с правильным наклоном и аккуратным нажимом, и я, в по-

пытке достижения этой цели, выворачивал язык чуть ли не до самого уха, но никак не мог палочку, проводимую пером „Пионер“, совместить с косой линейкой тетради. Линейка косилась в одну сторону, палка в другую, а иной раз и ни в какую, поскольку из-под пера „Пионер“ вытекала и замирала фиолетовым головастиком жирная дрожащая клякса.

Результаты моих усилий оценивались учительницей однообразно, с употреблением наречия „очень“. „Очень плохо!“ — писала она красными чернилами с замечательным наклоном и идеальным нажимом.

За этими регулярными „очень“ могли иметь место очень неприятные физические последствия в виде домашних колотушек, но я был мальчиком сообразительным (очень, очень), по дороге из школы домой обнаружил некое здание, а в нем подвал с открытой форточкой, куда и сплавлял регулярно и целиком тетради по чистописанию, благо, в те времена они стоили всего две копейки. Я опускал тетради в это окно точно так же, как окурки в морду лошади Зины. Не учтя того, что тетради, в отличие от окурков, были не безымянны (на каждой из них было хорошо, с наклоном и нажимом написано: „Тетрадь по чистописанию ученика 1-го класса „А“ Войновича Вовы“) и что Вова будет очень скоро разыскан обитателями подвала, которые доставят тетради в школу, а затем находку продемонстрируют и Вовиной маме. И у Вовы будут очень, очень большие физические неприятности.

Впрочем, надо признать, что мама по недостатку времени занималась мной нерегулярно. Днем она училась в педагогическом институте, а вечером ра-

ботала. Когда она уходила в институт, я еще спал, когда она возвращалась с работы, я уже спал. Иногда, впрочем, между учебой и работой мама забегала домой, и тогда мы коротко виделись во время обеда.

Как раз в тот день так и было. Мама пришла, мы пообедали и разошлись: мама на работу, а я на двор, к сараям, где, оседлав свинью Машку, пытался овладеть приемами верховой езды. Во время этой тренировки прибежал Мокрица и сообщил, что меня спрашивает некий дядя.

Дядя оказался каким-то небритым оборванцем. На нем была старая и довольно рваная, с торчащими из нее клочьями грязной ваты телогрейка и стоптанные рыжие солдатские бутсы, прошнурованные шпагатом.

— Ты Вова? — спросил оборванец, странно усмехаясь.

— Вова.

— А как твоя фамилия?

Я сказал.

— А где ты живешь?

Я показал.

— Ну пойдем к тебе.

Я повел его к себе домой, поминутно оглядываясь и вглядываясь в его заросшее жесткой щетиной лицо.

Во дворе бабушка развешивала белье. Увидев приведенного мною бродягу, она ахнула:

— Коля!

И, бросив белье, повисла у оборванца на шее. А я кинулся вон со двора.

Мать была уже далеко, но я все-таки догнал ее.

— Мама! Мама! — закричал я. — Иди домой, папа приехал!

Мама ахнула, закричала и прислонилась к стене глинобитного дома. Потом опомнилась, посмотрела на меня и уже тихо сказала:

— Что ты выдумываешь!

— Правда! Правда! — захлебывался я. — Это папа. У него вот здесь родинка.

Элиза Барская. Кровать Екатерины Великой

Мне часто кажется, что в наш век женская верность относится к числу никому не нужных добродетелей.

Почему я должна быть верна своему мужу, который не проявляет при виде меня никаких эмоций и ходит в меня, как в нужник, только для того, чтобы освободиться от того лишнего, что накопил его организм? На каких небесах мы сочетались, когда регистрировали свой брак в казенном учреждении с бюстом Ленина на красной подставке, а заведующая тем заведением, депутат райсовета и член бюро райкома, руководила нашими узакониваемыми ею действиями: „Молодые, поцелуйтесь!“, точно так же, как она говорит на собрании: „Кто „за“, поднимите руки!“?

Я бы не поколебалась, не испытала бы ни сомнений, ни угрызений совести, заведя любовника, но на эту роль никто, кажется, не претендует, если не считать некоторых „ходоков“ с их расчетом на одноразовый перетрах.

Как-то давным-давно, еще до моей встречи с Егором, знаменитый лево-правый художник за- тащил меня в свою мастерскую на Малой Брон- ной. Это была огромная мансарда, чуть ли не двести квадратных метров со стеклянным по- толком, с какими-то закоулками, лесенками, антресолями, заваленными работами автора. Часть его работ висела на стенах попеременно с бесчисленными изображениями, живописными и фотографическими, его жены, известной кино- звезды. Вдоль стен на полках располагалась эк- лектическая коллекция из хохломы, гжели, ста- рых самоваров, утюгов и самых разных образцов конской упряжи: седла, хомуты, стремяна, возж- жи, уздечки и колокольчики.

Художник сделал карьеру на том, что ри- совал на заказ портреты партийных вождей и всякую советскую символику и атрибутику вро- де герба, звезды, серпа, молота и прочих подоб- ных вещей, которые использовались для украше- ния улиц, площадей, красных уголков и всяких официальных учреждений. В этом казенном ис- кусстве он добился таких успехов, что изобра- жаемые им предметы выглядели настоящими. Настолько настоящими, что, как выразился од- нажды Антон, этот молоток хочется взять в руки и разбить художнику голову. Это дело при- носило Художнику большой доход и никакой сла- вы, пока он однажды не решил произвести себя в основоположники нового направления в жи- вописи, которое (направление) объявил комму- нистическим авангардом (сокращенно — коман- гард). И стал рисовать те же серпы и молоты и те же портреты, но уже как бы не за совет-

скую власть, а против нее. С некоторой как будто скрытой иронией. А впрочем, в ранних его работах, которые он писал „за“, тоже при желании можно было увидеть иронию. Первым иронию в работах Художника уловил известный собиратель живописи Костаки. Потом какую-то картину увидел и пожелал купить американский миллиардер Арманд Хаммер, третья картина попала в Лондонский музей современного искусства. Так наш Художник попал в число тех немногих счастливцев, которые, будучи признаны советскими властями, получили большую известность и за границей. Это привело к тому, что его начали приглашать с картинами и без разные причастные к искусству западные организации, что с советской стороны никаких возражений не имело. Он стал часто бывать за границей, объездил весь мир, встречался с разными знаменитостями и утверждал, что Фидель Кастро, Пабло Пикассо, Федерико Феллини и Элизабет Тэйлор — его ближайшие друзья, а с Джейн Фонда у него якобы был большой и несчастный для Джейн роман. Когда он говорил правду, когда нет, определить было никак невозможно, он был враль самый неистощимый из всех, кого я встречала в своей жизни, и главной темой рассказов Художника были его невероятные подвиги, которые он совершал в одиночку или вместе с кем-то. Если верить ему, то в Боливии он сражался против правительственных войск плечом к плечу с Че Геварой, Атлантический океан в одиночку пересек на воздушном шаре (почему-то этот рекорд его никем не был отмечен), а в Полинезии чуть не был съеден та-

мошными людоедами, но нарисовал портрет их вождя и был отпущен с щедрыми подарками.

Изображая из себя исключительно мужественную личность, Художник при этом любил одежду самых пестрых расцветок, покрывал лаком ногти и, по-моему, немного подкрашивал волосы.

...Посреди мастерской у него стояла огромная четырехспальная, как он сказал, кровать, принадлежавшая, по его словам, в свое время Екатерине Великой (потом я встречала еще дюжину кроватей, принадлежавших Екатерине, и о двух дюжинах слышала).

Он принес из кухни шампанское в серебряном ведерке со льдом, рассказывал об островах Фиджи, откуда на днях вернулся, и нараспев, зверски жестикулируя, читал мне стихи Иосифа Бродского, выдавая их за свои.

Потом он погасил верхний свет, включил красный ночник, как в бардаке, что мне не понравилось (мне в таких случаях нравится свет из соседней комнаты или из полукоткрытой двери ванной).

— Тебя не смутит, — спросил он, раздеваясь, как на пляже, — что мы с тобой будем делать это на семейной кровати?

— Что вы! — заверила я его. — Напротив, мне будет крайне лестно делать это там, где вы делаете это с вашей знаменитой женой (жена в это время смотрела на нас со всех стен), и где это делала со своими фаворитами Екатерина Вторая.

Этого, впрочем, не произошло. Раздевшись, как

и он, я легла в кровать и дрожала от холода, а он кидался на меня, скрежетал зубами, кричал растерянно: „Я зверь! Я зверь!“ — и без всякого видимого эффекта истерично трепал свой жалкий отросток. Потом поднес свое беспомощное излишество к моему лицу и сказал капризно: „Поцелуй Его!“ Что (не предложение, а форма) меня покорило. „Его“ было сказано с таким почтением, словно „Он“ — Иисус Христос.

Я увернулась, зацепив „Его“ ухом, подхватила со стула свои шмотки и убежала в ванную одеваться.

Провожая меня к такси, Художник нудил, что надеется на другую встречу, что такое с ним случилось впервые в жизни в результате перерасхода сил на триптих „Плазма времени“. Я никогда не стала бы презирать мужика за то, что у него не стоит, я нежно люблю Антона, хотя он полный и законченный импотент. Но я презираю импошек, изображающих из себя суперменов. Надо сказать, что именно этот случай каким-то образом повлиял на творимое Художником, я поняла, что все, что он делает в живописи, искусственно, вторично и на его картинах совершенно явственно лежит печать распада и импотенции.

Я, между прочим, думаю, что истинный талант не может быть сексуально неполноценным.

А история с Художником имела продолжение.

Много времени спустя я встретила его в Доме работников искусств. В невообразимо ярком и пестром педерастическом свитере он интерес-

ничал с рыжей американской аспиранткой. На своем чудовищном английском он плел ей несусветную чушь, как его в Ольстере чуть не взорвали протестантские ультра. Аспирантка восторженно смотрела на этого доморощенного Джеймса Бонда и на весь ресторан восклицала:

— О, риалли? Ар ю киддинг?*

Увидев меня, он замахал руками, и я подсела к ним на минуту.

— Познакомься, — сказал он, — это Джулия. Она искусствовед из университета штата Висконсин и пишет обо мне монографию.

На столе между ними стояло шампанское в латунном ведерке (официантки, поклонницы Художника, были хорошо знакомы с его изысканными замашками).

Находясь в состоянии раннего полураспада и будучи к тому же сильно „набрамившись“, он, видимо, уже не помнил о своей маленькой неудаче. Потому что, когда я собралась уходить, он, рассчитывая, что Джулия плохо понимает по-русски, деловито и быстро спросил:

— Скажи, как будет по-английски „зверь“?

Я наклонилась к нему, сказала шепотом „энимэл“ и поцеловала его в утло.

Через несколько дней я встретила его в коридоре издательства „Искусство“, где мне иногда дают переводы с английского. Художник шел мне навстречу в голубой нейлоновой шубе нараспашку и благоухая женскими дутами „Шанель“.

— Здравствуй, ненаглядный, — сказала я.

Он приблизился вплотную, сузил глаза, скри-

*Oh really?, Are you kidding? (англ.) — Правда? Вы шутите?

вил тонкие губы и прошипел: „Я тебе этого никогда не забуду!“

*С Джулией мы потом встречались и даже подружились. Она приехала по обмену и жила в общежитии МГУ, а потом тоже подрабатывала в „Искусстве“. Я умирала со смеху, когда Джулия рассказывала, как Художник при красном свете кидался на нее и зверским голосом кричал: „Ай эм энимэл!“**

Выезд в небытие

Утром швестер Моника вкатила в палату кровать на колесах и предложила больному перевалиться со своего ложа на это: пора ехать на операцию. Он признался сестре, что хочет выкурить последнюю сигарету. Она сама была курящая и его понимала.

— Хорошо, — сказала она. — Я сейчас сделаю успокаивающий укол, чтоб вам не было страшно. А потом по дороге в операционную в коридоре мы остановимся, и вы совершите свое преступление.

Она быстро сделала укол и, вцепившись руками в спинку кровати, толкнула ее в сторону распахнутой уже для выезда двустворчатой двери. Пациент запомнил, как его тело проезжало между этими створками, и на этом предложение можно оборвать, не поставив ни точки, ни многоточия, поскольку сознание выезжавшего полностью растворилось в пустоте, даже не озарившись напоследок никаким сколько-нибудь интересным видением.

*I am animal! (англ.) — Я — животное!

Ночь в Нью-Йорке

Мои приятели, муж и жена, были в гостях у американской пары (оба адвокаты). Хозяин предложил им дринк и показал семейный фотоальбом, где он и его жена были запечатлены в разных местах и разных ситуациях. Дома, на работе, в гамаке, на лыжах, на яхте, на мотоцикле, при выходе из зала суда и т.д. На одной фотографии было изображено что-то непонятное, темное с розовыми проблемами.

— А это что? — спросила жена моего приятеля.

— А как вы думаете? — спросил хозяин.

— Ночь в Нью-Йорке? — неуверенно предположила гостья.

Хозяева засмеялись, муж толкнул жену локтем.

— Слышишь, Свити*, пожалуй, мы это так и будем называть — „Ночь в Нью-Йорке“, хотя вообще, — он повернулся к гостям, — это половой орган моей жены в раздвинутом виде.

Ни он, ни его жена при этом ничуть не смутились.

Приезжий в бобочке

3 августа 1956 года на перрон Курского вокзала Москвы сошел молодой человек в стоптанных желтых ботинках, в синих бостоновых брюках, сзади до дыр еще не протертых, но уже пузырящихся на коленях и обтрепанных, в коричневой вельветовой куртке-бобочке на молнии с зеленой наплечной частью, которая называлась кокеткой.

*Sweety (англ.) — сладкая.

Во внутреннем кармане бобочки лежали шестьсот рублей — на первое время, а в руках приезжий держал чемодан желтой кожи и не совсем обычной квадратной конфигурации, купленный во время прохождения воинской службы в польском городе Бжег на Одере. В чемодане были не очень аккуратно уложены общая тетрадь в линейку, бритва, зубная щетка, пара штопанных носков, пара застиранных рубашек, защитного цвета армейский бушлат, которому не исполнилось еще и года, ну и что-то еще из самого нужного на первое время.

Было около шести утра, город просыпался, по привокзальной площади шли одна за другой поливальные машины, давая по две струи: одну скользящую по асфальту и все смывающую, а другую омывающую, восходящую и опадающую петушиным хвостом. Как только на хвост наступали лучи солнца, он тут же расцветал всеми цветами радуги и немедленно блек, попадая в тень. Машины шли косяком или, по военно-морской терминологии, уступом: первая — посередине проезжей части, другая — отстав на корпус и чуть правее, третья — еще на корпус и еще правее, и последняя — касаясь бровки тротуара и не падая редких прохожих, которые в панике отпрыгивали подальше, прижимались к стенам домов, подтягивали штаны и подбирали юбки.

Пока молодой человек сдавал чемодан в камеру хранения (общую тетрадь предварительно вынув), открылось метро. Приезжий неуверенно ступил на эскалатор, но тут же освоился и, подражая аборигенам, побежал вниз по ступенькам, перепрыгивая через одну. На перроне у какого-то непрспавшего-

ся со вчерашнего алкаша спросил, как доехать до Красной площади.

— Тебе на Красную на эту на площадь? — переспросил алкаш. — Да я тебе просто, как другу, сейчас покажу. У нас, бля, в Москве, как говорится, насчет того, чего куда, никаких проблемов нету. Садимся в этот вагон, едем одну остановку...

— Всего одну? — приезжий удивился. Доступность центра Вселенной показалась ему слишком легкой, если не сказать легкомысленной.

— А как же ты думал? У нас в Москве все рядом, все доступно. Здесь, если тити-мити имеешь, все будет у тебя рядом, до всего тебя доведут прямо за ручку.

— Ну, ладно, ладно, — сказал приезжий, — спасибо, тут я и сам доберусь.

— Ты что — сам? — горячо возразил провожатый. — Куда же сам? Разве можно тут самому, приезжему, одинокому, имея в кармане тугрики? Это ж, бля, Москва, столица нашей родины. Тут народ живет такой, что приезжего человека встренут, обнимут, разунут, разденут и спать под стенкой положат голого.

Поезд тронулся и втянулся в тоннель, который грязными стенами, пучками шлангов и труб после мраморного и хрустального великолепия станции был неприятен для глаза, похожим, может быть, на человеческую трубуху. С некоторых пор, дисциплинируя свою наблюдательность, приезжий пытался из увиденного извлечь мысли, достойные занесения на бумагу. Он подумал, что человек обычно, заботясь о внешнем виде своих творений, внутренностям позволяет пребывать в безобразии

точно так же, как поступает сама природа. Создавая, например, человека, она улучшает его вид только снаружи, обтягивая кожей, украшая глазами, волосами и т.д. В результате снаружи человек похож на станцию метро, а внутри — на его тоннели.

Праздные мысли не успели еще улетучиться, а поезд уже растворил свои двери на станции „Площадь революции“.

Стоя на идущем вверх эскалаторе, молодой человек слушал вполуха своего провожатого и исподтишка разглядывал поток москвичей, спускавшихся навстречу, отметив сразу большое количество приятных для созерцания женских, еще недостаточно проснувшихся лиц. Глядя на них, он тут же придумал такую игру и сразу ею увлекся: с какой из этих блондинок-брюнеток и промежуточных цветов желал бы он вступить в отношения более тесные, чем встречное скольжение на эскалаторе. С этой, конечно. С этой тоже. С этой возможно. С этой безусловно. С этой в общем-то нет, но при отсутствии других предложений, пожалуй, сойдет и она. Короче говоря, во всем нисходящем потоке не оказалось ни одной особы женского пола, которой было бы твердо отказано.

Следует мимоходом заметить, что описываемый нами молодой человек был от природы чрезмерно застенчив. Имея для своих неполных двадцати четырех лет весьма солидный жизненный опыт и даже кое-какой сексуальный, он тем не менее все еще робел в присутствии женщин, а желания, от их присутствия возникавшие, казались ему столь низкими, что стыдно было признаться даже себе самому.

— Ну вот, — сообщил между тем провожатый, — мы приближаемся к месту нашего назначения. Это улица 25 Октября, бывшая Никольская, это ГУМ, и вот тебе Кремль, Мавзолей, Лобное место и Вася Блажной, собственной, бля, персоной. И вся эта красота приезжему человеку обходится всего-навсего в четвертак.

— Спасибо, — сказал приезжий, улыбаясь и давая понять, что юмор и провинциалам доступен.

— Спасибо берем дополнительно, — заметил алкаш, — а основная плата — четвертак, то есть двадцать пять рублей без процентов.

Поняв, что от него требуют гонорар за провожание, приезжий попробовал отделаться пятеркой.

— Ну ты, дядя, даешь! — сказал провожатый, занимая боевую позицию. — Я же тебе как друг твой и экскурсовод объяснил, что здесь, бля, столица нашей родины и здесь жадных людей не любят. Я тебе дорогу показал, ты этот труд должен оплатить по прейскуранту. — Тут же он перешел на угрожающий шепот. — Давай, малый, гони четвертак, а то будет нехорошо. Москва — город страшный, слезам не верит и шуток не любит.

— Да ты что, серьезно? — спросил приезжий и, глянув туда-сюда, отметил, что на стороне провожатого никаких резервных сил, видимо, нет. Приезжий был застенчив и даже робок, но все же не всегда и не со всеми. Он наступил провожатому на ногу, схватил его за грудки и оттянул по фене, то есть сказал несколько слов на языке, изучаемом не в школах, но в учебных заведениях исправительно-трудового характера, чего, слава Богу, удалось избежать, а также в ремесленных училищах и ар-

мейских коллективах, где приезжий получил полное и законченное образование.

Услышав речь не мальчика, провожатый осознал, что сумму гонорара он немного завысил, и с благодарностью удовлетворился предложенной раньше пятеркой.

Красную площадь тоже только что вымыли поливалки, и теперь по влажным еще камням, оскальзываясь, гуляли жирные голуби. Их как раз только что как символов мира запретили давить машинами и даже знаки повсюду развесили: „Осторожно, голуби“. Говорили, что в порядке борьбы за мир шоферу, задавившему голубя, срок будут давать больший, чем за человека. Вот голуби и ходили, упитанные и самодовольные, словно осознав, насколько они ценнее этих существ, что заискивают перед ними и со сладкими приманиваниями — гуля-гуля-гуля — рассыпают по булыжнику раскрошенный хлеб.

Мавзолей оказался закрытым ввиду слишком раннего времени. Что приезжего удивило. Он-то думал, что те, которые в Мавзолее, доступны в любое удобное для трудящихся время, а не тут-то было.

Приезжий слегка огорчился. Он хотел сразу посмотреть и отделаться. Посмотреть не потому, что он лежавших в Мавзолее так уж любил, вовсе даже и нет. Но все же кинуть взгляд на столь знаменитых покойников было любопытно, тем более что время пустое, деваться некуда.

Несмотря на рань и закрытость, возле Мавзолея грудилась уже небольшая толпа приезжих зевак. В ожидании предстоящей смены караула, они подробно разглядывали часовых.

В толпе выделялась колхозного вида группа: трое или четверо мужчин с обветренными лицами и с ними девушка в темном хлопчатобумажном мужском пиджаке, в синем берете, заломленном на левое ухо.

Мужик в парусиновых туфлях на босу ногу, закуривая папиросу „Прибой“, выражал недовольство:

— А говорят, они не моргают.

— Как же не моргать? — сказала девушка. — Чай, такие ж люди, как мы.

— Но все ж таки у Кремля, — сказал тот же мужик, но не слишком уверенно. — У Кремля таких, как мы, не поставят.

— Господи, у Кремля, у Кремля. Что жа, как у Кремля, так не человек, что ль?

Приезжий в бобочке, между прочим, тоже в своем провинциальном окружении много слышал и даже отчасти поверил, что часовые у Мавзолея не моргают. Теперь увидел, что моргают не хуже других. Моргают и из-под козырьков поглядывают на толпу стыдливо, как деревенские девушки. Ухитряясь сохранять при этом известную истуканность.

— Но зато не шевелятся, — сказал другой мужик.

— Еще бы им шевелиться, — согласился первый. — Все ж таки у Мавзолея.

— А что, как ему муха сядет на нос, чего он будет делать? — спросила девушка.

— А он ее застрелит, — сказал приезжий в бобочке для себя самого неожиданно.

Вся группа, да и другие зеваки повернулись к

нему, кто-то хихикнул, а девушка, не оценив шутки, спросила:

— Как же застрелит? А ежели в нос попадет? — вызвав вопросом своим большое оживление в собственной группе.

Потолкавшись здесь какое-то время, наблюдаемый нами приезжий дождался боя курантов и смеяны караула, затем спросил кого-то из местных, как пройти к Тверскому бульвару. Ему объяснили бесплатно: пойдешь прямо по улице Горького, дойдешь до памятника Пушкину, через дорогу от него и будет Тверской бульвар.

Вова решил стать писателем

Описываемый нами персонаж, то есть все тот же В.В., прибыл в столицу из Керчи, где после армейской службы прожил около года с родителями, окончил наконец-то десятый класс вечерней школы и, никуда не поступивши, решил самым дерзким и диким путем пробиться — вот нахальство! — в поэты. Именно ради этой сомнительной цели он отправился в путь, имея среди скромных пожитков общую тетрадь, а в ней тексты, написанные столбиком, от руки и не очень ровно, несмотря на линейки. Тексты эти автор называл нескромно стихами, хотя достоинства их, правду сказать, не переоценивал. Надеясь в будущем достичь более высоких вершин.

Стихотворений у В.В. было всегда пятнадцать. Если писалось новое, то худшее из старых выкидывалось, и опять оставалось пятнадцать. Коли-

чество не росло, а повышение качества было под вопросом.

Когда, пересмотрев свои каракули и вовсе ими не обольщаясь, он собрался покорять Москву, ему было сделано много предостережений. Мама говорила: „Вова, куда ты?“ Папа говорил: „Вова, подумай“. Тетю Галю намерения неродного племянника просто-напросто насмешили. „Вы слышали, — говорила она, — наш Вова решил стать писателем. Ха-ха-ха“.

Керченский друг Марк Смородин, моряк, радист, заочник Литинститута, испытывший на собственном опыте, насколько тернист путь пишущего человека, советовал вообще держаться от литературы подальше.

— Кирюха! — испытывал он на нашем герое свои агитаторские способности, прижмуривая глаза и сверкал железным зубом. — Куда ты лезешь? На что рассчитываешь? Разве ты не видишь, сколько людей пытаются пробиться в литературу? Разве ты не понимаешь, что только единицы достигают успеха?

— Ну что ж, — грустно отвечал наш стихотворец, — придется мне оказаться среди единиц.

— Ты правда на это рассчитываешь?

— Правда. Через пять лет я буду известным поэтом.

— Ну, кирюха, ты и даешь! — восхитился Смородин и предложил пари на ящик шампанского, что этого не будет.

Прежде чем выставить встречный ящик, наш стихотворец предложил обсудить, что значит известность и какую степень ее следует принять за

достаточную. Договорились, что через пять лет заключившие пари являются в три учебных института в Москве или в провинции по выбору Смородина и спрашивают студентов, знают ли они сочинения или имя такого-то автора. Если в каждом из трех институтов найдется хотя бы по одному студенту, который знает, то автор считается достаточно известным.

Ударили по рукам.

Надежды нашего героя покоились не совсем на пустом месте. Ему удалось уже вкусить чуть-чуть славы хотя бы в местном масштабе. Его стихотворение „Матери“, напечатанное в „Керченском рабочем“, стало маленькой сенсацией в кругах местной читающей публики. Но это был успех одноразовый. Вторая публикация прошла без малейшего отклика. Стишок в газете „Крымский комсомолец“ тоже никем замечен не был, кроме керченской девушки Светы, у которой первой будущий поэт добился признания. Все газеты и журналы за пределами Крымской области произведения нашего автора отвергали, и только что был получен очередной от ворот поворот. На этот раз от ворот Литературного института имени Горького. Туда были посланы документы и стихи в количестве (неизменном) пятнадцати штук.

По истечении всех допустимых сроков была отправлена телеграмма с вопросом, почему нет сообщения о результатах. Оплаченный ответ поступил скоро:

ВЫ НЕ ПРОШЛИ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ТЧК
ПРИЕМЕ ОТКАЗАНО ТЧК ДОКУМЕНТЫ ВЫСЫ-
ЛАЕМ ТЧК СЕКРЕТАРЬ ФОКИНА ТЧК

Стихотворец огорчился, но сдаваться не поспешил. Поспешил на почту и отбил встречный текст:

НЕ ОЧЕНЬ ОБРАДОВАН ВАШИМ ОТВЕТОМ
ТЧК НЕ ПАДАЮ ДУХОМ ЗПТ Я БУДУ ПОЭ-
ТОМ ТЧК

После чего, во исполнение телеграфной угрозы, сам снарядился в Москву.

Конечно, это была авантюра. Приехать в Москву и просто там зацепиться — уже почти невыполнимое предприятие. Без справки с места работы не прописывают. Без прописки на работу не принимают. Устроиться можно только по большому благу или за огромную взятку. А у нашего приезжего ни блага, ни денег (шестьсот рублей не в счет). Ничего, кроме безумной надежды: располагая дюжиной слабейших стихов, имея лишь смутное представление о сути желаемой профессии, не представляя масштабов существующей конкуренции, пробиться, выделиться среди тысяч и стать кем?

Поэтом!

Это было безумие сродни попытке пересечь на бревне океан, не имея понятия о его ширине, глубине, ветрах, течениях и акулах.

Только полное невежество толкнуло нашего героя отчалить от берега, невежество же помогло ему не утонуть.

Стихи не наши

Оказалось, что от Мавзолея до площади Пушкина рукой подать. Через двадцать минут неспешной

прогулки приезжий стоял уже перед поэтом, который, заложив руку за борт сюртука, смотрел на него, как бы говоря: „И куда же ты, братец, лезешь, не имея московской прописки и хотя бы завалящего лицейского образования?“

Время для института все еще было чересчур раннее. Приезжий решил подкрепиться и у стоявшей неподалеку старухи в белом халате с жирным животом купил на два рубля пятьдесят копеек по одному из всех продаваемых ею четырех сортов жареных пирожков: за рубль — с мясом и по полтиннику — с рисом, с капустой и с повидлом.

Тут же сел на лавочку и, не стесняясь присутствием великого коллеги, заглянул внутрь тетради с целью очередной ревизии сочиненного.

Новое прочтение вырвало вздох из стесненной груди.

Что есть в наличии? „Новогоднее“, „Матери“, „Отцу“, „Тете Ане“, „Дяде Косте“, „Брату Севе“, „Брату Вите“, „Сестре Фаине“, „Бабушке“. И вот это, без названия:

Остывает земля.
Тени темные стелятся медленно.
И внизу корабли
опускают за борт якоря.
Иверху самолет
тянет по небу нитку последнюю,
и, как угли в костре,
догорает и гаснет заря.

Девушка Света готова была автору за эти стихи отдаться, но автор догадался об этом лишь несколько лет спустя. Так или иначе, стихотворение Свете понравилось, особенно вторая строфа:

Далеко-далеко
тарахтит катерпшко пзмызганный.
Загорелся маяк,
и выходит, качаясь, луна...
Тихо падают вниз
звезды первые белыми брызгами,
и на мокрый песок
их выносит слепая волна...

— Гениально! — вздыхала Света и, заглядывая стихотворцу в лицо, вопрошала, не тяжело ли ему жить с таким непомерным талантом. На что вопрошаемый интересничал и отвечал, что, конечно же, тяжело, но от своей планиды разве же убежишь.

Сейчас, перечтя содержимое тетрадки, автор пришел в большое уныние. То, что называл он стихами, ему не нравилось, и так стыдно было кому-то это показывать, что быстроросло и созрело желание отказаться от своего намерения и бежать назад, в Керчь.

Но...

Он же не просто из дома вышел в сторону Литинститута, по дороге передумал и повернул обратно, а приперся черт-те откуда, сжег за собой мосты, никакого пути назад не оставив.

Решил немного дело поправить. Один, самый слабый стишок вырвал, другой, сочиненный тут же, вписал.

— Вы, молодой человек, если я не ошибаюсь, стихи пишете? — услышал он голос, булькающий, как из колодца.

Молодой человек, скрывая досаду, покосился на голос. Пожилой, лет сорока пяти (никак не менее), упитанный гражданин, в очках с тонкой оправой смотрел на него, приветливо улыбаясь.

— Для печати пишете или просто так, для души?

— Для души, — буркнул молодой человек, чтобы отвязаться.

— Взглянуть не позволите?

— А зачем?

— Затем, что я мог бы быть вам, очевидно, полезен.

Чем неожиданный благодетель мог бы быть полезен, наш стихотворец спросить постеснялся, но предположил, что — а вдруг — это редактор, критик или, может быть, даже какой-нибудь знаменитый поэт. Сейчас почитает стихи, прослезится, пожмет руку и на первом томе своего полного собрания сочинений выведет: „Победителю-ученику от побежденного учителя“ или что-нибудь вроде этого.

Хотя, конечно... Конечно, вряд ли... Но все-таки...

Стихотворец загнул тетрадь так, чтобы легко доступным осталось лишь только что испеченное, и протянул ее в любопытные руки.

Память автора не сохранила это сочинение в полном объеме, только последнее четверостишие вспоминается, да и то благодаря тому случайному ценителю, встреченному под башмаками Александра Сергеевича.

Ценитель читал стихотворение, беззвучно шевеля толстыми губами, а запомненное четверостишие прочел вслух, булькая, гнусава и испытывая трудности в произнесении всех шипящих:

— „Мечты, мечты... И я мечтаю робко при свете затухающего дня, что, может быть, нехоженная

тропка ещѣ осталась где-то для меня“. — Он вздохнул, поднял очки на лоб, посмотрел на начинающего автора и сказал:

— Нет, это не то.

Потом подумал и решил свое суждение детализировать:

— То, что вы пишете, молодой человек, есть настоящая и сушная чепуха.

Молодой человек и сам думал примерно так же, но столь прямое суждение его покорило.

— Почему ж это чепуха? — спросил он сердито.

— Потому что чепуха! Потому что все содержание этого вашего, с позволения сказать, стихотворения стоит три копейки, а если сказать точнее, то две с половиной. Кроме того, я вам должен сказать откровенно (тут голос его посуровел): это стихи не наши.

— Не ваши? — переспросил молодой человек удивленно.

— Не наши, — повторил тот очень серьезно. — Судите сами. Почему вы пишете о затухающем дне, когда можно сказать, что солнце нашего дня находится на пути к зениту? Вы понимаете, что я имею в виду? И почему ваш лирический герой, проявляя несвойственную нашему человеку склонность к индивидуализму, ищет для себя какие-то, понимаете ли, отдельные, побочные тропки? Почему он не хочет идти по широкой магистральной дороге вместе со всем нашим народом? Почему? Вы откуда приехали? Из Крыма? Вот и возвращайтесь к себе в Крым. Можете там выращивать виноград или картошку или заниматься чем-то ещѣ, но писать стихи... Нет, нет, молодой человек, по-

верьте мне, это совсем не для вас. Впрочем, давайте разберем, что вы написали ещю.

Он вознамерился читать дальше, но молодой человек схватился за тетрадь:

— Отдайте!

— Ну почему же? Я же хочу вам помочь разобраться.

— Не надо! — Неблагодарный, он вырвал тетрадь, встал и поспешно удалился.

Тайны Бога непостижимы

После операции у писателя был спор с швестер Моникой, уверявшей его в безусловной доказанности потустороннего мира. Моника ссылалась на книгу „Жизнь после жизни“ и другие свидетельства переживших клиническую смерть, совпадающие в описаниях некоего тоннеля, в конце которого вновь прибывшего приветливо встречает Некто в светлых одеждах.

Писатель на это сказал, что он, в той стороне вроде бы побывав, никакого тоннеля и никакого Встречающего не приметил. Был просто провал и полное отсутствие времени.

— Но вы находились под наркозом, — сказала Моника.

— Да, — согласился писатель, — я был под наркозом, но смерть, мне кажется, еще более глубокий наркоз.

— Вы неверующий? — спросила Моника.

Будь эта книга готова, ответ на свой вопрос швестер могла бы найти в ней. Но книга еще находилась только в состоянии замысла, поэтому автор

стал объяснять Монике свои взгляды по интересующему ее вопросу.

— Но мне кажется, вы тоже не совсем верующая, — заметил он.

— Почему вы так думаете? — удивилась она.

— Потому что если глубоко верить в Бога, то надо понимать, что тайна нашего возникновения и исчезновения — одна из наиболее охраняемых Богом тайн, и смешно даже думать, что он когда-нибудь позволит нам к этой тайне хоть сколько-нибудь прикоснуться.

— Но наука, — возразила Моника, — сделала в этом направлении уже достаточно много. Мы уже знаем про гены и хромосомы, умеем определять пол ребенка еще до рождения и вытаскивать человека из клинической смерти. Человек уже знает так много.

— Вам надо для себя уяснить, во что вы на самом деле верите. В Бога или в науку. Я просто утверждаю, что если Бог есть, то, как бы далеко ни продвинулась наша наука, его тайны останутся непостижимы. А если мы узнаем все тайны, то это и будет означать, что Бога нет.

На худой конец

Приемные экзамены уже начались, и абитуриенты толпились под пыльными тополями в садике за институтом. Они все были уже признанные таланты. Они были признаны авторитетной комиссией, пропустившей их через творческий конкурс. Теперь дело оставалось за малым: доказать, что они кое-что помнят из пройденного ими в школе курса

наук для простых смертных. Причем в данном случае действует закон обратной пропорции: чем больше талант, тем меньше он должен помнить.

В садике была обычная экзаменационная толкотня. Кто-то со страхом входил туда, где шли экзамены, кто-то с облегчением или в отчаянии выскакивал. Спрашивали, какие кому достались билеты.

Самоуверенный молодой и прыщавый блондин читал двум ровесникам свои шуточные стихи фривольного содержания. Наш провинциал приблизился и послушал: „Она, конечно, не девица. Но мне ведь с ней не под венец. А коли так, она сгодится... — Блондин выдержал многоточие, оглядел своих слушателей и победоносно завершил: — сгодится на худой конец“.

Сам блондин шутке своей засмеялся. Улыбнулись те двое. И наш никем не уполномоченный провинциал тоже за компанию радостно подхихикнул. Чем обратил на себя внимание блондина. Тот повернулся и, оглядев провинциала с головы до ног, спросил:

— Ты кто такой?

— В каком смысле?

— В прямом. Поэт? Прозаик? Критик?

Назвать себя поэтом приезжий не осмелился и сказал скромно:

— Пишу стихи.

— Ну, почитай! — приказал блондин.

Смущенный оказываемым ему вниманием, провинциал засуетился, развернул тетрадку. Конечно, он помнил свои стихи и так, но боялся сбиться. Нашел то, которое нравилось Свете:

Остывает земля.
Тепл темные стелятся медленно.
И внязу корабля
опускают за борт якоря...

Он читал, уткнувши глаза в тетрадку, а когда от нее отлепился, никого перед собой не увидел. Впрочем, блондина он тут же отыскал в нескольких шагах от себя. Тот, прижав к дереву нового слушателя и хихикая, читал ему про худой конец.

Секретаря Фокину приезжий нашел на втором этаже.

— Ах, это вы, — захлопотала она, — как же, как же. Ваша телеграмма... Как это у вас там? „Не очень обрадован вашим ответом...“

— „...не падаю духом, я буду поэтом“.

— Вот, — сказала она. — Я показывала вашу телеграмму ректору. Ему понравилось. Он сказал, что только за одну эту телеграмму вас стоит принять в институт.

Приезжий заволновался.

— Ну так кто же ему мешает сделать это сейчас?

Поколебавшись, секретарь тут же взяла себя в руки и сказала, что, пожалуй, все-таки поздно, экзамены идут уже третий день... А впрочем...

Втыкая наманикюренный пальчик в дырки телефонного диска, она соединилась с абонентом, который, очевидно, находился поблизости.

— Михаил Борисович, — сказала она, — помните, один абитуриент прислал нам телеграмму, что он все равно будет поэтом? Так вот он здесь. Я понимаю, что поздно, но, может быть, вы хотя бы посмотрите его стихи. — Она положила трубку и

показала приезжему на стул у стены. — Посидите. Сейчас подойдет Михаил Борисович. Он у нас самый активный пестователь молодых дарований.

Приезжий не знал, кто такой Михаил Борисович, но заволновался и, севши на стул, стал быстро перебирать свои пятнадцать стихотворений, не зная, с какого лучше начать. Стихотворение про вечер и корабли уже не казалось ему таким прекрасным, как раньше. Что еще можно показать? „Матери“? Да, конечно, это стихотворение имело успех, но где и какой? Что еще? „Отцу“? „Тете Ане“? „Дяде Косте“? Нет, это все чепуха, но это, про нехоженую тропку, оно все-таки ничего.

— Здравствуйте, лапочка! — послышался вдруг голос, булькающий, как из колодца. — У вас сегодня потрясающая прическа. Ну, где ваш телеграфный поэт?

Наш провинциал поднял голову, посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги.

— Так это вы! — удивился, но не очень Михаил Борисович. — Ну, куда же вы, куда? Подождите! Я же вас не съем. Эти ваши стихи про тропку мне не понравились, но, может быть, другие понравятся.

— Нет, нет, нет, — сказал приезжий. — Спасибо. И с тем вылетел в коридор.

Возвращение в жизнь

Почти каждому пишущему свойственно преувеличивать свои провидческие способности, и наш писатель утверждает, что его выход из небытия

был им запечатлен лет за десять до описываемого момента в небольшом этюде, названном им „Этюд“.

Точно как в том этюде, открыв глаза, он долго не мог понять, где он и кто он, новорожденный или обрубок, переживший катастрофу, и вообще — человек ли. В ограниченном объеме освещенного пространства некое существо совершало однородные движения, а в таинственном мраке углов мерцали детали предметов, не имевших названия.

Вскоре названия стали откуда-то выпархивать и как бы приклеиваться к соответствующим предметам, говоря ему: это потолок, это часы, это женщина.

Женщина в белом халате и с белым лицом стояла над ним, качала какую-то грушу, потом что-то писала в журнале, снова качала и снова писала.

После сложного умственного усилия он понял, что это медсестра (но не Моника), она мерит и записывает его кровяное давление.

Медсестра качала грушу, писала в тетради и спросила без особого интереса:

— Wie geht es?*

Язык, на котором был задан вопрос, возвратил его сразу к реальности, он хотел ответить, что дела его идут хорошо, для чего несколько раз открыл рот и закрыл, но никакого звука этим не произвел.

Его это не удивило, не испугало, не огорчило. Он смотрел на часы, они показывали без четверти пять, ему хотелось бы знать, утра или вечера.

— Wie geht es? — снова спросила сестра, и он снова ответил беззвучно.

*Wie geht es? (нем.) — Как дела?

Когда она задала тот же вопрос в третий, четвертый раз, он забеспокоился.

Почему она спрашивает? Разве она не видит и не знает, что он не может говорить?

Он толкнул ее слабой рукой, показал на ее карандаш и изобразил витиеватым жестом, что хотел бы воспользоваться этим предметом.

— Что? — изумилась она. — Вы хотите писать? Вам пока нельзя писать.

Видимо, она знала о профессии пациента и вообразила, что он собирается немедленно приступить к работе.

Глядя опять на часы, он попытался представить, сколько прошло времени с тех пор, как Моника вкатила ему укол, и вспомнил про сигарету, которую, вероятно, так и не выкурил. И этот факт его странным образом взволновал. Он обещал себе, что вот эту, последнюю выкурит, а после операции — ни одной, теперь ему представлялось, что сигарету придется докуривать, и это его огорчило. Нарушив обет один раз, потом трудно остановиться.

— Wie geht es? — в который уж раз спросила сестра, чем его очень разволновала. Он вцепился в ее карандаш и стал его выкручивать, сам удивляясь, что сила есть. Выкрутив, знаком потребовал бумагу и в подставленную тетрадь вписал: „Ich kann nicht sprechen“*. Тут же поняв, что совершил постыдную ошибку — перед буквами „p“ и „t“ звук „ш“ изображается одной буквой „s“.

— Ах, вы не можете говорить! — сказала медсестра, словно бы удивляясь. И тут же выяснилось,

*Ich kann nicht sprechen (нем.) — Я не могу говорить.

что удивляться нечему. — Я знаю, что вы не можете говорить. Но вам и не надо ничего говорить. У вас все в порядке. Вам сделали операцию. Все идет как надо. И у вас в России все хорошо. Перестройка, гласность, Горбачев. Великий человек.

Харизма

Лет за тридцать до того в Москве, в Доме литераторов, показывали старый документальный фильм из немецких архивов. Почему-то так получилось, что передо мной, и сзади, и спереди, сидели жены писателей, то есть женщины совершенно особой, ни на какую другую не похожей породы. Это дамы, которые, как правило, нигде не работают, но создают своим мужьям определенный уют. По возможности окружают себя поклонниками, ездят в дома творчества и там, если удастся, заводят романы. Если не удастся, не заводят. О литературе и всяких других искусствах судят самоуверенно, вознося одно и низвергая другое. В языке позволяют себе определенную смелость. В шестидесятых годах ввели в свой обиход слова „жопа“, а после появления анекдота о мудаке и это слово стали тоже осваивать.

Итак, в Доме литераторов я сидел, окруженный писательскими женами. Показывали Германию 36-го, 38-го годов, Олимпийские игры в Берлине, мюнхенское соглашение, присоединение Австрии к Германии. Везде, конечно, Гитлер. Пленка черно-белая, стертая, видно плохо. Кино тогда еще неточно передавало движение, люди ходили рывками и поэтому были похожи на клоунов. Но больше всех был похож на клоуна Гитлер. Стоя, он держал

руки, как футболист, ожидающий штрафного удара. Выступая, дергался, гримасничал, картинно выкидывал руку вперед и вживе мало отличался от самых нелестных карикатур. Ничего, кроме отвращения, во мне не вызывал. В окружавших меня женщинах — тоже. В начале фильма они свое впечатление охотно выражали словами: какой противный, мерзкий, отвратительный, ужасный и прочие такие эпитеты. Но фильм шел дальше. На каком-то этапе женщины перестали переговариваться, замолчали, потом стали странно вздыхать, потом даже слегка постанывать. Сначала я все это воспринимал краем уха, потом прислушался и вдруг понял, что эти женщины, по крайней мере часть их, при виде Гитлера, его речей и ужимок сексуально возбуждены. Может быть, в другом случае они бы сдержались, но здесь, застигнутые врасплох наваждением, в темноте, под звуки несущихся с экрана музыки и лающей речи расслабились, не думали, что их реакция заметна и слышна, а может быть, даже и сами не поняли, что с ними происходит.

Вот это и есть харизма!

Потом я стал уже наблюдать за публикой в кино и живьем и увидел, что именно женщины являются в толпе главным бродильным элементом. Это они, воспаляясь, начинают кричать „Зиг хайль!“ или скандировать любимое имя, а потом свое возбуждение передают и мужчинам. Мужчины за ними тоже начинают орать, не понимая того, что их жены с этими харизматическими личностями им в этот момент изменяют, вплоть до впадения в оргазм, и вообще происходящее есть не что иное, как сексуальная оргия. Исторические загадки, как люди могли

поверить Ленину, Гитлеру, Сталину, Мао Цзэдуну, Жириновскому, разрешаются просто. Люди толпы мыслят не мозгами, а гормонами. Главное, не что произносит харизматическая личность, а как. Важны не слова, а жесты, выкидывание вперед рук, вращение глазами, голосовые перепады от шепота к визгу и наоборот. На это бывают очень способны рок-певцы, религиозные кликуши, шарлатаны, называемые экстрасенсами, но больше других — политические авантюристы, которые возбуждают толпу, и, когда она впадает в безумие, начинается большая беда, которую отворотить почти невозможно.

Жизнь после жизни

Пока пациент погружался в прошлое, медсестра, не отходя от него ни на секунду, все мерила и писала, а потом вдруг посмотрела на него, схватила трубку, торчавшую у него из носа, и потянула. И он почувствовал, что трубка вытягивается у него из живота, или из легких, или из прочих каких-то недр.

— *Wie geht es?* — спросила она опять.

Он ей ответил:

— *In Ordnung**. — И сам свой ответ услышал.

Она задала ему ресторанный вопрос:

— Что будете пить?

Он спросил:

— А что у вас есть?

Она ответила:

**In Ordnung (нем.)* — Все в порядке.

— Вода, соки, пиво.

— Пиво? — переспросил он.

Она решила, что это не вопрос, а требование, и поставила рядом с ним банку пива. Он выпил один глоток. Больше пить не захотелось.

Несостоявшееся открытие

Валя Петрухин сказал, что современная физика может без труда ответить на вопрос, есть ли Бог.

— Надо только, — сказал он, — составить правильную программу и всю ее насквозь прочесать.

— Тогда, — сказал я, — почему бы именно этим тебе немедленно не заняться?

— Потому что это требует времени, а я сейчас занят синхрофазотроном в Протвино.

— Брось все и реши вопрос насчет Бога, — посоветовал я. — Ответ на этот вопрос будет величайшим научным открытием в истории человечества.

Валя подумал и, вдруг оробев, сказал:

— Тогда, пожалуй, я этого не потяну.

Чонкин в лесу

Вторая книга „Чонкина“ — „Претендент на престол“ кончается осенью 1941 года. Чонкин уходит в лес вместе с сержантом НКВД Климом Свинцовым, который получил, но не выполнил задание застрелить Чонкина при попытке к бегству. После рассказа об уходе в лес этих двух товарищей по несчастью автор пытался вообразить себе их дальнейшие приключения. Территория, включавшая в

себя описываемый лес, захватывалась то одной воюющей стороной, то переходила к другой, но ни то, ни другое положения Чонкина и Свинцова никак не меняло. Для них были опасны и свои, и немцы, и партизаны, и все другие вооруженные люди. Скрываясь от всех, беглецы шатались по лесу, как звери, голодные, холодные и небритые. У Чонкина бороденка отросла татарская, редкая. А Свинцов до ушей зарос рыжей и грязной шерстью, так зарос, что, прежде чем разглядеть что-либо вдали, шерсть на глазах раздвигал руками. Ночевали на сырой, а потом и на мерзлой земле. Несколько раз выходили к дороге, но первый раз наткнулись на пешую колонну, а второй раз еще издалека увидели идущие на большой скорости танки. Надо мимоходом заметить, что это были танки Гудериана, шедшие на выручку Чонкину, чего он, конечно, не мог даже предположить. Однажды наши герои увидели на дороге крестьянский обоз и вышли попросить чего-нибудь, спичек или хлеба, но крестьяне сами не хуже немцев напали на них с вилами. Впрочем, одного выстрела вверх оказалось достаточно, чтобы охладить нападавших. После чего беглецы решили пределов леса по возможности не покидать. Питались ягодами и опятами, которых вдоволь росло на гнилых и осклизлых пнях. Оба беглеца были людьми природными и сначала добыли огонь путем трения дерева о дерево, а потом с той же целью употребляли куски железа, камни и портянки. Свинцов нашел старую, еще с первой войны, немецкую каску с дыркой возле виска, заткнул опять же куском портянки, стал варить в каске обещанный Чонкину компот из ягод и суп из грибов, добавляя в него какие-то ему только из-

вестные коренья и травы. Оба мечтали подстрелить кабана или лося, но ни кабаны, ни лоси не попадались. Табаку было маловато, но подмешивали к нему размельченные листья и конский навоз и тем самым запас увеличили. Все же и такая лафа продолжалась недолго. Как-то ночью подморозило, а утром глянули: опять все разом почернели и сникли. Подмерзла на кочках брусника, но из нее и из мороженой варено было вкусное, а вообще с едой стало хуже. По ночам стали ходить через дорогу к неубранному пшеничному полю. Колосья шелушили, варили из зерен кашу. Но однажды под вечер выглянули из чащи и увидели: по полю, перемигиваясь фонариками, бегают немцы и полицаи с собаками. Рисковать не стали, бросили обжитые места, пошли прочь. Шли неделю голодные, оборванные, замерзшие. У Чонкина на левом ботинке подошва совсем отвалилась и даже привязать нечем. Он ее перетянул ремнем и конец ремня держал в руке, чтобы не болтался.

Однажды подошли к густому кустарнику и решили наломать для костра сучьев, как вдруг там, в кустах, зашевелилось и полезло что-то мохнатое.

— Медведь! — воскликнул Свинцов и вскинул винтовку.

Кусты затрещали сильнее, из них выскочило престранное существо, покрытое длинной шерстью, и со всех четырех ног кинулось прочь. Свинцов, сам превратившийся за это время в зверюгу, кинулся догонять. Существо достигло ближайшего дерева и, ловко перебирая передними и задними лапами, вмиг взлетело к самой верхушке и оттуда с беспокойством следило за подошедшими.

Свинцов, поставив винтовку к ноге, спросил Чонкина:

— Что за зверь, не знаешь?

— Не знаю, — удивленно сказал Чонкин. — Но похоже, что обезьян.

— Откуда ж обезьян? — усомнился Свинцов. — Это ж тебе не Африка. Может, какая кошка или же соболь.

— Да ты что! — сказал Чонкин. — Какой же соболь? Соболь будет поменее и больше, как бы сказать, на человека похожий, правда, с хвостом. А это чистый обезьян. Нас прошлый год в зверинец возили, там был один горилл точно такой же. Может, и этот из зверинца убег.

— Вроде, как мы с тобой, — пошутил Свинцов, не спуская глаз с непонятого зверя. — Похоже, и правда, что обезьян. Слушай, а ты думаешь, обезьянов едят? — спросил он и, подняв винтовку, потянул к себе рукоять затвора.

— А чего же не есть, — предположил Чонкин. — Та же свинья, только что по деревьям лазает. Шерсть опалить, шкуру содрать, а мясо можно и не варить, а прямо на прутья накалывать и в костер. Лопал когда такое?

— А как же! — сказал Свинцов. — Мы, бывало, с капитаном-то нашим Милягой барана задерем и вот так, как ты говоришь. Мясо на прутья нанижем и над угольями... — Свинцов сглотнул слюну и вскинул винтовку. — Да, это, промежду прочим, сашлык называется...

— Не стреляйте! — закричала обезьяна жалким человеческим голосом. — Не стреляйте, я сдаюсь.

— Гляди! — удивился Чонкин. — Говорить умеет.

— Тьфу! — плюнул Свинцов. — Говорящая, Иван!

— Чего? — отозвался Чонкин.

— Ежли она говорящая, я ее есть не смогу, я брезгливый.

— Да вообще-то, конечно, — согласился Чонкин. — Оно-то так.

— Ладно, слезай, — приказал Свинцов обезьяне. — Слезай, в рот тебя, а то застрелю.

Обезьяна проворно спустилась и стала перед Чонкиным и Свинцовым почти что на две ноги, только слегка опираясь передними конечностями о поваленное дерево. Хотя была она покрыта шерстью с ног до головы, Свинцов разглядел в зарослях признак мужского пола и спросил спустившегося строго:

— Кто такой?

Спустившийся молчал и дрожал мелко, как овца перед закланием.

— Говори, кто такой! — зарычал Свинцов и снова щелкнул затвором.

— Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте! — закричал спустившийся и упал перед Свинцовым на колени.

— А почему же не отвечаешь, кто такой? — спросил Свинцов, осторожно добрея голосом.

— Я сам не знаю, кто я такой, — признался спустившийся. — Не знаю, кто я — человек, зверь, черт или леший.

— В лесу живешь? — продолжал допрос Свинцов.

— В лесу.

— А пожрать чего найдется?

— Для вас, — сказал леший, — для вас непременно найдется.

— Ну води нас к себе. Надумаешь убечь, помни, пуля бежит шибче.

Пошли в гости. Леший бежал впереди, помогая себе передними конечностями. Свинцов и Чонкин за ним не поспевали, но он время от времени останавливался, поджидая своих гостей, и опять бежал вперед, как собака, ведущая охотника по следу.

Спустились в овраг. По камушкам перешли заплесневевший ручей. Пересекли небольшую поляну и перешагнули через ствол большой, лежащей, как труп, сосны. За ней были сросшиеся кусты. У кустов леший заколебался, а Свинцов на всякий случай взялся за рукоять затвора.

— Пришли, — сказал леший устало.

— Куда же пришли-то?

— А вот сюда, — сказал леший и юркнул в кусты.

Свинцов кинулся за ним, рассчитывая в случае чего тут же его придушить, и невольно вскрикнул:

— Батюшки! Так это ж берлога!

Леший, сверкнув голым задом, уже улезал в берлогу на карачках. Свинцов полез следом. За ним Чонкин. Берлога оказалась длинным, полого спускавшимся и заворачивающим вправо лазом. Они проползли по нему несколько метров, и уже свету сзади не было видно, а под коленями ощутилась твердая почва.

— Не удивляйтесь, — услышали они голос лешего. После чего чиркнула спичка и с шипением загорелась, а от нее засветилась и семилинейная лампа.

— Ух ты! — ухнул Чонкин, а Свинцов от себя добавил чего-то по матушке.

То, что они увидели, описанию не поддается. За узкой горловиной начинался постепенно раздвигающийся вширь и ввысь коридор, пол его был устлан стругаными и даже крашеными досками, коридор этот оканчивался дверью, а за дверью была самая настоящая комната, даже неплохо убранная, даже с книжной полкой и с книгами, с топчаном, покрытым тряпьем, но, что больше всего удивляло: над топчаном висел портрет человека в старой форме с эполетами и аксельбантами.

— Это кто ж такой? — почтительно спросил Свинцов.

— А это... — замялся хозяин берлоги, — это, как вам сказать... Это Его Императорское Величество Государь Император Николай Второй.

— Ого! — невольно выдохнул Чонкин.

— А вы, сами-то, извиняюсь, кто же-то будете? — перешел на „вы“ оробевший Свинцов.

— А я, — сказал леший, — Вадим Анатольевич Голицын.

Будучи человеком, Голицын считался в здешних местах помещиком, потом служил в свите Его Величества, вместе с ним был в Екатеринбурге, но при расстреле царской фамилии случайно остался жив. Бежал в родные места и поселился в лесу, ожидая конца большевистской власти. Ждать, однако, пришлось слишком долго. Со временем полностью оборвался, одичал, зарос шерстью. Великий образ жизни. Питался грибами, ягодами, кореньями, руками ловил зайцев и птиц. Лесные звери его боялись. Он жил под открытым небом, пока

не набрел на берлогу и не выгнал из нее спавшего в ней медведя. Медведь после этого стал шатуном, бродил по лесу, выходил на дорогу, нападал на лошадей и людей, но захватившего берлогу боялся.

Живя в берлоге, Голицын стал постепенно возвращаться к человеческой жизни. По ночам прокрадывался к деревням, воровал что под руку попадется, в конце концов появились у него керосиновая лампа, деревянный топчан с матрасом, набитым соломой, появились лопата, топор и прочие мелкие инструменты. А уже накануне войны у него появилась даже собственная библиотека. Ехала по дороге передвижная изба-читальня, шофер был пьяный, разбил машину и сам разбился. Когда машину обнаружили, она была уже полностью опустошена. Библиотека, которую вез погибший шофер, принадлежала когда-то Голицыну, к нему она частично и вернулась. В той части, которая ему сейчас досталась, были романы Достоевского и Данилевского, детское издание „Записок охотника“, подарочное издание „Евгения Онегина“, полное собрание сочинений Гоголя, половина марксовского полного собрания сочинений Чехова, книга „Путешествие по Енисею“, мифы Древнего Египта и Древней Греции, шотландские баллады в переводе Жуковского. А кроме этих были уже „Краткий курс истории ВКП(б)“, книга Станиславского „Моя жизнь в искусстве“ и комплект блокнотов агитатора за вторую половину сорокового года. Но самым большим его достоянием был портрет государя-императора.

Чонкин и Свинцов поселились у лешего в берлоге и некоторое время жили у него, как на курорте. Охотились, жарили добычу на костре, пили чай из

собранных лесом различных трав, а вечерами слушали лесного, который им пересказывал удивительные романы из старинных времен. Чонкин иногда думал: еще б сюда Ньюру, так можно бы жить всю жизнь.

Но он так прожил недели три и однажды за сбором хвороста был схвачен партизанами, допрошен, признан попавшим в окружение и оставлен в отряде. Отрядом этим командовала Аглая Ревкина, жена или, сказать точнее, вдова Андрея Ревкина, бывшего первого секретаря Долговского райкома ВКП(б).

А рассказ о том, как Аглая стала вдовой, можно поместить в другом месте нашего сочинения.

Эмиграция в Москву

Без прописки нет работы. Без работы нет прописки.

Когда В.В. много лет спустя слушал рассказы о невероятных трудностях первых месяцев эмигрантской жизни, он только усмехался и спрашивал своих собеседников, не пробовали ли они когда-нибудь эмигрировать в Москву.

В Москве для эмигрантов из провинции не было никаких сохнутов, хiasов, благотворительных фондов, ночлежек, но зато были правила прописки и милиция, которая бдительно охраняла вокзалы, парки и скверы от таких бродяг, как В.В. И стоило ему прикорнуть на заплеванном вокзальном полу или на садовой скамейке, его тут же тормозили, поднимали, стаскивали со словами „не положено“, а если он пытался „качать права“, тащили в уча-

сток, предлагали покинуть столицу в 24 часа, страшили, подносили к носу кулак, обещали „наवेशать пиздюлей“ и сделать инвалидом без внешних следов побоев.

Все стенды Мосгорсправки и заборы были оклеены объявлениями: требуются, требуются, требуются... Требуются плотники, слесари, электрики, каменщики, маляры... Любая из этих профессий ему подошла бы, но в очередном отделе кадров его встречали вопросом о московской прописке. После чего разводили руками: без прописки, извините, не берем.

Он шел опять в милицию, но не к дежурному, а в паспортный стол. Там не грубили, вежливо интересовались наличием справки с места работы. И опять соответствующие пожимание плеч и поджимание губ: очень жаль, но...

Без прописки нет работы. Без работы нет прописки.

Днем хоть можно было сидя подремать на скамейке, а ночью — не успел где-то скрючиться, съежиться, смежить веки, как тебе кулак или сапог упирают в ребра: „Эй, вставай! Вали отсюда! Не положено!“

Всю Москву обойдя, В.В. передвинулся в ближе Подмоскowie и там тоже долго с платформы на платформу ковылял, впадал в отчаяние, пока случай не занес его на станцию Панки, где на ржавых запасных путях, поросших травой между шпалами, стояли телятники ПМС (путевая машинная станция)-12. И состоялось чудо, объясняемое тем, что ПМС была приписана к поселку Рыбное Рязанской области и здесь находилась в командировке.

— В армии служил? — спросил начальник отдела кадров.

— Служил.

— Сколько лет?

— Четыре.

— Во флоте, что ли?

— Нет, в авиации. Во флоте служил бы пять.

— В тюрьме не сидел?

— Пока нет.

Кадровик подумал, вздохнул:

— Ладно, давай паспорт, военный билет и трудовую книжку.

Ушам своим не веря, В.В. положил на стол то, другое и третье.

Кадровик полистал паспорт, книжку, подумал, макнул ручку в чернильницу, написал: „Принят на работу в качестве путевого рабочего“. Документы положил в сейф. На клочке бумаги сотворил записку: „Коменданту общежития тов. Зубковой. Предоставить одно мужское полко-место“.

Приходи болтаться

На приступках перед вагончиком коменданта Зубковой сидела плотная девка лет двадцати пяти, цыганистая, с черными конопушками на круглом лице. У ног коричневый фанерный чемоданчик, замкнутый на висячий замок.

— Комендантши нет, — сказала она В.В. — Говорят, скоро придет.

— Хорошо, — кивнул он и достал папиросы „Прибой“.

— А чего стоишь? — сказала девка. — Садись, посиди. В ногах правды нет. Ты после армии, что ль? Я и вижу. А я из колхоза убегла. Ну, надоело, ей-бо, надоело. Цельное лето с утра до ночи не разгибамши, карячиси, карячиси, трудодней тебе этих запишут тыщу, а как расчет, так фига под нос подведут, ты, говорят, на полевом стане питалась, шти с мясом лопала, кашу пшенную трескала, вот еще и должная колхозу осталась, скажи спасибо, что не взыскуем. А зимой там же скучища. Клуб нетопленный, парней нет, все разбеались. Девки с девками потопчутся под патефон, да и по домам, да на печь. Меня Клавкой зовут. А тебя?

— А меня Вовкой, — в тон ей сказал В.В., хотя в других случаях называл себя обычно Володей.

Тут явилась комендантша. Клавка подхватила чемодан, пошла к ней первая.

Вскоре вышла довольная, с бумажкой в руке.

— Вот направление. Шестой вагон, купе второе. Приходи болтаться.

Семейная тайна

Мой отец родился в 1905 году, 15 мая, а по народному поверью, каждому, кто рожден в мае, суждено всю жизнь маяться. Не знаю, как насчет других, но в приложении к отцу поверье сбылось полностью, он маялся всю свою жизнь, хотя она и оказалась более долгой, чем можно было ожидать, — он умер через десять дней после своего 82-го дня рождения.

Я очень редко его расспрашивал о его прошлом, а сам он не любил о себе слишком много рассказы-

вать и не внял моим настояниям написать мемуары. Я знал только, что родился он в Новозыбкове, Черниговской губернии, учился в реальном училище, не доучился из-за революции, с четырнадцати лет начал работать, кем именно, понятия не имею, знаю только, что был какое-то время электриком. Два года (1927-29) служил в армии. Потом попал в газету и даже стал делать сравнительно успешную журналистскую карьеру. Когда я родился, ему было 26 лет, он занимал пост ответственного секретаря республиканской газеты „Коммунист Таджикистана“, а потом, не оставляя первой должности, стал одновременно и редактором областной газеты „Рабочий Ходжента“ (впоследствии „Ленинабадская правда“).

Когда отец работал в газете, он мне казался большим начальником, потому что ездил на работу в редакционной машине.

Мать говорила, что был он в молодости веселым, общительным, готовым ко всяким проказам, любил выпить, хорошо рисовал и пел русские народные песни. Уже тогда был склонен к разным чудачествам. В питании и одежде был скромнен, и если ему в кои-то веки покупался хороший костюм, то прежде чем выйти на люди, катался в нем по полу: костюм не должен был выглядеть слишком новым.

Он был человеком всерьез принципиальным и от себя и своих близких требовал большего, чем от других. Какое-то время мать работала в его подчинении и то ли опоздала на работу, то ли что-то еще. Кому-нибудь другому это могло сойти с рук, но не ей. Отец написал немедленно приказ: уволить! И уволил.

Как многие люди его поколения, отец вступил в партию по убеждениям. Он верил в коммунизм, но в чем конкретно проявлялась эта вера, не знаю. Однажды, уже в конце жизни, он сказал, что сидел в лагере не зря. „Я, — сказал он, — состоял в преступной организации и за это должен был быть наказан“. О том, что он сам делал в преступной организации, кроме работы в газете, я ничего не знаю, но думаю, что ничего особенного не делал. Один из его очень редких рассказов мне был о том, как однажды в каком-то из российских уездов, будучи членом продотряда, он не справился с поставленной перед ним задачей изъятия у крестьян „излишков продовольствия“. Когда отец с пистолетом пришел к первой же избе проверять, что там спрятано под полом, хозяин избы встретил его на пороге с выставленными вперед вилами и сказал: „Не пущу!“ В глазах его было такое отчаяние, что отец повернулся, сам уехал и увел продотряд. Потом ему попало „за проявление гнилого либерализма“.

В 1936 году отца обвинили, как было сказано в его деле, „в пр./пр.“ (преступлениях), предусмотренных статьями 58–10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), или, что то же самое, статьей 61 УК Таджикской ССР. Его уволили с работы, он поехал искать правды в Москву и там, в Орликовом переулке, на квартире своего приятеля (который на него и донес) был арестован.

Тут следовало бы плавно продолжить наше повествование, но плавным оно не получается, потому что в эту, давно написанную главу вторгся новый сюжет.

В феврале 1992 года, приехав очередной раз из Мюнхена в Москву, я стал добиваться от КГБ вы-

дачи мне моего дела. Своего дела я не добыл, но, чтобы отвязаться от меня, гебисты, приложив некоторые усилия, нашли в Ташкенте и привезли в Москву две пожухших, выгоревших, облезлых, залапанных сотнями рук папки. Дело номер 112 по обвинению Глуховского, Хавкина, Салата и Войновича в контрреволюционной деятельности.

У меня было слишком мало времени для изучения папок, поэтому первыми тремя обвиняемыми я интересовался не очень и сосредоточил все свое внимание на четвертом — Войновиче Николае Павловиче, бывшем члене ВКП(б), бывшем ответсекретаре газеты „Коммунист Таджикистана“, ныне без определенного места жительства и определенных занятий, ранее не судимом, женатом, имеющем сына Владимира четырех лет. Изъятые при аресте имущество: трудовой список, разная переписка, 2 записные книжки, газета „Коммунист Таджикистана“ № 158 36-го года и квитанция № 43801 на вещи в камере хранения Казанского вокзала. На счет остального имущества в „Анкете арестованного“ вопросы сформулированы так: 7. Имущественное положение в момент ареста. (Перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и прочее). Ответ: Нет. 8. То же до 1929 года. Нет. 9. То же до 1917 года. Нет. Не было имущества ни в момент ареста, ни до 29-го, ни до 17-го годов.

А что касается обвинения, так вот...

Тихим июньским вечером того же 1936 года в „ленинской“ комнате воинской части сидели трое, пили чай, как водится, мечтали о светлом будущем. И один из них, начальник штаба лагерных

сборов Когтин (в протоколе допроса указано: грамотный, образование „нисшее“), выразил мнение, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя. Мой отец (грамотный, образование 3 класса реального училища) с Когтиным согласился. Третий участник разговора, инструктор политотдела Заднев (образование высшее), своего мнения не имел, но потом решил, что высказывания первых двух носят враждебный нашему строю характер, о чем счел необходимым, как он сам показал, сообщить „в соответствующие органы“. Заднева работники КГБ просили меня не упоминать, руководствуясь гуманными соображениями. Чтобы возможные потомки доносчика моими записками не были бы ненароком травмированы. Я подобной заботы о ранимых потомках не разделяю. Я не мстителен, у меня нет желания сводить счеты с Задневым, который вряд ли еще живет, и нет нужды огорчать его родственников, но фамилии называть надо. В назидание теперешним и будущим сволочам, которые должны понимать, что они ответственные перед собой, перед своей фамилией и перед потомками, которым потом, может быть, придется либо гордиться, либо стыдиться своих корней.

Что случилось с необразованным Когтиным, я не знаю, но отец был уволен с работы, арестован и причислен к группе таких же активных контрреволюционеров и троцкистов, как сам. Всей группе из четырех человек и каждому ее участнику по отдельности были предъявлены обвинения в активной антисоветской деятельности. Но особым личным преступлением отца было признано его „контрреволюционное троцкистское“ высказывание на-

счет невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране.

Дело номер 112 содержит два тома — 279 и 195 листов. Постановления, протоколы допросов и очных ставок, показания, собственноручно написанные и собственноручно подписанные. Там есть обвинения в развале работы в редакции и в отказе публиковать статьи против врагов народа, но главное вот это: „контрреволюционное троцкистское высказывание о невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране“.

Отца перевезли по этапу из Москвы в Сталинабад, и полтора года, днем и ночью, люди скромных чинов и высоких рангов повторяли один и тот же вопрос: „Следствие располагает данными, что вы, будучи на лагсборе в 1936 году, июнь месяц, среди работников штаба и политотдела допустили явную контрреволюционную троцкистскую трактовку о невозможности построения в одной стране коммунизма. Дайте следствию показания, от кого вами заимствованы эти формулировки“. Вопрос задается бесконечное количество раз, и отец бесконечно отвечает: „Эти формулировки я ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения“.

Изо дня в день, из ночи в ночь одно и то же: „Вы сказали, что не верите в построение коммунизма“. А он каждый раз вносит в протокол уточнение: полного коммунизма. Причем не вообще когда-нибудь, а в условиях капиталистического окружения. Формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Виновным себя ни в чем не признаю. Может быть, стоило почитать кое-какие теоретические труды по

этому поводу, но формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения, но в возможности построения неполного коммунизма не сомневался. „А вот Заднев показывает, что вы говорили не о полном коммунизме, а о коммунизме вообще.“ — „Нет, я говорил только о полном коммунизме, а что касается Заднева, то он человек образованный, у него, как он сам всегда говорит, высшее философское образование, он мог бы нас с Когтиным поправить, но он этого почему-то не сделал“. — „Вы говорили, что Литвинов троцкист?“ — „Нет, я говорил, что Литвинов пьяница, но, что троцкист, не говорил“. — „На городской партийной конференции вы повторили свои контрреволюционные утверждения о невозможности построения в одной стране...“ — „Нет, на городской партийной конференции я говорил не о возможности построения, а о возможности построения полного...“

Я спрашивал отца, пытали ли его, он говорил — нет, если не считать того, что допросы были намеренно изнуряющие — по ночам, с наведением на подследственного слепящего света.

В июне тридцать седьмого года следствие было закончено и передано в суд. Трое подсудимых признали свою вину, отец не признал. Чем начал, тем и кончил: „Виновным себя ни в чем не признаю“. Тем не менее всех четверых готовили... к чему бы вы думали? Конечно же, к смертной казни. Но наступала первая перестройка, оттепель, возвращение к ленинским нормам. Специальная коллегия Верховного суда Таджикистана заседала в январе 1938 года, как раз в те дни, когда в Москве прохо-

дил знаменитый январский Пленум ЦК ВКП(б). На котором было сказано о допущенных перегибах. Железный нарком Ежов был заменен еще не железным Берией. Началось (хорошая формулировка того времени) **разберивание**, в результате которого выяснилось, что в работе НКВД имелись определенные отдельные недостатки. В Москве аукнулось, в Душанбе откликнулось: четверем преступникам, высказавшим где-то кому-то какие-то мысли, был определен срок заключения: троим, признавшимся в своих преступлениях, — по десять лет лагерей, а отцу, не признавшемуся, — всего лишь пять.

Не знаю, когда у отца наступило прозрение, до или после ареста, но из тюрьмы он каким-то образом ухитрился передать моей матери посвященное ей стихотворение с заключительным выводом: „Там, за этой тюремной стеною, твоя жизнь безнадежно черней“.

После возвращения из тюрьмы отец был совсем не таким, каким выглядел по описаниям матери. Он был невеселым, необщительным, не выпивал, не заводил и не имел друзей. При своей исключительной честности и щепетильности был очень скрытен (вот уж чего я от него совершенно не унаследовал). Посторонним о себе не рассказывал да и перед близкими душу не выворачивал. Прошлого поминать не любил, а тот факт, что он сидел, вообще держался в тайне от посторонних и от меня тем более, хотя в эту тайну я начал проникать еще в тот майский день сорок первого года, когда отец возник передо мной в образе бродяги и оборванца. Потом я о чем-то сам догадался, кое-что выпытал у бабушки Евгении Петровны и годам

примерно к четырнадцати в тайну эту был полностью посвящен.

Но как это обычно бывает: то, что скрывают родители, ребенок тоже держит при себе. Родители мне ничего не говорили, и я делал вид, что ничего не знаю, вплоть до моего возвращения из армии, когда мне было уже двадцать три года. Тогда был приготовлен особый ужин, во время которого сначала затронута, а потом развита соответствующая тема, что не все (нет, увы, не все) в нашей стране устроено так хорошо, как изображается в газетах, и столь осторожная преамбула была выстроена лишь для того, чтобы подойти к фразе: „Знаешь, Вова, мы с мамой в свое время не могли тебе этого сказать, но теперь ты можешь сам разобраться...“

Так, наверное, в прошлом веке добропорядочные родители, готовя к замужеству свою созревшую дочь, смущенно открывали ей, откуда берутся дети. И бывали смущены еще больше, узнав, что дочь не столь наивна, как ожидалось, и сама может их кое в чем просветить.

Подобное же смущение пришлось испытать и моим родителям, обнаружившим, что семейная тайна столь тщательно и долго хранилась напрасно.

P.S. А все же кое-что родителям удалось скрыть от меня до конца жизни. О дедушкиных мельницах я узнал только в 1994 году.

Смена бабушек и городов

Во времена моего детства цивильные костюмы для взрослых шились из материи четырех основ-

ных сортов: бостон, коверкот, певичот и сукно. Бостон из всех перечисленных считался наиболее дорогим материалом, сукно в этой иерархии стояло на последнем месте. Костюм моего отца был светло-серый коверкотовый. Он был куплен еще до ареста, но почти не ношен, потому что хорошей одежды отец мой всегда стеснялся.

Переодевшись в костюм, отец перестал выглядеть бродягой и стал таким, каким я и помнил его раньше, — представительным, худощавым интеллигентным мужчиной с родинкой на хорошо бритом лице.

Но что-то в его поведении меня удивляло. Мы спали в одной комнате, и я стал пробуждаться среди ночи от странных звуков. И видел, что отец скрипит зубами, стонет, иногда даже вскрикивает, вскакивает и долго смотрит по сторонам, не понимая, где он, и не веря, что он не там, где только что себя видел. Придя в себя, он успокаивался, клал голову на подушку, но, видимо, очень не хотел возвращаться в сон, где ему опять предстояли ужасно неприятные встречи. И, не ожидая от сна ничего хорошего, уходил в него с мрачным и напряженным лицом.

Несмотря на все странности в поведении отца, я думал, что еще несколько дней он отдохнет и пойдет на работу. И у нас снова появится легковой автомобиль с веселым шофером, и будет куплен велосипед, и меня будут катать на раме.

Но что-то складывалось не так.

По утрам отец куда-то регулярно уходил, но это была не работа. Возвращался он не поздно, как в прошлые времена, а чаще всего в середине дня.

Был озабочен, шептался о чем-то с матерью и поглядывал на меня, видимо, пытаясь понять, догадываюсь я, о чем речь, или нет.

Я, разумеется, не догадывался, но какое-то неблагоприятное чувствовал. Только много лет спустя узнал, что отец совершил поступок, который мог стоить ему головы.

Он вернулся в Ходжент (давно ставший Ленинабадом), полностью оправданный „за отсутствием состава преступления“. Оказалось, что высказывание, за которое его собирались расстрелять, а потом дали всего лишь пять лет, было плодом политической незрелости, но не преступного умысла. Его готовы были простить и дальше, и вызвали в обком, где мягко поговорили, посетовали, что вот и у нас бывают иногда, очень редко, такие досадные недоразумения, выразили сочувствие, что ему пришлось так много и почти ни за что пережить.

— Ну что ж, — сказал секретарь обкома (хороший мужик), — что было, то было, а теперь пора тебе, Николай, возвращаться к нормальной жизни. Пиши заявление о восстановлении в партии.

И тут, насколько мне известно, мой отец, вскинув голову, посмотрел на собеседника как бы сбоку и свысока (он всегда так делал, когда собирался резануть в глаза правду-матку) и сказал: „В вашу партию — никогда в жизни!“

Так прямо и сказал: в вашу партию. Тут все дело в местоимении. По тогдашним правилам нельзя было говорить „ваша партия“. Партия всегда наша. В нее можно не вступать. Можно сказать: не дорос, не достоин, недостаточно политически образован, имею слабость к женскому полу, приклады-

ваюсь к бутылке, ну, даже в Бога, допустим, поверил. Но сказать про нашу партию „ваша“...

Когда моя мать услышала про это гордое „никогда в жизни“, она поняла, что дело серьезно и из вдовы соломенной она может превратиться во вдову настоящую. Она кинулась к отцу на шею, стала упрашивать, чтобы он немедленно вернулся в обком, сказал, что погорячился, ошибся, готов взять свои слова обратно. Но поскольку брать свои слова обратно отец не собирался, у родителей возник иной план.

У меня опять в памяти смутно брезжат ночные отца с матерью разговоры шепотом, смысла которых я, может быть, не понимал, но чувствовал, что дело неладно.

— Ну что, Вова, — сказал мне как-то утром отец бодрым голосом и с улыбкой, которая слабо гармонировала с общим напряжением лица, — ты любишь путешествовать?

Я не знал, что значит путешествовать, он мне объяснил. Путешествовать — это значит шествовать по пути или, точнее, ехать на чем-нибудь, например, на поезде, очень долго и далеко. Я уже ездил однажды на поезде из Сталинабада в Ленинабад, а теперь мы поедем гораздо дальше. Поедем втроем. Он, я, и еще возьмем с собой бабушку. Бабушку мы отвезем в Вологду к ее сыну и моему дяде Володе. А сами поедем к другой бабушке на Украину.

— А мама поедет? — спросил я.

— Нет, мама пока останется здесь. Она ведь учится в институте. Она доучится и тоже приедет к нам в Запорожье. Запорожье — это очень боль-

шой город на Украине. Ты таких больших городов еще не видел. Там и живет твоя другая бабушка. Ты не помнишь ее?

Нет, я ее не помнил. И даже не знал, что у человека бывает по две бабушки или по два дедушки. Мне казалось, что бабушек и дедушек должно быть, как пап и мам, только по одному. А больше даже и не нужно. Теперь же получался какой-то странный, но интересный обмен. Одну бабушку мы сдадим, а другую получим. Отец говорит, что эту другую бабушку я видел, но очень давно. Мне тогда было десять месяцев. (Как раз тогда, когда меня, привезенного на смотрины, чуть не съели.) А теперь мне восемь лет с лишним. Я большой мальчик, я почти окончил первый класс. Еще несколько дней, и мне дадут справку, что я его окончил. И мне почему-то это важно. Мне очень хочется иметь эту справку. Но мне ее не дадут. Потому что мы (это я, конечно, узнал потом) уезжаем, стараясь привлекать к себе поменьше внимания. Так что справку за первый класс я так и не получил. А жаль. Потому что этот класс был первым и единственным в нормальной школе, где я учился от начала и почти до самого конца.

Коммунизм уже недалеко

После работы В.В. быстро прибежал в вагон, кое-как умылся. Штаны, прежде чем надеть, поднес к окошку. До дыр еще не протерлись. Хотя уже светятся. Можно, надев на голову, использовать как паранджу. Конечно, в них надо поменьше сидеть, а сидя, не ерзать. Если не умеешь не ерзать,

то лучше вообще проводить жизнь в лежащем положении или в стоячем. Марк Твен писал лежа. А Гоголь стоя. Оба на штанах сэкономили. Но жизнь хотя и учила В.В. кое-чему, и вполне сурово, а экономно носить одежду все же не научила. То же и с обувью. Бабушка наставляла — ходя, наступать всей подошвой одновременно и не шаркать по-стариковски. Но В.В. даже такой нехитрой науки освоить не может, шаркает, да еще с вывертом. Так что правый каблук сбивается с правой стороны, а левый — с левой. Что свидетельствует о некоторой косолапости ходящего, хотя он сам такой особенности в своей походке не замечает. Со штанами-то еще так-сяк, они выходные, он их только вне работы носит. А ботинки — всегда. Впрочем, ботинки сбиты, но тоже еще не дырявые и даже не промокают. И бобочка наша двухцветная пока держится.

У трех вокзалов В.В. нашел Центральный Дом работников транспорта — ДРТ. Здесь и находится то, что он искал, — литературное объединение „Семафор“. В просторном помещении перед закрытой дверью уже собрался некий народ, похожий на учеников вечерней школы. Самого разного возраста. Среди кудрявых горластых юношей, подававших (как В.В. выяснил вскоре) кое-какие надежды, бродили безнадежно устаревшие унылые неудачники с тяжелыми портфелями, набитыми слежалыми рукописями. Рукописи копились годами и держались всегда при себе в надежде, что удастся не то чтобы напечатать, нет, но хотя бы всучить кому-нибудь почитать. Хозяева портфелей испытывали противоречивые чувства, вызываемые тем, что по возрасту им бы быть наставниками этой вот кудрявоголовой проказливой молодежи, но по достижении

ям в избранном деле они безнадежно от молодых отставали, и бесполезно перед ними заискивали. Впрочем, кроме кудрявоголовых гениев и туповатых глухих стариков, попадались экземпляры промежуточного вида, рода и пола. Немолодое существо с женской фигурой и отнюдь не женственными усами читало басни, написанные от лица каких-то животных, и от имени слона говорило басом, а от имени кобры гнусавило и шипело.

Нервического вида молодой человек вещал, окруженный поклонниками:

— Поэт должен приносить людям радость. Я видел домохозяек, которые плакали над моими стихами.

— Саша, почитайте что-нибудь, — сказала одна из поклонниц, желавшая, должно быть, тоже поплакать.

Саша долго упрашивать себя не заставил и тут же начал читать поэму, которая начиналась, как запомнил В.В., приблизительно так:

Авдотья Игнатьевна Фоккина
Живет в коммунальной квартире
И занимает комнату
Квадратных метра четыре.
И все-то ее имущество:
Кровать, табурет, буфет.
И вся ее живность — кошка,
Которой в обед сто лет.

Как понял В.В. из продолжения поэмы, Авдотья Игнатьевна, будучи внешне непримечательной, имела героическую биографию, на фронте была санитаркой и многих раненых вынесла с поля боя. За одного вынесенного вышла замуж, а он после войны спился. Поэма на этом не кончалась, но В.В.

хотел послушать кого-то еще. Он покинул группу поклонников Саши и тут же попал в группу, где гений в вязаной кофте со штопаными локтями читал тексты, называя их стихозами. Один стихоз был такой:

Где-то шло кое-что,
Не пмеющее названия.
Куда шло — неизвестно.
Зачем — неведомо,
Но все-таки шло.
А был ли в том смысл?
Не было.
А в чем он есть?

— Ни в чем, — сказал рыжий толстяк в тяжелых очках.

— В том-то и дело, — согласился гений. После чего, сам себя высоко оценив, сказал, что его стихозы являют собой последнее слово в литературе. И по просьбе слушателей прочел следующий стихоз, на этот раз в рифму:

Зуб болит. Мне это неприятно.
Часть меня болит, и я воплю.
Ваши зубы пусть хоть все болят, но
Мой болит, и, значит, я болю.
 Попрошу дантиста, чтоб помог мне.
Пусть он зуб мне этот удалит,
Пусть его отправит на помойку
Без меня пусть там он сам болит.

— Гениально! — сказал рыжий. — Это напоминает мне раннего Маяковского.

— Чушь! — возразил другой, тоже очкарик. — Чистый Хлебников...

Тут вмешался в дело пожилой неудачник, из тех, кого называют чайниками:

— А я все-таки не понимаю, для чего это? О чем это стихотворение говорит, чему оно нас учит?

— А чего ж тут не понимать, — отозвался другой чайник с потертым портфелем. — По-моему, все ясно. Стихотворение говорит нам о том, что больной зуб надо немедленно удалять и выкидывать. Как всякие чуждые нам элементы: тунейдцев, воров, стилиг. Правильно я говорю? — спросил он у автора.

— Нет, — устало сказал автор. — Неправильно. В моих стихах нет никакого второго смысла. А первого, впрочем, тоже. Они принципиально бессмысленны.

Тут по залу прошел шум, на разные голоса зазвучало имя: Зиновий Матвеевич, Зиновий Матвеевич, и В.В. увидел нового персонажа. Небольшого роста, полноватый, лысый, быстрый в движениях человек лет сорока, в потертом ратиновом пальто с большим чернильным пятном на локте, в малиновом кашне и с раздутым портфелем под мышкой стремительно пересекал пространство, сопровождаемый свитой из поэтической молодежи. Из всех углов к нему сразу кинулись разные люди, он, ни на секунду не замедлив движения, торопливыми кивками и краткими репликами отвечал на почтительные приветствия ожидающих. Это был художественный руководитель литературного объединения „Семафор“ Зиновий Матвеевич Мыркин.

Мыркин открыл одну из дверей своим ключом, вошел внутрь, а за ним и остальные ввалились в просторное помещение, вроде школьного класса, где были и учительский стол, и черная доска, но парт не было, а только ряды стульев.

Зиновий Матвеевич артистическим движением метнул портфель на стол, тот плюхнулся, поехал, но у самого края остановился. Люди подступили к пришедшему с разнообразными просьбами. Он, раскручивая кашне, кому-то что-то рассеянно отвечал, тут протолкался к нему и В.В. Когда внимание Мыркина остановилось, наконец, и на нем, В.В. быстро сказал ему, что хотел бы записаться в литобъединение „Семафор“.

— Записаться? — удивился Мыркин, как будто В.В. просил его достать луну с неба. — А почему записаться? С какой целью? Что вы собираетесь у нас делать?

— Я пишу стихи, — сказал В.В., оробев.

— Пишете стихи? — переспросил лысый так, как будто В.В. сказал ему что-то смешное. — Неужели пишете стихи? Как это оригинально! Он пишет стихи, — сообщил он окружающим его молодым людям, и молодые люди тут же весьма саркастически по отношению к В.В. и угодливо по отношению к Зиновию Матвеевичу захихикали. — Итак, — это опять к В.В., — вы пишете стихи, и что?

— И хотел бы записаться, — тихо повторил В.В., понимая, что его желание по каким-то непонятным ему причинам выглядит неуместным.

— Ну, хорошо, — сказал Мыркин и погладил лысину. — То, что вы пишете стихи, это хорошо. Но у нас все пишут стихи, у нас настолько все пишут стихи, что я даже не знаю людей, которые стихов не пишут. Но для тех, которые пишут стихи, у нас мест больше нет. Есть места для прозаиков, драматургов, даже для критиков, а для пишущих

стихи нет. Конечно, если бы вы имели какое-нибудь отношение к железной дороге...

В.В. сказал, что он имеет отношение к железной дороге.

— Какое? — насмешливо спросил Зиновий Матвеевич. — Ездите на поезде? Встречаете на вокзале родственников? Провожаете?

— Нет, — сказал В.В. — Я работаю путевым рабочим на станции Панки.

— Путевым рабочим? — Зиновий Матвеевич переспросил это с недоверием, переходящим в такое почтение, как будто услышал от новичка сообщение о его действительном членстве в академии наук. Да и золотая молодежь вокруг рассеянно как-то притихла. — Вы без шуток путевой рабочий? Так вы бы с этого и начали. Если вы работаете на железной дороге, тогда конечно. Тогда вы нам очень нужны для статистики. Оставайтесь. Сегодня я с вами поговорить не смогу, а завтра приходите в „Литературную газету“. Я там временно заменяю Котова. Приходите, приносите ваши стихи, читаем, подумаем, поговорим. Друзья мои, — обратился он уже ко всем. — Прежде чем мы начнем сегодня работать, сообщаю вам о наших успехах. У Саши Григоряна в многотиражной газете завода „Серп и молот“ опубликованы два стихотворения. У Эльвиры Уваровой в газете „Труд“ подборка из четырех стихотворений с предисловием Антокольского. Виктор Корвич читал свою поэму по радио по первой программе. Кроме того, стихи шести семафорцев отобраны для выходящего „Дня поэзии“. Ну, а теперь за работу. Кто у нас сегодня читает? Анна Чернова. Аня, вы здесь?

— Здесь!

К столу вышла маленькая, темноволосая девушка в очках с диоптриями не меньше, чем минус восемь. За стеклами в узких зрачках решимость и мужество. Все затихли, и В.В. показалось, что сейчас будет совершен очень серьезный, даже, может быть, опасный в чем-то поступок. Анна говорила негромко, сдерживая волнение, делая паузу, чтоб отдышаться.

— Вчера я была на станции Москва-Сортировочная. В бригаде, где рабочие взяли на себя обязательство жить и трудиться по-коммунистически. Не когда-нибудь в отдаленном будущем, не послезавтра, а прямо сегодня, сейчас. Вы понимаете, самые обыкновенные на вид люди, а поставили перед собой такую задачу. Я поняла, что не могу не откликнуться на то, что увидела. Стихи сложились сами собой. Придя домой, я их записала.

Сначала В.В. подумал, что поэтесса шутит. Он сам работал в таких бригадах, которые брали на себя обязательства работать сверх меры, они все брали на себя обязательства, и все, кто эти обязательства брал, давал, складывал в ящик и выкидывал на свалку, знали, что это чушь. Но Анна говорила серьезно, и все собравшиеся серьезно приготовились слушать. Приготовился и В.В.

Анна осмотрела зал и стала читать вполголоса, с домашней интонацией:

Вы еще не жили в коммунизме?
Ну, так в чем же дело? Поживите.
Он теперь совсем не за горамп,
До него трамвай вас довезет.
Да, трамвай, не временн машина,
Не ракета и не Спвкка-бурка,
А простой обшарпанный трамвай...

Голос поэтессы глух и чуть-чуть дрожит. Она смотрит при этом куда-то в дальний угол комнаты, а может быть, еще дальше. Может быть, ее взгляд проникает сквозь эти стены, сквозь толщу пространства и видит зримые черты того, что она описывает. Голос дрожит так, как если бы она сознавала, что это ее последнее стихотворение, что, как только она дочитает до точки, сюда войдут товарищи в кожаных тужурках, выведут ее за дверь и расстреляют тут же на железнодорожных путях.

Но пока этого не случилось, она исполнит свой долг, она расскажет. Она расскажет всю правду. Она расскажет всю правду про людей, которые склонились у станков и раздувают кузнечные меха. Лица у них черны от копоти, руки у них черны от въевшегося в поры мазута, но души у них чисты. Они не дожидаются, когда коммунизм будет построен везде, они его уже построили здесь, они в нем живут и вас готовы в нем поселить, если вы хотите. Но для этого надо уже сейчас:

Так работать, словно в коммунизме,
Жить, любить, мечтать, как в коммунизме...

Жить, любить, мечтать, как в коммунизме, В.В. был не прочь. Но работать... Он сюда явился после работы на путях, где восемь часов „грохотал“ гравий. То есть набирал гравий на вилы, встряхивал его и сыпал между шпалами. От такой работы потом несколько часов болит спина, а пальцы рук не слушаются и не могут удержать ложку. Неужели в коммунизме надо работать еще больше?

Анна дочитала стихи до конца и немного постояла еще у стола, ожидая, видимо, тех товарищей в кожанках. Но поскольку никто не явился, она с со-

знанием исполненного долга отошла и села на свое место.

Молчание. Все сидят тихо. Обдумывают услышанное, видимо, устыдившись, что мало работают и любят, может быть, тоже любят, но не по-коммунистически, а как придется.

Зиновий Матвеевич оглядел аудиторию:

— Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать?

— Можно я?

Протирая на ходу очки, к столу вышел человек, похожий на Добролюбова, и начал неспешно, как бы с трудом подбирая слова:

— Прошу простить, если моя речь будет не очень гладкой. Мы только что слышали стихи, после которых хочется не говорить, а молчать и думать. То, что мы сейчас слышали, это больше, чем стихи. Это... даже не знаю, как выразиться... Откровенно говоря, я не отношусь к числу очень внимательных читателей газет... То есть я, разумеется, тоже читал о создании подобных бригад, но мне никогда такое событие, при всем политическом значении, ни казалось достойным поэтического отклика. И нужен был взгляд человека, который не только сам умеет в малом увидеть великое, но и наш взгляд повернуть в ту же сторону. В самом деле, ну что произошло? Рабочие собрались, взяли на себя обязательство перевыполнять планы и вообще работать лучше, чем раньше. Как бы на это откликнулись наши присяжные стихоплеты? Ну, сочинили бы бездушные и казенные вирши с дежурными рифмами, вроде призма-коммунизма, дали-стали и так далее в стиле барабанного боя. А тут до предела простой, открытый, доверитель-

ный, я бы даже сказал, исповедальный разговор с читателем. Разговор тет-а-тет. Без набивших оскомину казенных сентенций. Простыми и удивительно точно выбранными словами. И, по-моему, хорошо, что стихи без рифмы. Возникает эффект максимальной доверительности. И совершенно точно выбранный ритм и тон. Вы только вслушайтесь: „Вы еще не жили в коммунизме?“ Патетический напряженный вопрос. И тут же спад в бытовую разговорную интонацию: „Ну, так в чем же дело? Поживите...“ И сразу после этого: „Он теперь совсем не за горами, до него трамвай вас довезет...“ Та же интонация, но в нее вплетается ритм идущего по рельсам трамвая. Это, я позволю себе выразиться красиво, ритм жизни и ритм правды. По-моему, Аня, это твоя большая поэтическая удача, и я тебя от всей души поздравляю.

Не успел он сесть на место, как к столу, не спрашивая разрешения, выскочил следующий оратор — крупный, кудрявый.

— Сеня, только не очень длинно, — предупредил его Мыркин.

— Два слова, — пообещал Сеня и начал говорить быстро и энергично: — Трамвай, о котором пишет Аня, это тот самый трамвай, на котором я каждый день езжу на работу. Он обычно страшно гремит. Он обшарпанный. Пассажиров, как сельдей в бочке. Я всегда наступаю кому-то на ноги и мне наступают. И я вижу перед собой только озабоченные, иногда даже злые лица. Для того чтобы я посмотрел на этих людей другими глазами, мне понадобилось слово, сказанное поэтессой.

— Не поэтессой, а поэтом, — поправили его с места.

— Прошу прощения, — согласился Сеня. — Конечно, поэтом. Я сам ненавижу это жеманное слово „поэтесса“. Так вот поэт увидела то, что мы, погруженные в наши будничные заботы, не замечаем... Поэт заметила, что этот обшарпанный трамвай идет не из пункта А в пункт Б, а из нашего прозаического быта прямо в коммунизм. Какое смелое столкновение образов обыденного и необычайного!.. Я сейчас не припомню ничего похожего в современной поэзии. Здесь слышится что-то балладное, может быть, идущее от Жуковского, а может быть, тут даже стоит поискать музыкальные аналогии, в звучании этого стиха есть что-то скрябинское, что-то напоминающее начальные аккорды „Поэмы экстаза“...

— Чепуха! — вскочил похожий на Добролюбова. — Причем тут музыка? Причем тут Скрябин? Если уж сравнивать, то с живописью. Здесь уместно вспомнить Пластова или Дейнеку.

Тут в спор вступили другие семафорцы и стали приводить еще всякие аналогии, наизусть цитируя каких-то неизвестных В.В. поэтов, потом почему-то ударились в теорию стихосложения, и зазвучали слова „хорей“, „анapest“, „амфибрахий“, „верлибр“, „лирический герой“, „консонансная рифма“, „имажинизм“ и „интровертированность“ — для всех выступавших эти слова и их значения не были секретом.

„Боже, Боже, — покидая „Семафор“, сокрушался В.В. — Куда ж это я суюсь? Как я могу соревноваться со столь образованными людьми! Которые знают, кажется, все“.

Только вера их общая в коммунизм как-то его смущала.

P.S. А что касается гениев, то за время своей продолжительной жизни В.В. встретил их так много, что, выстроенные в шеренгу, они могли бы опечалить весь шар земной. Гении в основном встречались двух видов: произведшие в этот ранг сами себя или возведенные в него щедрой молвой, чаще всего без всякой на то причины, без хотя бы проверки энцефалограммы возводимого или измерения его черепа по методу дедушки Ломброзо.

Элиза Барская. Черные дыры над Коктебелем

Одно время мы с Люськой наладились чуть ли не каждое лето ездить в Коктебель, где я обычно снимала комнату у одной и той же сумасшедшей старухи возле местного рынка. Мы тогда еще были молоды и, по нашей собственной оценке, весьма недурны собой. Может быть, оценка была не слишком завышена, потому что в то время нас повсюду сопровождали стада загорелых, натальных и алчущих молодых людей хороших фамилий. Папы их были известными писателями, академиками и даже членами ЦК, что давало возможность отпрыскам обтягивать свои зады „штатными“ джинсами или фирменными плавками, умело подчеркивавшими конфигурацию того, что под ними скрывалось. Эти, как их называла Люська, сперматозавры выражали свои желания прямо, открыто, некоторые без понятия, что существует в природе чувство смущения. Один придурок через пять минут после первого знакомства не только

предложил мне лечь с ним в постель, но сразу изложил всю программу: „Я тебя вы...* в попку и поцелую в пипку“. За что, само собой, послан был далеко. Можно ли себе представить, чтобы кто-нибудь предложил нечто подобное девушке из хорошей семьи лет сто назад? Конечно, не все сперматозавры выражались подобным образом, но сказать „У меня на тебя стоит“ или „Пойдем, старуха, перепихнемся“ — это было в порядке вещей, хотя среди них попадалось немало и неврастеников, которые сказать могли что угодно, но в деле показать себя не умели.

Егор от них от всех отличался скромностью, угловатостью манер, но главное тем, что был не чьим-то сынком, а сам в двадцать восемь лет сделал в астрономии какое-то крупное открытие, связанное с черными дырами, про которые я так ничего и не поняла, хотя имела достаточно возможностей.

Я даже не могу вспомнить, при каких обстоятельствах мы познакомились и как ему удалось отбить меня от остальной компании, но так или иначе мы проводили много времени вдвоем. Мы уходили куда-нибудь подальше от всех, лежали на горячем песке, и он мне рассказывал о черных дырах, пульсарах, квазарах и о чем-то подобном и рассказывал так, что я, как ни странно, ничего не понимая, слушала, раскрыв рот, но тут же, впрочем, все забывала, потому что моя голова — это сплошные черные дыры.

Большая часть моего успеха у мужчин объясняется(ялась) моим умением слушать, поддаки-

*См. примечание на стр. 148.

вать и выражать восхищение их умом и успехами. Люська надо мной всегда подтрунивала, говоря, что я покоряю мужиков двумя словами в восторженной форме: „Да?“ и „Неужели?“. Может быть, она права, но я всегда это делала без малейшего умысла; выражая восхищение мужчине, я действительно им восхищалась, может быть, не тем, что он рассказывал, а всем им самим.

Люська, которая внимательно следила за развитием моих с Егором отношений, при всяком удобном случае спрашивала, не перешел ли тот к более земным темам, а если нет, то не кажется ли мне, что мне опять попался импоплетянин (ее собственный неологизм), но я-то видела, что здесь совсем другой случай.

Чем дальше развивались мои отношения с Егором, тем чаще я замечала, что, просвещая меня по астрономической части, он вдруг теряет нить рассказа и произвольно устремляется взглядом не к звездам, а гораздо ниже, к нижней части моего живота, плотно закрытой темным купальником. Было похоже, что наши встречи все больше волновали его и доставляли определенные физические мучения, в результате которых он, возвращаясь с пляжа, расставлял ноги шире обычного.

— П...страдатель*, — сказала Люська, и от нее я впервые узнала, что этим словом обозначается застенчивый молодой человек, который очень хочет, но не набирается смелости попросить.

*См. примечание на стр. 238.

В конце концов я по совету Люськи проявила инициативу и пригласила Егора к себе. У меня мы пили сухое вино, и он продолжал мне рассказывать что-то о возможностях строительства гигантской орбитальной обсерватории.

Вечерело. Солнце ушло за Карадаг и, как это бывает только на юге, сразу стемнело. Я намеренно не зажигала огня, а Егор, чем темнее, тем более волновался, от обсерватории перешел к теме поисков внеземных цивилизаций, но вдруг закнулся, встал, обогнул стол и спросил жарким шепотом:

— Знаешь что?

— Что? — спросила я нарочито бесцветным тоном.

— А вот что! — сказал он и, схвативши меня как зверь, поволок к кровати, разрывая на мне одежду, которой, правду сказать, было немного.

Кое-как отразив нападение, я затолкала его в конец кровати, а сама уползла в другой.

В темноте я слышала, как он сопит смущенно, сердито и разочарованно.

Дав ему отдышаться, я спросила, в какой деревне его обучали столь изысканным манерам, и услышала любопытную теорию, что женищины, будучи существами от природы неискренними, никогда просто не отдаются, а всегда делают вид, что уступают насилию. Он меня этим высказыванием порядочно насмешил, я сказала, что не знаю, как насчет его односельчанок, а женищины моего круга, если отдаются, то добровольно — по любви или влечению, и труссы рвать

незачем, тем более — трусы заграничные, купленные у спекулянтки и за немалые деньги. Затем я велела ему закрыть дверь на ключ и раздеться, потому что ненавижу мужиков, которые норовят справить свое дело, лишь приспустив штаны, а то и вовсе через ширинку.

Во дворе доминошники включили свет, он проникал и в комнату, я, сама уже раздевшись, следила за Егором, как он в панике рвал заевшую молнию, торопился, обуреваемый нетерпением, ужасом перед предстоящим и неверием, что оно возможно.

Я догадывалась, что он не очень опытен, но все же не думала, что он не знал этого никогда, и испугалась, уж не пошлый ли извращенец, когда он, оседлав меня, с тупым упорством пытался проткнуть мне живот чуть ниже пупка. Недоумевая, я напряглась, но тут же все поняла, и его страсть немедленно передалась и мне. Это наступило мгновенно, и я тут же потеряла рассудок. Я стала торопливо ему помогать, и в это время из него брызнуло, как из брандспойта...

Хотите верьте, хотите нет, но я не люблю порнографии, детального описания половых актов, органов и занимаемых положений. И если описываю этот случай, то только потому, что он кажется мне незаурядным. Во всяком случае в моей скромной практике ничего подобного ни до, ни после не встречалось.

...Когда это случилось, мне показалось, что меня ошпарили кипятком. Или дали очередь из

пулемета. Тугая пульсирующая струя прострочила мне весь живот, заляпала грудь и достала до подбородка. Источник извержения бился в моих руках, как рыба. Я инстинктивно отвела его в сторону, и струя ударила в стену, обдавая меня рикошетом. И даже когда я наконец справилась с положением, источник этого фонтана, этого гейзера, все еще трепетал, пульсировал, содрогался, извергая накопленное за всю жизнь и дырявя меня насквозь. В этот момент я завывала волчицей, оплела его руками и ногами, желая втянуть его всего в себя, внутрь, и лопнула и низверглась куда-то в бездну.

Он поник на мне и затих, я — тоже, и мне показалось, что я умерла.

Я очнулась оттого, что он целовал мои глаза и бормотал какие-то невнятные извинения за то, что „так получилось“.

— Как так? — спросила я.

— Ну так, — сказал он.

Я стала допытываться и потратила много усилий, прежде чем осознала: он не понял, что кончил, и думал, что обмочился.

Я не стала над ним смеяться и спросила, неужели у него за его двадцать восемь лет не было ни одной женщины.

— Я слишком много учился, — сказал он смущенно.

— Но тебе же хотелось?

— Хотелось, но я думал, что это стыдно, и скрывал.

— Хорошо, — сказала я, — но обычно мальчи-

ки, которые стесняются, умеют помогать себе сами.

Оказалось, он не знал и этого, и единственный знакомый ему вид половой жизни был — ночные поллюции, но „это совсем другое“.

Ни на второй, ни на третий, ни на четвертый день никто нас не видел на пляже. Мы не покидали нашей квартиры, и он не слезал с меня, потеряв всякий стыд сразу, как будто сбросил его вместе с одеждой. Мы спалились днем и ночью, на кровати, на полу, на подоконнике, под столом, во всех возможных позициях, ничего не ели, но пили много воды. У меня уже все болело, я изнемогала, я бегала от него, прикрываясь руками, он ловил меня, загнав куда-нибудь в угол, валил, разводил в стороны руки и вламывался, как бандит.

У меня бурлило в животе, мой несчастный орган пылал как вулкан и выворачивался наизнанку, извергая из себя пену, клокоча, тлющая, производя другие ужасно неприличные звуки.

Стояла неимоверная жара, комната к вечеру накалялась, мы плавали в поту и во всем, что из нас изливалось, простыня была в безобразных разводах, которые, подсыхая, громко хрустели.

Иногда, совсем обезумев, я кричала ему: „Негодяй! Дай мне хотя бы пописать!“ — и убегала в наш совмещенный санузел. Он настигал меня там и поторапливал, нетерпеливо тычась во все, что ему представлялось для этого подходящим (а подходящим ему казалось для этого все).

Безумие это продолжалось недели полторы, и за это время он ни разу не вспомнил ни про ква-

зары, ни про пульсары. Как-то утром он, совершенно изможденный, спал, а я пошла в ванную и, глянув в зеркало, ахнула.

Боже! Худая, облезлая, губы опухли, сиськи висят, живот впал, волосы на лобке всклокочены, но самое ужасное, на моих ногах, до того стройных и лишь слегка покрытых золотистым пушком, появились черные волосы, и два отвратительных закрученных волоска я нашла и с ненавистью выдрала между грудями.

Вернувшись в комнату, я надела сарафан — висит, как на вешалке. Еще раз глянула на ноги — ужас.

Он открыл глаза и смотрел на меня, не узнавая, — забыл, должно быть, как я выгляжу одетая.

— Вставай! — сказала я ему решительно. — Вставай и пойдем.

— Куда?

— В ресторан.

Он поискал на стуле часы, но не нашел.

— Завтракать или ужинать?

— И обедать тоже.

На улице меня буквально качало, как после долгого путешествия по морю. Не дойдя до рынка, встретили Люську, она тащила черешню в газетном кульке.

— Милые, да куда же вы подевались? — залопотала она. — А я думала, вы умотали в Москву или утонули. Господи, Лизка, да он же тебя совсем зае...!*

*См. примечание на стр. 239.

— Дура, похабница! — сказала я. — Что ты вопишь на всю улицу!

Егор бесстыдно смотрел то на Люську, то на меня и ухмылялся самодовольно.

Писатель Мыркин приехал

Зиновий Матвеевич Мыркин сказал В.В., что он его обязательно примет, но не здесь, не в ДРТ, а в „Литературной газете“, там он заменяет Котова. Кто такой Котов, В.В. не знал, но речь, без сомнения, шла о человеке значительном. Потому что было сказано просто „Котов“, без прибавления звания или должности, значит, ясно, что речь идет о Котове, которого знают все. Все, кроме В.В., который о Котове ничего отродясь не слышал.

Точно в назначенное время у входа в „Литературную газету“ В.В. был остановлен вахтером, который выпросил, кто он и куда идет. В.В. объяснил, что идет к Мыркину, который временно заменяет Котова.

— Ах, Котова! — Вахтер заглянул в какой-то список и — пропустил.

В лифте В.В. поднимался вместе с полной женщиной, державшей на растопыренных руках ворох бумаг, сверху прижимая их подбородком. Она доехала до четвертого этажа, локтем или животом как-то открыла лифт, вышла, затем железную дверь толкнула назад ногой. Он сомкнул внутренние деревянные дверцы, нажал на кнопку шестого этажа. По дороге быстро вытащил из-за пазухи общую тетрадь. На шестом этаже растворил деревянные дверцы, а перед железной дверью заду-

мался, не зная, как поступить. Ручки нет, есть загогулина, вероятно, для открытия двери, ну а вдруг это не то? Вдруг он на это нажмет, и лифт вместе с ним рухнет?

Почему же он не посмотрел, как поступила та женщина?

Мимо зацокала каблуками еще одна.

— Извините, я не москвич, я первый раз в жизни еду в лифте. Я не знаю, как выйти.

Она посмотрела на него с большим любопытством. Возможно, впервые видела столь дикого человека. Она улыбнулась и показала, что делать.

Дверь с табличкой „В.Ф.Котов“ он нашел без труда. Постучался. Дверь распахнулась, и в проеме с телефонной трубкой в руках появился Зиновий Матвеевич в рубашке со сдвинутым набок галстуком (пиджак на спинке стула), чем-то воодушевленный и озабоченный.

— Ах, это вы! Заходите. Садитесь, я договорю по телефону.

В.В. скромно опустился на стул, приставленный к стене. Положил на колени тетрадь. Огляделся. Кабинет небольшой. Такому известному человеку, каким был, очевидно, Котов, могли бы выделить что-нибудь посолидней. Стены белые с желтизной, слева от окна портрет Маяковского. Стол покрыт грудой бумаг, наваленных на него в виде стога. На вершине стога лежит портфель — один из двух замков оторван, ручка подвязана шпагатом.

Мыркин говорил стоя, прислонившись к стене.

— Так вот, я вам сказал, — кричал он, одной

рукой держа трубку, другой поглаживая лысину, а глазами и сложным движением лицевых мускулов делая гостю непонятные знаки, — вы слишком злоупотребляете глагольными рифмами. Ими пользоваться можно, но очень умеренно. А вы пишете „волновал-рисовал-пахал-обскакал“. Кстати к „обскакал“ есть прекраснейшая рифма „аксакал“. Дарю вам бесплатно и на этом привет, у меня посетитель.

Положил трубку, обратил свой взор на В.В.

— Все, я освободился, читайте.

— Что читать? — опешил В.В.

— Читайте то, что вы пишете, — строго сказал Мыркин. — Если стихи, то читайте стихи.

— Прямо сразу? — заколебался В.В.

— Почему же не сразу?

В.В. засуетился, стал торопливо листать тетрадь.

— Вы что же, наизусть не помните? — удивился Мыркин.

Он и вовсе сник.

— Почему же? Помню, но боюсь сбиться. — Стал торопливо листать тетрадь. „Матери“, „Отцу“... Боже, все это детский сад! А впрочем, это все-таки ничего. — „Море“! — громко сказал В.В.

— Что? — вздрогнул Мыркин.

— „Море“, — повторил В.В. и стал читать:

Остывает земля.

Тени темные стелятся медленно.

И вплзу корабль...

Зазвонил телефон.

— Извините! — Мыркин схватил трубку. — Алло! Слушаю! Рад вас приветствовать. — Прикрыв трубку ладонью, шепотом В.В.: — Читайте, читайте.

...И внизу корабли
опускают за борт якоря...

Мыркин в трубку:

— Ну, конечно, я вам говорю, это чистый Багрицкий. Помните, как у него: „Ах, вам не хочется ль под ручку пройтись? Мой милый, конечно, хочется, хочется...“ — Отводя трубку от губ, машет свободной рукой, делает В.В. рожи и шепчет:

— Ну что же вы не читаете? Читайте, не обращайтесь внимания.

В.В. в смущении и сомнении читает:

...И вверху самолет
тянет по небу нитку последнюю,
и, как угли в костре...

— И сразу же, — продолжает Мыркин в трубку, — возникает обстановка вокзала, и запах гари, и клубы пара, и вы ощущаете тяжелые усилияходящего поезда, а может быть, между нами говоря, совсем не для печати... Там около вас дам нет?.. Тяжелые усилия поезда и вакханалия совокупления. Вы чувствуете? „А по-езд от по-хоти сто-нет и злится: хочется, хочется, хочется, хочется...“ Кстати, эти стихи положены на музыку. Никогда не слышали? Извините, у меня слух не очень, но я попробую вам напеть... — В.В., шепотом: — Я вам говорю, не обращайтесь на меня внимания, читайте дальше.

В.В. читает:

...Далеко-далеко
тарахтит катерпешку измызанный...

Мыркин поет:

— „А поезд от похоти стонет и злится...“ Нет, композитора я не помню. Может быть, это братья Покрасс, а может быть, и Богословский. Я не знаю. Хорошо, ладно, привет, у меня посетитель. — Положил трубку, повернулся к В.В. — Неплохо. „Тихо падают вниз звезды первые белыми брызгами...“ Есть ненавязчивая аллитерация, и рифма „измызанный — брызгами“ не затаскана. Слишком литературно и кого-то напоминает, но для начала неплохо. Как это там? „Остывает земля, тени темные стелятся...“ Как? Медленно? Очень даже ничего.

В.В. был потрясен. Не столько оценкой, сколько необычайными способностями Зиновия Матвеевича. Он даже не представлял, что такое возможно. Читать, петь, слушать, запоминать и все это делать одновременно. Кто так умел? Юлий Цезарь? Наполеон? Кто-то из них. В.В. вдруг оробел. Если литературой занимаются люди с такими талантами, то куда же он-то суется? Правда, стихи его Мыркину вроде понравились. Но это он, может быть, просто так, из вежливости. Тем более, что В.В. железнодорожник.

— Что? — переспросил В.В.

— Я вас спрашиваю, кого вы знаете из современных поэтов? — повторил Мыркин.

Из современных он знал только двух:

— Твардовский, Симонов.

— А как относитесь к Луговскому? Что думаете

об Асееве? А „Строгая любовь“ Смелякова вам нравится?

Как из корзины, посыпались имена: Заболоцкий, Кирсанов, Казин, Кульчицкий, Недогонов, Наровчатов, Луконин, Слуцкий...

Боже! Наш стихотворец потел, ерзал и ежился. Да откуда же ему знать все эти имена, если он не представляет даже, кто такой Котов? Из десятка высыпанных имен он одно-два все-таки слышал, но стихов никаких не знал и Мыркиным тут же был, конечно, раскушен.

— Если хотите стать поэтом, вы должны всех названных мною авторов знать наизусть. Это минимум. Литературная работа требует колоссальных знаний. А ваш Твардовский, — сказал он с упреком, словно Твардовский был его, В.В., плохо воспитанным сыном, — вчера пьяный валялся в канаве.

Это сообщение В.В. воспринял как лестное. „Ваш Твардовский“. Он даже почувствовал себя ответственным за поведение Твардовского, защищая которого, пробормотал: мол, с кем не бывает.

— Ну, хорошо. — Мыркин взглянул на часы и схватился за портфель. Вместе с ним он стащил со стола часть бумаг, которые с шелестом растелились по полу. В.В. кинулся их подбирать, но был остановлен небрежным жестом:

— Бросьте, некогда. Вы что сегодня делаете? Хотите поехать на мое выступление?

В.В. не поверил своим ушам. Как? Неужели? Такой человек предлагает составить ему компанию.

— Вообще-то, я свободен, — сказал он, скрывая волнение.

— В таком случае поехали.

Мыркин нырнул в пиджак, зажал под мышкой портфель и ринулся к дверям. В.В., запихнувши тетрадь за пазуху, побежал за ним. С каждой секундой темп ускорялся. Конец коридора одолели бегом и запрыгали по лестнице вниз. Толстый и поживший на свете Мыркин нисколько не уступал в прыткости своему новому знакомцу, тощему и молодому.

В.В. был уверен, что внизу их ожидает машина с шофером. Только интересно, какая? „ЗИМ“ или „Победа“? Внизу машин было несколько, но ни один „ЗИМ“ и ни одна „Победа“ дверец своих не распахнули.

— Ловим такси! — скомандовал Мыркин, и оба, дергая руками, стали кидаться под колеса бегущих мимо автомобилей.

Наконец поймали „лёвака“, шофера чьей-то персональной „Победы“ шоколадного цвета.

В.В. юркнул на заднее сиденье, Мыркин устроился впереди, прижав портфель к животу.

— В Парк культуры! — уверенно бросил он.

Водитель, почуяв настоящего седока, торопливо рванул с места и, обходя других, вывел машину к осевой линии.

Доехали до Парка Горького, остановились перед воротами.

— Голубчик, — повернулся Мыркин к В.В., — если вам не трудно, подойдите там к кому-нибудь, скажите, пусть откроют ворота. Скажите, писатель Мыркин приехал.

Со всех ног кинулся наш герой оправдывать оказанное ему доверие. В поисках учреждения, управляющего воротами, налетел сначала на очередь в кассу, потом передвинулся к окошку администратора. Там тоже была очередь и немалая, но допустить, чтобы писатель Мыркин ждал слишком долго, В.В., понятно, не мог.

Растолкав очередь и кем-то оттаскиваемый за ворот, он ухитрился сунуть голову в окошко и закричал громко, чтобы слышали и администратор и те, кто его оттаскивал:

— Откройте ворота! Писатель Мыркин приехал!

Оттаскивавшие, оробев, устыдились, ослабли, но администраторшу высокое звание несколько не оглушило.

— Что еще за писатель? — закричала она. — Вот делать нечего, буду тут каждому ворота открывать. Он что, пешком не может дойти?

— Он не может, он писатель, — настаивал напрасно В.В.

— Ну и что, что писатель? Не инвалид же.

К машине В.В. возвращался, понурясь.

— Не открывают, — доложил он смущенно.

— Как не открывают? — сверкнул глазами Зиновий Матвеевич. — Вы сказали, что я писатель? Хорошо, подождите меня, я сейчас.

Вскочив из машины, он убежал.

— А что, — повернулся шофер к В.В., — он очень мастистый писатель?

Он так и сказал „мастистый“, и В.В., не зная этого слова, сразу сообразил, что оно происходит от слова „масть“. То есть высокой масти.

— Да, — сказал он. — Еще бы! Очень даже мастистый.

— А что он написал?

Спросил бы чего полегче!

— Надо знать! — ответил В.В. уклончиво.

— Вообще-то надо, — смутился шофер. — Только времени на книжки не остается.

Тем временем Мыркин вернулся и, заняв свое место, кинул устало:

— Поехали!

Ворота были распахнуты настежь.

Проехали метров приблизительно семьдесят.

— Стоп! — распорядился Мыркин и царственным жестом протянул водителю две десятки.

Они вышли из машины как раз там, где стоял щит с афишей, объявлявшей, что сегодня на открытой эстраде состоится тематический вечер.

„НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Выступают: член редколлегии журнала „Крокодил“ Егор Борисов и поэт Роман Женственный. Вечер ведет...”

О Борисове В.В. кое-что слышал и раньше. Какие-то стихи Женственного, написанные под Маяковского лесенкой, даже читал. Но их фамилии обозначены маленькими скромными буквами, а вот имя и фамилия ведущего, как и следовало ожидать, буквами раза в два крупнее.

Подкатилась дамочка с большими серьгами в ушах:

— Ах, Зиновий Матвеевич, слава Богу, приехали, я боялась, что опоздаете. Люди уже в сборе, через пять минут начинаем.

За кулисами вновь прибывших ожидали не-

взрачный Борисов и очень колоритный Женственный в сиреновой вязаной кофте с большими пуговицами. Он был очень крупного роста, и все детали его внешности были соразмерными росту. Большие черные глаза, крупный нос, выдающиеся скулы и губы. Такие пухлые губы, словно их целовали пчелы.

Мыркин поздоровался с ними за руку и представил своего спутника, назвавши имя и прибавив к нему: поэт.

Сердце В.В. сладостно замерло. Он, конечно, предполагал, он надеялся, он мечтал, что когда-нибудь его профессия будет обозначаться словом „поэт“, но никак не ожидал, что это случится так быстро и просто.

Женственный и Борисов оба слегка приподнялись для рукопожатия, как равные с равным.

— Вы тоже выступаете? — спросил Борисов.

— Я? Выступаю? — переспросил В.В. и посмотрел на Мыркина, ожидая, что тот сейчас засмеется и скажет: ну что вы, это же только начинающий автор, он еще пишет очень и очень слабо, о каких-то таких выступлениях еще нечего говорить. Но Мыркин сказал только:

— Нет, он сегодня не выступает, он просто пришел со мной.

Из чего В.В. заключил, что сегодня его не приглашают, но завтра это вполне может случиться.

— Голубчик, у меня к вам просьба, — обратился к нему Мыркин, — не считите за труд, пока я буду выступать, поддержать мой портфель. Только поддерживайте снизу, а то ручка, видите, дышит на ладан.

Потом В.В. сидел в первом ряду и, поглядывая на сидевшую рядом курносую блондинку, прижимал к животу потертый портфель с оторванным замком и подвязанной ручкой. Он поглядывал на блондинку, а блондинка не смотрела ни на него, ни на портфель, не представляя, кому он мог бы принадлежать. Что было, конечно, обидно. Потому что если бы она знала, если бы знала... А почему бы ей, собственно говоря, не спросить: уж не принадлежит ли этот портфель кому-нибудь из выступающих? А В.В. тогда бы обыкновенным будничным голосом сказал, что да, портфель принадлежит лично Зиновию Матвеевичу Мыркину, он обычно просит во время выступлений кого-нибудь из своих поддержать. Этим бы В.В. мог показать, что выступления Мыркина вообще без него не обходятся и что портфель свой Зиновий Матвеевич обычно доверяет только ему. Но блондинка смотрела на сцену, и как переключить ее внимание на себя, он не знал.

Не проходите мимо

Речь на вечере шла о человеческом достоинстве и гражданском мужестве. Публика призывалась не проходить мимо отдельных, редких, но все еще, к сожалению, бытующих в нашем обществе таких нетипичных пережитков прошлого и негативных явлений, как пьянство, хулиганство, нетоварищеское отношение к женщине. Хулиганство — это болезнь, с которой должна бороться не только милиция, но все общество. Егор Борисов прочел на эту тему фельетон, который должен был быть смеш-

ным, но никому таким не показался, хотя Борисов добросовестно жестикулировал и голосом управлял так, чтобы подчеркнуть наиболее достойные смеха или хотя бы улыбки места. Роман Женственный ознакомил публику с длинным стихотворением о наступающем над какой-то мелкой речушкой рассвете. Не успел он это прочесть, как вскочил гражданин в красном свитере и с очень бычно выющимися седыми волосами.

— У меня есть вопрос к товарищу Женственному, — сказал он голосом, похожим на ленинский в исполнении Бориса Щукина. Да и манеры у него были из того же кино. — А скажите, пожалуйста, — сказал он, выкидывая вперед руку, словно с броневика, — если вы говорите о речке, над которой наступает рассвет, то это не значит ли, что еще совсем недавно над этой речкой царила ночь?

Женственный почему-то заволновался, стал заикаться и шепелявить одновременно.

— Ну, естественно, над этой речкой, как и везде, имеет место смена времени суток. Там тоже бывают утро, день, вечер, ночь, рассвет...

— Это все понятно, понятно, — деловито перебил слушатель. — А ваше стихотворение носит прямой или аллегорический характер? А если аллегорический, то не хотите ли вы сказать, что ночь царила не только над речкой, не только над этим маленьким, безобидным и узким речным потоком, но и над гораздо более обширными географическими пространствами?

В публике прошел ропот. Все сразу поняли, что вопрос не столько литературного, сколько юридического характера и имеет отношение к еще не от-

мененной к тому времени статье 58 Уголовного кодекса — антисоветская пропаганда и агитация. Женственный потел и заикался. Он начал объяснять, что стихи — это вид искусства, которое нельзя понимать буквально. Слушатель резонно возразил, что он как раз не буквально и понимает. Тут Женственному на помощь пришел Борисов.

— А вам не кажется, — спросил он дотошного слушателя, — что ваши догадки — плод вашего собственного и странного воображения? Вы не могли бы мне сказать, кто вы?

— Я — советский человек, — сказал гордо кудрявый.

— Что значит — советский? Мы тут все не турецкие. Как ваша фамилия и чем вы занимаетесь в рабочее время?

— Это неважно. Я просто слушатель.

— В каком смысле просто? — настаивал на своем Борисов. — У каждого просто слушателя есть имя, фамилия, профессия, место работы, дирекция, местком, партком...

Пока он говорил, вопрошатель стал передвигаться к выходу, махнул рукой и скрылся за дверью.

Тут как раз и вышел вперед Зиновий Матвеевич Мыркин.

— Вот оно, лицо анонима, — произнес Мыркин, указывая на дверь, и теперь он был похож на Ленина, тем более что и внешность имел подходящую. — Вот он, мещанин, который мутит воду, призывает всех к ответственности, а сам чуть что уходит в тень. Именно о таких людях я и собирался сегодня говорить... Недавно в редакцию „Лите-

ратурной газеты“, где я временно замещаю Котова...

Тут В.В. быстро глянул на сидевшую рядом блондинку и попытался понять, не удивляет ли ее фамилия Котов, не нахмурила ли она брови в недоумении, мол, кто такой Котов, но она ничего не нахмурила и продолжала смотреть на сцену, как будто Котов был для нее такой же известной личностью, как Толстой или Чехов.

Между тем Мыркин продолжал свою речь: что в редакцию, где он заменяет Котова, пришло письмо без подписи и, разумеется, без обратного адреса. „Ваша газета, — писал аноним, — постоянно выступает за то, чтобы люди, сталкиваясь с проявлениями хулиганства, не проходили мимо, вмешивались и давали отпор, а не дожидались милиции. А что значит дать отпор? Вот хулиган толкнул девушку, вы хотите, чтобы я кинулся ей на помощь? А мне тот же хулиган воткнет нож в сердце. А я тоже человек. У меня есть семья, дети, и сам я тоже хочу жить...“

Сначала Мыркин читал, сидя за столом. Но потом распалился, вскочил, подбежал к краю сцены и, размахивая цитируемым письмом, стал выкрикивать что-то гневное. Об этих самых анонимах, лишенных гражданских чувств и ответственности за свою страну. Которые забились в своих углах и заботятся только о личном удобстве и своем мещанском благополучии.

— Писатель Бруно Ясенский однажды правильно написал: „Не бойтесь врагов, они вас могут только убить. Не бойтесь друзей, они вас могут только предать. Бойтесь равнодушных. С их мол-

чаливого согласия, — Мыркин поднял голос до самой высокой ноты и завертел письмом так, словно ввинчивал его в небо и сам с ним пытался ввинтиться, — совершаются предательства и убийства“. — Мыркин выдержал паузу и продолжил голосом тихим, усталым и разочарованным: — Эти замечательные слова, как ни к кому другому, относятся к этому вот, — поднял письмо и указал им в сторону двери, — анониму.

Заключительным пассажем он как бы идентифицировал мерзкого анонима и вычислил в нем того кудрявого в красном свитере, который несмотря на сходство с вождем трудящихся столь трусливо бежал, не открыв своего имени. Именно к нему относились слова Бруно Ясенского.

„И ко мне тоже, — честно подумал В.В. — Ко мне эти слова тоже и даже прямо относятся“.

Танцы по-гречески

В памяти возникло Запорожье, где протекала В.В. беспокойная юность. Иногда со своим другом Толиком Лебедем юноша В.В. ходил в местный парк на танцы. Сам он танцевать не умел, стеснялся, поэтому приходил и просто стоял, ожидал, пока натанцуется Толик.

Танцплощадка была круглая, бетонированная, окруженная оградой, сваренной из металлических прутьев и с деревянным, в виде раковины, сооружением для духового оркестра.

Оркестр играл танго, вальсы и польку (другие танцы были запрещены), кавалеры приглашали дам, все шло чинно и мирно.

Солидная публика проходила на танцплощадку по билетам, а несолидная пролезала между прутьями ограды, что делал и В.В., будучи крайне шуплого телосложения.

Время от времени появлялись на площадке парни с красными повязками, украшенными тремя буквами „БСМ“, что означало „бригада содействия милиции“. Они ловили безбилетников, и очень успешно, но поймать В.В. им удавалось редко. Он выскальзывал наружу между прутьями ограды и уходил, как мелкая рыбешка из крупноячеистой сети.

Иногда танцы навещал Вовик Греков, или попросту Грек, молодой человек зверской наружности, с железной фиксой во рту. Вместе с ним появлялась и его банда, членов которой всех называли „греки“. Как только появлялись греки, суровых ребят с повязками „БСМ“ немедленно сдувало невидимым ветром и на площадке возникала предгрозовая напряженная атмосфера. Сначала все было хорошо. Оркестр продолжал выдувать свой обычный репертуар: „Утомленное солнце“, „Ночь коротка“ или „На сопках Маньчжурии“. Кавалеры приглашали дам. Дамы томно клали руки кавалерам на плечи. А греки, рассыпавшись по площадке, вступали в игру для В.В. совершенно безопасную, потому что интересующиеся им ребята из БСМ исчезали, а греки такой мелочью пренебрегали. Они начинали с того, что отталкивали кавалеров и сами начинали танцевать с их дамами. Кавалеры в большинстве случаев благоразумно отходили. Дамы тоже от сопротивления воздерживались.

Танцы продолжались. Греки присматривались и выбирали какую-нибудь пару поинтереснее. Чтобы он был покрупнее ростом и покрасивее. И чтоб при этом был хорошо одет. Желательно, чтобы в дорогом костюме и с галстуком. И чтоб она тоже была бы ему под стать. И чтобы между ними были замечены какие-нибудь более или менее возвышенные отношения. При наличии таких предпосылок и начиналась игра. Они танцуют, их надо толкнуть. Сначала чуть-чуть, потом посильнее, потом почти до сбития с ног. Если нужной реакции нет, развивать усилия дальше. Мимоходом ущипнуть ее за зад. Наступить ему на ногу. Сказать что-нибудь о ней, а когда он посмотрит сердито, то и о нем.

У намеченной жертвы может быть три варианта поведения.

Первый вариант: он, сообразивши, чем дело пахнет, тихо покидает свою возлюбленную и место действия в одиночку. Здесь все может кончиться благополучно. С их стороны всего лишь улюлюканием вслед, с ее — прекращением отношений, а с его — позором.

Второй вариант: уйти вдвоем — исключается.

Третий вариант: его или ее толкают, он не выдерживает и толкает сам или что-нибудь говорит, безразлично, что именно.

После этого ему предлагают вежливо: „Пойдем, потолкуем“. Если идет — хорошо. Не идет — еще лучше. В конце концов его выволокут наружу и, не отходя слишком далеко от танцплощадки, начнут бить. Один-два хороших удара, и вот он уже лежит, скрючившись и закрывая руками голову. И тут наступает вождеденный миг. Греки с кри-

ком, визгом, гиканьем, крикая и стеная, отталкивают друг друга и бьют ногами. Каждый норовит попасть не куда-нибудь, а так, чтобы выбить зуб. А еще лучше глаз. Или оторвать ухо. Или заехать носком в живот. Или шарахнуть с налету по почкам, по ребрам, по печени. За что? А просто так! Для удовольствия. Чтобы превратить человека в кровавую отбивную. Чтобы сразу не помер, но долго не жил. Чтобы остаток своих дней доходил, харкая, писая и какая кровью.

Такие расправы над людьми греки чинили часто и без всякого риска. Изувечив очередную жертву, кидались врассыпную (В.В. запомнился при этом треск ломаемых сучьев) и короткое время спустя уже клубились в центре города, на одном из тех мест, что назывались на фене „плешкой“.

А жертва, превращенная в кусок мяса, — уже не видно ни костюма, ни галстука, ни глаз, ни лица, — похожая на черепаху с сорванным панцирем и растоптанными лапами, ползла по асфальту, негромко воя и оставляя за собой многополосый кровавый след.

Греков боялись простые граждане, милиция, и В.В., надо признаться, тоже отпора им не давал. Его уже однажды ногами били, ему удалось лишь случайно остаться не инвалидом, но если бы он хоть однажды вмешался в греческие разборки, то сейчас вряд ли б сидел живой и слушал пламенную речь Зиновия Мыркина.

Вовик Грек и глухонемые

Друг В.В. Толик Лебедь посещал танцы до поры до времени безнаказанно, но однажды он ку-

пил с полочки новый костюм шоколадного цвета и галстук розовый и решил, глупый человек, во всем этом щегольнуть.

На другой день В.В. сидел у Толика в его дежурке электрика, и Толик, поддерживая отвисшую губу, рассказывал, как его выволакивали, как били и топтали и как ему удалось от них вырваться, до конца недобитым. В это время зашел в дежурку Коля, электросварщик. Высокий, белокурый молодой человек, с лицом слегка перекошенным от мучительных гримас, которыми постоянно вынуждены пользоваться глухонемые. Увидев Толика, Коля удивился и спросил знаками, что случилось. Толик знаками объяснил, что его побили. Кто, где и как? Выяснив подробности, Коля поинтересовался, что это за Грек и где можно его увидеть.

Толик сказал (показал), что увидеть Грека наверняка можно по воскресеньям в начале вечера в окрестностях трамвайной остановки „Шестой поселок“, а потом — около танцплощадки.

Коля сказал: „Я (постучал себя ладонью в грудь) и мой друг (показал один палец) в воскресенье (семь пальцев) в шесть часов вечера (показал на часы и растопырил шесть пальцев) будем на трамвайной остановке (изобразил рельсы, трамвай, стоящих людей). Ты (ткнул пальцем Толика), я (ткнул себя), мой друг (один палец) встречаем этого, который (событие изображается маханием кулаков), и поговорим (будущий разговор описан с помощью высунутого языка и одного кулака)“. Толик пробовал предупредить. Вас, мол, двое, а их целая шайка. Шайка не простая, а страшная, ко-

торую боится даже милиция (похлопал себя по плечу, показывая погоны). Коля показал: не беспокойся.

Этим договором В.В. был крайне заинтригован. Он, конечно, слышал, что глухонемые дерутся ужасно. Они криков избиваемых не слышат и поэтому бьют до первой крови. Такая была легенда. Правда, В.В. уже видел, что не глухие и не немые, слыша крики и видя кровь, на этом не останавливаются. Но жизнь это одно, а легенда — другое, и правило глухонемых бить до крови возбуждает страх перед ними, близкий к мистическому.

Но какими бы особенностями глухонемые ни обладали, представить себе, что двое из них справятся с шайкой Грека, В.В. не мог и очень хотел посмотреть, как это будет выглядеть в жизни.

Они с Толиком пришли к остановке чуть раньше времени и сидели на лавочке. Вскоре после шести подкатил трамвай, из него вывалились Коля и его друг, оба высокие, поджарые, белокурые, в одинаковых белых рубашках с короткими рукавами.

Поздоровались. Второй глухонемой изобразил ногой на асфальте: С-А-Ш-А — Саша.

Глухонемые знаками спрашивают Толика: где Грек? Толик показывает: сейчас узнаем. Узнать не трудно. Надо увидеть кого-нибудь пошпанистей и спросить. Остановили одного:

— Не знаешь, где Грек?

— А хрен его знает. Только что был здесь. Эй, Витек, не знаешь, где Грек?

— Да только что поехал на стадион. Там футбол сейчас.

На следующем трамвае поехали к стадиону. Футбольный матч в самом разгаре — середина первого тайма.

Купили билеты, вошли и на северной трибуне сразу увидели Грека. Он сидел как глава какого-нибудь азиатского государства или мафии. Места перед ним, сзади и сбоку заняты его телохранителями, то есть кодлой. Человек тридцать — сорок, не меньше. Интересно, что могут два, пусть даже очень здоровых и храбрых глухонемых сделать с таким количеством бандитов?

Глухонемые заняли места в нескольких рядах позади Грека и стали смотреть футбол. В.В. подумал, что они, увидев всю грековскую кодлу, одумались и решили ограничиться просмотром матча.

Наконец первый тайм окончился, перерыв. Грек остается на месте и шайка с ним. Коля пробирается к Греку сзади, трогает за плечо. Грек удивленно оборачивается. Коля показывает ему сначала ладонью снизу вверх: вставай, а потом большим пальцем: выйдем за ворота. Грек, как ни странно, послушно встает и идет. Вся шайка поднимается и — за ним. Лица настороженные, кулаки сжаты, кто-то лезет в карман, но отдельные члены шайки постепенно отстают и отдаляются. Может быть, отправились за подкреплением.

Двинулись к выходу. Грек, рядом с ним Коля, к Коле приклеился Саша. Толик движется сбоку, а В.В. совсем на отшибе. Толик явно трусит, и В.В. тоже не по себе. Он вроде как бы и ни при чем, но греки приметливы и злопамятны.

Они идут, и Грек по мере продвижения вперед льстиво изгибается и улыбается глухонемым

такой заискивающей улыбкой, какие впоследствии В.В. видел на лицах членов Политбюро ЦК КПСС, обращенных к их Генеральному главарию.

Вышли за ворота, и вдруг Коля левой рукой хватает Грека за грудки, поворачивает ловким рывком, толкает спиной вперед, прижимает к прутьям металлической ограды, коленом упирается в самое уязвимое место — и кулак правой руки прибил к вздернутому носику Грека. Тот становится белым как снег, и видно: не способен не только драться, но даже рот раскрыть не может — оцепенел. И члены шайки тоже, как под гипнозом. Рассыпались полукругом, замерли, и совершенно очевидно, что, если предводителя на их глазах будут убивать, они в лучшем случае сбегут, а в худшем — так и будут стоять, окоченевши.

Коля бить Грека не стал. Отведя кулак, он поманил пальцем Толика, потом каким-то быстрым и ловким движением схватил и подергал Грека за нос, что у глухонемых, как слышал В.В., считается очень большим оскорблением. Потом Коля с мычанием объяснил Греку на пальцах, что Толик его личный друг и что если еще когда-нибудь, что-нибудь...

После чего оба глухонемых, Толик и В.В. покинули место действия.

Через несколько дней В.В. встретил Грека на улице, шумно валившего навстречу со всей своей кодлой. Нашему герою стало немного не по себе. Единственное, на что он надеялся, что такую малость, как он, Грек не заметил и не запомнил. Но, оказалось, заметил, запомнил и даже очень. Когда они поравнялись, Грек глянул на В.В., замедлил

движение, что-то повертел в своей несложно устроенной голове и вдруг заулыбался, закивал этим своим устройством, чем заслужил и ответный кивок. После чего оба разошлись, как в море корабли. Но с тех пор при всех встречах с В.В. Грек всегда здоровался первым, а уж о Толике и говорить нечего.

Коммунизм — не молочные реки

Пока В.В. предавался воспоминаниям, вечер завершился, Борисов и Женственный немедленно скрылись, а Зиновий Матвеевич Мыркин сошел к народу, которым с ходу был окружен. Ему были тут же рассказаны страшные истории. Старуха вечером, не очень даже поздно, выносила мусор и прямо возле мусорного контейнера была изнасилована группой подростков. Она кричала, соседи слышали, но никто-никто, вы представляете, совершенно никто не пришел на помощь. „А возле нашего дома, — сказала полная женщина, — четыре телефонных будки, и в каждой трубки сорваны, а на полу большие кучи наложены, вот вам и вся культура“. — „Таких людей надо расстреливать“, — заметил на это стоявший рядом с дамой седой ветеран, но непонятно, кого он имел в виду — даму или тех, кто накладывал кучи. Другой персонаж, помоложе, пытался у Мыркина выяснить, а что делать на улице курящему культурному человеку при совершенном, можно сказать, отсутствии урн. „Скажите, — горячился он, — вот я иду по улице, покурил, надо выкинуть окурок, а

урны нет ни одной. Что мне делать с этим окурком: положить в карман? Проглотить? Что, скажите?”

— Товарищ Мыркин! Товарищ Мыркин! — приземистый человек с крутым лбом, пытаясь повернуть внимание писателя на себя, дергал его за рукав. Наконец, не выдержал и закричал истерически: — Товарищ Мыркин, я уже одиннадцатый раз к вам обращаюсь.

— Да, я вас слушаю, — оставив нерешенной проблему невыброшенных окурков, Мыркин повернулся к приземистому. Тот немедленно выдвинул вперед ладонь для рукопожатия.

— Тишкин, — с достоинством представился он. — Адам Христофорович. Моя супруга... — не оглядываясь, он протянул руку назад и вытащил из толпы круглую старушку в шляпе с опущенными полями... — Тишкина Антонида Петровна.

— Очень приятно, — сказал Мыркин.

— Товарищ Мыркин, вот вы говорите — культура поведения, внимательность, вежливость и все такое. А я расскажу вам случай. Вы знаете поэта Сергея Васильева?

— Да, я с ним знаком, — сказал Мыркин гордо.

— Так я вам скажу. Мы с супругой его очень любили. У него есть замечательные стихи. Особенно поэма о России. Мы прочли его биографию, узнали, что он сирота и все такое. Мы решили пригласить его к нам, накормить, напоить чаем. Я написал ему письмо, он не ответил. Я узнал его телефон и звонил ему несколько раз. Он все: некогда и все такое. А потом видит, я проявляю настойчи-

вость и говорит: „Хорошо, завтра я поеду на машине на рынок, могу вас по дороге подобрать, и в машине поговорим“. Сами понимаете, я отказался. Я еще много раз его приглашал, и вот он согласился. Пришел вечером, а у нас квартирка, знаете, маленькая, коридор темный, он идет, оглядывается, вздрагивает, боится, видать, что ограбят. А потом увидел нас с супругой, успокоился, посмотрел на часы и говорит: „Ну вот что, папаша, я человек занятой, времени у меня в обрез, давай выкладывай, что наболело, и я пойду“. Ну, какой уж тут разговор! А ведь мы хотели как лучше. Супруга испекла кекс, я приготовил сто двадцать четыре вопроса, а разговора не получилось.

...Было уже поздно, холодно и ветрено, когда два литератора, зрелый и начинающий, шли от Парка имени Горького к метро через Крымский мост. Мыркин нес под мышкой портфель. В.В. держал свою тетрадь за пазухой. Шли молча. Вдруг Мыркин повернулся к В.В.

— Хотите, я вам почитаю свои стихи?

— А вы и стихи пишете? — удивился В.В. Он думал, что тех, которые пишут стихи, называют поэтами, а писателями тех, которые пишут что-то другое.

— Ну да, — сказал Мыркин. — Я все пишу. Слушайте. — Он переложил портфель из правой подмышки в левую, правой рукой потрогал очки и тихо-тихо сказал:

Наша вера дана нам навеки
И испытана нами в огне.

Он помолчал, как бы вдумываясь в смысл уро-

ненной фразы, и тут же, глядя В.В. в глаза, непримиримо возвысил голос:

Коммунизм — не молочные реки,
С берегами кисельными, не

И опять замолчал так надолго, что В.В. успел удивиться: как это „с берегами кисельными не“? Оказалось, просто фраза еще не окончена и даже в следующей строке не завершилась.

Заводь, затхлость мещанского быта
В бесконечном заплыве вещей.
Коммунизм — это вечная битва
И готовность погибнуть на ней.
Как сказал Маяковский Владимир,
Бытие — не еда и питье.
Смерть принять коммунизма во имя —
Это счастье твое и мое.

В.В. растерялся. Ему, счастливому от проведенного сегодня вечера, столь необычного, такого, каких в жизни его никогда не бывало, хотелось, и даже очень, чтобы все без исключения стихи его нового знакомого, мэтра и учителя, ему понравились, но то, что он услышал, его смутило. Опять про коммунизм. Да что у этих семафорцев других что ли тем нет? Раньше он думал, что стихи про коммунизм люди пишут для денег или из каких-то деловых или тактических соображений. Но никак не для того, чтобы читать их кому-нибудь на мосту, ночью, хватая за грудки и рискуя опоздать на метро.

— Ну как? — спросил Мыркин.

Он, очевидно, ожидал от провинциала безусловного восхищения, и провинциал хотел восхититься, но не умел врать.

— Извините, — сказал В.В., очень смущаясь. — Вашим этим стихам, как мне кажется, не хватает немного логики. Вы говорите, что коммунизм не молочные реки и не кисельные берега, но коммунизм истинный, обещанный нам классиками марксизма-ленинизма, предполагает не гибель, а именно молочные реки и кисельные берега и вообще полнейшее изобилие. От каждого по способности, каждому по потребности.

Мыркин был удручен.

— Простите, Володя, — спросил он, — у вас какое образование? Десять классов?

— Да, — сказал В.В., — десять классов вечерней школы.

— Стало быть, вы марксизм подробно не изучали?

— Нет, не изучал.

— Вот поэтому у вас об этой теории такие примитивные представления. Тот коммунизм, о котором вы говорите, это вульгарный коммунизм. Над ним еще Маяковский смеялся. Помните? „Для кого бытие, а для кого еда и питье определяют сознание“. Именно на эту строчку я, кстати, и ссылаюсь в своих стихах.

Будучи мало образованным, В.В. эти знаменитые слова Маяковского все-таки знал. Но в истинности сказанного сомневался. Если бытие не еда и питье, то что же оно? Однако от спора В.В. уклонился. Во-первых, надо было спешить на метро, а во-вторых, из очень близкого ему опыта он помнил, что споры о коммунизме могут дорого обойтись.

Из ниоткуда в никуда

Жизнь кажется мне похожей на езду в поезде (можно даже написать такой сценарий), идущем с грохотом из ниоткуда в никуда. Человек рождается в этом поезде и с самого начала познает, что такое неравенство. Один родился в мягком купе, другой в тамбуре, третий и вовсе где-нибудь на открытой платформе. Поезд несется, грохочет, его заносит на поворотах, пассажиры чувствуют себя, как на чертовом колесе. Кто-то не удержался, вылетел за борт преждевременно, кого-то выкинули насильно, но все равно всех ждет один конец: рано или поздно даже у самых сильных и у самых стойких руки ослабнут и неумолимая сила вынесет их туда, за борт. А пока веселитесь: пейте вино, играйте в карты, любите женщин или мужчин, боритесь за лучшую долю.

Борьба идет постоянно. Пассажиры открытых платформ и тормозных площадок нападают на пассажиров купейных, захватывают их места, а их самих переселяют на свое место или спихивают за борт. Иные, захватив купе, этим удовлетворяются, другим этого мало, их манит власть над всем поездом, раздача теплых мест тем, кто им верно служит, а тех, кто служит неверно, или — в телячий вагон, или — за борт.

Едут пассажиры. Одни — унижены и обижены — на платформах, на крышах, на подножках, другие, самодовольные, сытые, разлеглись на подушках в мягких купе, но одним страдания ненадолго, а другим радости ненадолго. Пройдет время, и на каком-то повороте вылетит за борт и за-

будет о своих страданиях неудачник, а на другом повороте расстанется со всем нахапанным самодовольный.

А поезд идет, грохочет, теряет своих пассажиров, идет из ниоткуда и в никуда.

Благодарность

Было уже поздно, когда В.В., расставшись с Мыркиным на Крымском мосту, вернулся в Панки, но ночь была с субботы на воскресенье, и в вагонах, между ними и даже под ними продолжалась какая-то жизнь. В.В. вспомнил про Клавку и решил ее навестить. Поднялся в шестой вагон, открыл дверь в купе. Там жарко и тесно. На нижних полках сидят две парочки. Клавка свесилась сверху.

— А, Вовка, здорово. Внизу тесно, залезай, что ль, сюды.

Подумал, полез в чем был. Завалился к стенке. Клавка повернулась к нему спиной, он к ее затылку лицом.

Внизу парочки приглушенно сопели, хихикали и щелкали резинками.

В.В. обнял Клавку, потискал ей грудь, погладил живот, спустился ниже, заворотил подол, она ему тихо помогла не промахнуться.

Внизу смеялись, хихикали, о чем-то говорили. Клавка тоже включилась в разговор, да и он отпустил пару реплик.

А по завершении дела она повернулась к нему лицом, поцеловала его, погладила ему волосы и сказала в ухо:

— Спасибо, Вовка.

А он ей сказал:

— Пожалуйста.

Запорожье

Во времена моего детства передвижение по железной дороге было все еще большим событием для каждого, кто решался пуститься в путь. Отъезжающие и провожающие прощались долго и обстоятельно, произносили напутственные слова, потом замолкали, не зная, что бы еще сказать самого важного (ничего, кроме общих банальностей, на ум не приходило), и ожидание отправления становилось томительным. Но наконец дежурный ударял в колокол, паровоз отзывался нетерпеливым гудком и выпускал с шипеньем пары, поезд с лязгом расправлял суставы и начинал двигаться. Отъезжающие высовывались в окна, а провожающие прикладывали к глазам платочки и затем бежали, бежали вдоль отходящего поезда, спотыкаясь, натыкаясь на фонарные столбы и нелепо взмахивая руками.

А потом — дни и ночи пути, сопряженного с известными трудностями и приключениями, с выскакиванием на станциях за снедью, с очередями у кранов с холодной водой и с кипятком, с вечным страхом отстать от поезда.

Путешествие наше в мае 1941 года было долгим. Сначала пересекли всю страну снизу вверх и из лета поспели к ранней весне. Потом спустились вниз и вернулись в лето.

Вот из памяти извлеклась картинка: серое зда-

ние вокзала и надпись крупными косыми буквами „Запоріжжя“, перрон, газетный киоск, будка с незнакомыми словами „Взуття та панчохи“, тележка с газированной водой, милиционер в белом кителе, с пашкой на боку и свистком на шее, и семейство, застывшее как на старинном дагерротипе: мужчина и женщина, оба в белом и оба в соломенных шляпах, старушка в темном платье в белый горошек и два крупных подростка в майках, в холщовых штанах и в парусиновых тапочках. Как только наш вагон поравнялся с картинкой, она вдруг ожила, превратившись из фотографии в немое кино, и эти дядя, тетя, старушка и подростки побежали рядом с вагоном, взмахивая руками и улыбаясь.

А потом объятия, поцелуи взрослых и ахи:

— Ах, какой большой мальчик? Ах, неужели уже восемь лет? В сентябре будет девять? И уже кончил первый класс? Ах, какой молодец!

Подростки и дядя в шляпе подхватили наши узлы, и мы все пошли к выходу с перрона. Мы — это мы с отцом, бабушка Евгения Петровна, сестра отца тетя Аня, ее муж дядя Костя Шкляревский и их дети Сева и Витя, пятнадцати и тринадцати лет. А потом красно-желтый трамвай, весело позванивая на поворотах и рассыпая искры, вез нас через весь город, увешанный афишами предстоящих гастролей Владимира Дурова и его зверей. Я не знал, кто такой Дуров, и думал, что это, наверное, какой-то дурной мальчик, который или нехорошо себя вел, или плохо учился, за что его называли Дуровым и будут показывать народу вместе со зверями.

Запорожье оказалось очень большим индустриальным городом. ДнепроГЭС, Запорожсталь, Днепрспецсталь и много всяких других заводов, включая „Коммунар“, производивший в те времена комбайны „Коммунар“, а потом переключившийся на автомобиль „Запорожец“. Еще был завод номер 29, про который все знали, что он секретный, что никому нельзя знать, что на нем именно производится, и все знали, что именно производятся на нем — авиационные двигатели.

Почти все запорожцы, как я позже заметил, были местными патриотами, гордились тем, что их город такой необычный. Он делится на четыре основные части: старая часть, новая часть, село Вознесеновка и остров Хортица, где была когда-то Запорожская сечь. А на правом берегу есть еще село Верхняя Хортица, там живут немцы-колонисты.

До революции Запорожье называлось Александровском в честь Александра Первого, а Александра Второго, проезжавшего здесь на поезде, народовец Желябов хотел взорвать, но не сумел. Запорожцы гордились всеми составными этой истории: и что царь здесь проезжал, и что именно здесь его хотели убить, и что именно здесь его не убили.

Еще гордились тем, что все или многое здесь было самое-самое. Самая крупная в мире гидроэлектростанция, самый крупный в Европе кинотеатр и самый старый в мире, в Европе или на Украине (не помню точно, где именно) дуб, который назывался дубом Махно.

Название пошло от того, что будто бы батько в

тревожные минуты залезал на этот дуб и сквозь бинокль вглядывался, не подбирается ли к нему исподтишка коварный враг. Все это, конечно, чистая чепуха, потому что дуб этот стоит среди других дубов в дубовой роще у Днепра. Не знаю, как батько, но я на этот дуб залезал и могу сказать определенно, что с него ни в бинокль, ни без бинокля ничего нельзя увидеть, кроме других таких же дубов. Тем не менее, я во все рассказанные мне легенды охотно поверил и сам стал гордиться славной историей города, его блистательным настоящим и великолепным будущим.

Новая часть города состояла из пятнадцати рабочих поселков. Самый главный из них, шестой поселок, где жили Шкляревские, примыкал к плотине ДнепроГЭС и был самым современным из всех.

Здесь было много такого, чего я никогда раньше не видел. Отдельная квартира, электрическое освещение, радиоприемник со светящейся слабошкой, ванная с горячей водой и самое большое чудо индустриальной эпохи — ватер-клозет.

В Запорожье было интересно и то, что здесь не только дети, но и взрослые чуть ли не каждый день играли в войну. Чаще всего по вечерам. Чуть стемнеет, как начинают завывать со всех сторон, словно волки, сирены, железный голос диктора разносится по всему городу и, наталкиваясь на стены домов, рассыпается на уходящее в невидящую эхо:

— Граждане, воздушная тревога... евога... вога... ога...

Граждане тут же, опасаясь всяческих санкций,

торопливо выключали в квартирах свет. Уличные фонари тоже гасли, после чего город теоретически должен был бы погрузиться во мрак. Но практически этого не случалось. Потому что как раз во время затемнения где-то далеко за восьмым поселком пышно разгоралось злоеущее багровое зарево — это на Запорожстали выливали расплавленный шлак.

Во время тревоги мы, не зная, сколько она продлится, хватали заранее приготовленные узлы с одеялами и подушками и бежали прятаться в железобетонные бомбоубежища, оборудованные в подвалах некоторых домов.

Взрослых эти тревоги раздражали, а мне нравились. В бомбоубежищах сходилосъ много народу, взрослого и невзрослого, здесь велись самые разные и порой очень интересные разговоры.

В Запорожье было еще и то хорошо, что у меня здесь сразу появились два брата. Пусть двоюродных, но зато старших. Раньше, когда меня обижали, я жалел, что у меня нет старшего брата. В крайнем случае согласен был даже на младшего. И просил маму, чтобы она родила мне братика. Мама этого не сделала. Но теперь было все в порядке. Сева, конечно, был слишком старше, он мне внимания много не уделял, но зато с Витей мы подружились, и нападать на меня он не позволял никому.

А желающие напасть на меня уже тогда возникали на моем пути, и нередко. Одного такого субъекта моего же примерно возраста встретил я в середине дня по дороге от одного подъезда к другому. Он играл сам с собой в игру, которая у

нас, в Средней Азии, называлась лянга, а здесь — маялка. Клок какого-нибудь меха с пришитым к нему грузиком из свинца надо подкидывать ногой или двумя, не давая упасть на землю. Именно этим делом, и с большой ловкостью, занимался мой сверстник. Он отбивал эту маялку и громко считал:

— Сто четыре, сто пять, сто шесть...

Тут как раз появился я. Он на миг отвлекся и на сто седьмом ударе маялку потерял. Но не огорчился. Положил маялку в карман и загородил мне дорогу.

— Здорово! — сказал он и протянул мне свою грязную руку.

— Здорово! — сказал я и протянул ему свою, тоже не очень чистую.

Я еще не дотянулся, а он свою руку быстро убрал и, тыча пальцем в небо, сказал: „Там птички летают“. Я посмотрел туда, куда он указывал, но птичек никаких не увидел.

— Здорово! — сказал он опять и опять протянул мне руку.

— Здорово! — отозвался я удивленно и повторил то же движение... Он свою руку тут же убрал и стал большим пальцем тыкать куда-то за ухо.

— Там, — сказал он, — собачки бегают.

— Где? — спросил я, никаких собачек не обнаружив.

— Здорово!

— Здорово! — попался я третий раз на тот же крючок.

— Вот глупый человек, — сказал он, убирая

руку. — Куда ж ты руку тянешь? Ты ее мыл? А ты знаешь, как козлы здороваются?

— Нет, — сказал я, — не знаю.

— А вот так! — Он неожиданно нагнулся и резко боднул меня головой в живот. Я упал навзничь, ударился затылком об асфальт и заорал. В это время из подъезда вышел Витя. Он схватил моего обидчика за шкирку и предложил мне сделать с ним то, что тот сделал со мной. Я нагнулся и хотел тоже ударить его головой в живот, но тут со мной что-то случилось: моя голова не захотела мне подчиняться. Я пробовал его ударить рукой, пнуть ногой и делал над собой некие волевые усилия, но тело меня не слушалось. Это привело меня в такое замешательство, что я заплакал и засмеялся одновременно. Мне казалось, что смеюсь я потому, что вот со мной старший брат, который всегда готов меня защитить и с которым я могу отомстить любому, кто посмеет меня обидеть. А плакал я оттого, что мой организм не позволял мне осуществить свою волю. Потом в детстве моем много раз случалось, что меня били, а я не мог дать сдачи, потому что мои руки не подчинялись моим желаниям. И не только руки.

Возле нашего дома для каких-то строительных дел была привезена и насыпана у подъезда куча песка. Мальчишки, в том числе и мой брат Витя, обрадовались — поднимались по лестнице, вылезали через окно на козырек подъезда (на уровне второго этажа) и с криком, визгом сигали в песок.

Я, конечно, — туда же. Подошел к краю козырька, приготовился, напряг мышцы и... и ничего. Опять тело не хочет мне подчиняться. Я про-

бовал так и эдак, то жмурил глаза, то разжмуривал. То подходил к самому краю, то отходил и пытался прыгнуть с разгона. Я смотрел, как прыгают другие мальчишки. Ну ведь это совсем невысоко и совсем не страшно. Ведь ничего, ну ничего не может случиться. Я опять поднимался по лестнице, вылезал на козырек, разгонялся, но у самого края останавливался как вкопанный. Мне не было страшно, я видел, что здесь убиться нельзя, я был уверен, что со мной ничего не может случиться, и все-таки какая-то сила не давала мне пошевелить ни одним мускулом.

Случай этот, может быть, ерундовый, стал причиной моих дальнейших сомнений в самом себе и некоторых усилий по их преодолению. Десять лет спустя, вылезая с парашютом на крыло зависшего на километровой высоте самолета По-2, я хотел доказать самому себе, что той силе, которая помещала мне прыгнуть с высоты второго этажа в песок, я больше не подчинен.

Элиза Барская. Эта дуреха Джулия

Егор уехал за неделю до меня, и я была этому ужасно рада. Целые дни я лежала неподвижно на пляже, распластавшись на камнях и ощущая свое тело как нечто желе- или медузообразное. Оправляясь словно после тяжелой болезни и чувствуя, как ко мне постепенно возвращается жизнь.

Два дня у меня был повод для беспокойства, что я влипла, но потом все разрешилось своим чередом.

После Егора во мне развилась странная антипатия к особям противоположного пола, я их гнала от себя всех, знакомых и незнакомых, и терпела рядом с собой только Люську, без конца жаловавшуюся мне на своего очередного мужа, который был, по ее подозрению, пед. Он любил яркую одежду, ходил, слишком витлая бедрами, и со своим другом Витей разговаривал проникновенно и нежно. Люську он кое-как трахал, но делал это редко, неохотно и торопливо и при случае намекал, что не имел бы ничего против, если бы она завела любовника.

В эти дни я много ела и быстро набирала потерянные килограммы.

Но не прошло и недели, как настроение мое резко изменилось, я затосковала и поняла, что мне жизни нет без Егора.

Меня охватило странное и все более усиливающееся беспокойство, я опять перестала есть и не находила себе места. Мне хотелось, чтобы он сейчас, немедленно оказался рядом со мной или я рядом с ним. Я пыталась оценить свое чувство критически, я сказала сама себе, что это вовсе не любовь и не увлечение, а самая настоящая похоть, и удовлетворить ее можно с любым мужиком. Я даже и попыталась это сделать, пригласив к себе лермонтоведа, жившего с женой в Доме творчества писателей. Тот отправил жену в кино и пришел ко мне с трехлитровой бутылкой вина, трусливо озираясь — боялся быть застуканным. Мы пили вино и вначале говорили о чем-то возвышенном, но он явно спешил совершить намеченное до окончания ки-

носеанса, стал жаловаться на жену, к которой у него не осталось никакого мужского чувства. Но когда он попытался распуścić руки, я поняла, что не точу никаких лермонтоведов и никого другого, кроме Егора, которого я хотела видеть, слышать, осязать всеми клетками своего тела или, если это окажется невозможным, попросту умереть.

Лермонтоведа я выгнала, и как раз вовремя, потому что кино в Доме творчества кончилось и лермонтоведиша попалась мне по дороге на почту и спросила, не видела ли я ее мужа. Я сказала, что видела на набережной у киоска, где продают разливное вино.

На почте я проторчала в очереди два с половиной часа, когда, наконец, дали Москву и я услышала заспаный голос Егора. Мне показалось: он не доволен тем, что я его разбудила, а может быть, даже (тут у меня заколотилось сердце) оторвала его от кого-нибудь (уж наверное, научившись со мной кое-чему, он стал смелее). Стараясь держаться спокойно, я сказала, что случайно оказалась на почте, звонила родителям, но там никто не ответил, и вот, поскольку все равно выстояла очередь...

— Я рад тебя слышать, — сказал он.

— Я тоже, — призналась я. — Более или менее.

— А я, — сказал он, — более или более. А ты что там, в Коктебеле, собираешься зимовать?

И тут я неожиданно для самой себя сказала, что завтра отправляюсь в Москву, хотя у меня

не было ни таких планов, ни, тем более, билетов.

— Завтра? — удивился он и замолчал так надолго, что вмешалась телефонистка и спросила, закончили ли мы разговор.

— Нет, нет, — торопливо ответил он телефонистке и поинтересовался, как мне показалось, из вежливости: — Может быть, тебя встретить?

— Это не обязательно, — сказала я. — У тебя, наверно, нету времени.

— Какой вагон? — спросил он.

Я сказала, что пока не знаю, пусть ждет у головного вагона.

Это было перед первым сентября, когда билет на ближайший поезд могли достать только люди с исключительным блатом, очень богатые или одержимые вроде меня.

Через день я оказалась на Курском вокзале. Мне достался, как назло, самый последний, четырнадцатый вагон, и я медленно тащила свой огромных размеров фибровый чемодан, набитый недосушенным купальником, скомканными трусами, лифчиками, сарафанами, двумя свитерами, плащом и бутылкой Абрау-Дюрсо.

Я забеспокоилась, когда не увидела его у первого вагона. Но тут кто-то тронул меня за локоть. Я услышала свое имя и оглянулась...

Эта дураха Джулия уверяет меня, что американские мужики гораздо лучше наших, потому что, изучив по книжкам эрогенные зоны, они знают, что надо трогать, мять, прижимать, как целоваться и каким пальцем ковырять кли-

тор, чтобы вызвать в партнерше оргазм. А я ей говорю, что все это чушь по сравнению с искренним чувством, когда эрогенно все тело от ногтей до волос и когда ты кончаешь, едва любимый мужчина коснется твоего локтя.

А насчет жены ближнего...

Из десяти заповедей для меня не все равноценны.

Я верю только в ту мораль, которую мне подсказывает мое чувство.

Мое чувство подсказывает: не убий. Мое чувство говорит мне, что грех украсть у голодного кусок хлеба. Но оно не говорит мне, что грех у миллиардера украсть миллион. Это вовсе не значит, что я сторонник крадення этого миллиона, я, наоборот, противник. Но это уже по соображениям не морального, а юридического характера. Закон есть закон: укравший миллион совершил преступление. Большое преступление, но малый грех. А кусок хлеба у голодного — малое преступление, но большой грех.

Грех есть разбитие чужой семьи. Но если муж изменяет своей жене, то грех ли жене изменить такому мужу? И грех ли мужчине переспать с женщиной, которая изменяет мужу, который изменяет ей?

Наши доморощенные моралисты говорили, что ни в коем случае нельзя желать жены друга, потому что в Библии сказано: не пожелай жены ближнего своего. Но в Библии, во-первых, ближним считается каждый человек вообще, а во-вто-

рых, мораль в подобной редакции звучит так, как если бы человек считал, что красть у друга нельзя, а не у друга можно.

Среди моих знакомых, считающихся вполне приличными людьми, девяносто девять процентов мужчин спали с чужими женами и, соответственно, столько же процентов женщин спали с чужими мужьями. Они не убивали, не крали, не лжесвидетельствовали, но через эту заповедь переступали без большого смущения. Так кто же они — негодяи, или все же мы должны к их поведению отнестись снисходительно?

Вообще, на данном этапе нашей цивилизации некоторые моральные устои утратили свой абсолютный смысл, в их числе супружеская верность. Считать ее нарушение грехом или нет, зависит от конкретных отношений конкретной пары, от их взглядов на жизнь и прочих вещей. Есть пары, которые ищут другие пары для совместных сексуальных утех. Если всем четверым это нравится и никто никого не принуждает силой, то в чем тут грех?

Грех — намеренно причинять страдания.

Не убий, постарайся спасти погибающего, не отними кусок хлеба, не делай другому больно, не обидь. Я ненавижу убийц, воров, грабителей, насильников, взяточников, мародеров, лицемеров, ханжей, демагогов, шовинистов, националистов, политических авантюристов, с отвращением отношусь к тем, кто греет руки на больных, беззащитных, голодных и мертвых, наживается на чужом несчастье, присваивает себе чужие заслуги и так далее в этом духе.

А насчет жены ближнего, что ж... Если кому-то очень хочется, и она не против, и ее муж сам такой, то почему бы и нет?

Вредители, шпионы, собаки и самоубийцы

В Запорожье, как я узнал, было много вредителей и шпионов. Их было немало и там, где я жил раньше. Но здесь еще больше.

Соседи на лавочке во дворе постоянно рассказывали друг другу истории о том, что директор какого-то торгова прежде, чем отправить молоко в магазины, купал в нем свою жену. Чтоб у нее кожа была хорошая. Директор средней школы создал из учеников подпольную националистическую организацию под названием СКМ, что означает Смерть Красным Москалям. Японский шпион был застукан на том, что пытался взорвать железнодорожный переезд. Шпион румынский ехал на поезде и считал провозимые мимо танки и цистерны с горючим.

Но Днепровская имени Ленина, ордена Трудового Красного Знамени гидроэлектростанция была самой лакомой приманкой для всех в мире шпионов, и особенно польских, включая нашего дядю Костю, который в свое время признался, что фотографировал плотину ДнепроГЭС не только для газеты „Червоне Запоріжжя“, где он работал фотокорреспондентом, но и по заданию польской дефензивы.

И книг было много о всяких вредителях и шпионах, правда, не только местных.

Бабушка, с которой я, кстати, тоже подружился не меньше, чем с Витей, прочла мне однажды книжонку про отважного пограничника Карацупу и его верного пса Ингуса. Они вдвоем задержали очень много нарушителей какой-то южной границы. Причем оба описывались автором с одинаковым восхищением. Поэтому, когда я узнал, что за свои подвиги Карацупа был не только награжден орденом, но и принят в члены ВКП(б), я спросил у бабушки, была ли награждена его собака.

Бабушка сказала, что она не знает, но вообще вполне возможно, что собака тоже получила медаль.

— А в партию ее приняли? — спросил я.

— Что за чушь! — сказала бабушка. — Собак в партию не принимают.

— А почему?

От других взрослых бабушка отличалась тем, что любые мои вопросы готова была обсуждать на предложенном мною уровне и всерьез.

— Почему, почему! — рассердилась она. — Потому что в партию принимают только людей. И то не всех, а лишь тех, которые верят в коммунизм. А разве собака может во что-нибудь верить?

Почему собака не может верить в коммунизм, этого мне бабушка объяснить никак не могла, наверное, потому, что сама была беспартийная. И в коммунизм, как я потом догадался, тоже не верила. И в отличие от своего сына, не верила без всяких сомнений.

Несмотря на бдительность людей и собак, число вредителей и шпионов в городе Запорожье никак не уменьшалось. Наоборот, они объявлялись везде, иногда даже совсем рядом.

Ровно за неделю до начала войны покончил с собой наш сосед инженер Симейко. Говорили, будто тоже оказался шпионом и диверсантом, распространял панические слухи о возможной войне с Германией, что, согласно недавнему заявлению ТАСС, было совершенно исключено.

За распространение слухов Симейко в понедельник должны были арестовать, о чем его предупредил другой враг, внедрившийся в органы НКВД.

Враг предупредил, Симейко смалодушничал (так тогда объясняли поступки самоубийц) и прыгнул с балкона четвертого этажа.

То есть, вернее, не совсем прыгнул. Сначала он перелез через перила, опустился ниже (должно быть, все же инстинктивно хотел сократить расстояние до земли), уцепился руками за бетонную площадку балкона и долго висел, не решаясь отцепиться.

Потом он даже как будто передумал. Попытался подтянуться и залезть опять на балкон, но сил не хватало, и он стал кричать, звать на помощь. Соседи хотели его спасти и ломились в дверь его квартиры, колотя руками и ногами. Но Симейко, чтобы отрезать себе путь к спасению, сам предварительно запер квартиру на все замки и для надежности придвинул к двери тяжелый шкаф.

Пока соседи ломились в дверь, кто-то более расторопный появился на крыше с веревкой, но тут силы оставили Симейко и он с криком „а-а-а!“ полетел вниз.

Говорили, что хотя в последний момент Симейко вроде передумал, но уже в полете передумал опять и успел для надежности перевернуться вниз

головой. Потом выяснилось, что успел не только перевернуться, но, как показало вскрытие, и умереть от разрыва сердца.

Насчет разрыва сердца не знаю, но что он врезался головой в асфальт и что голова его была похожа на расколотый очень спелый арбуз, это точно, я сам это видел и мне стало дурно.

Симейко увезли в морг, оставшуюся после него красную лужу засыпали песком, песок смели, но темное пятно еще несколько дней оставалось, как ненадежная память о прошедшей жизни инженера Симейко.

Когда началась война, многие вспомнили про предсказания Симейко, а бабушка сказала, что он зря поторопился. Если бы даже в намеченный понедельник его арестовали, то уже в следующий должны были бы выпустить.

— Не говори глупости! — возмутилась тетя Аня. — Ты разве не знаешь, что эти мерзавцы никогда никого не выпускают.

— Ну как же, — сказала бабушка, — ведь теперь ясно, что он был прав.

— Тем более, — сказала тетя. — У этих мерзавцев больше всех виноват тот, кто больше всех прав. А каждого самоубийцу они ненавидят за то, что, наложив на себя руки, он от них уходит и они ничего ему уже сделать не могут.

Война

День 22 июня был очень жаркий, и мы все, кроме бабушки, то есть отец, тетя Аня, дядя Костя, Сева, Витя и я, поехали на остров Хортица ку-

паться. Тогда Днепр был еще полноводным и прозрачным, светлый песок не замусорен, и дно мягкое, но не вязкое. Все было бы хорошо, но из-за жары нам пришлось переместиться к кустам, там меня стала грызть мошкара, я поднял скандал, и, кажется, из-за этого мы вернулись домой раньше обычного. Дома встретила нас бабушка с мокрыми глазами.

— Что случилось? — спросила ее тетя Аня.

— Война, — сказала бабушка и зарыдала.

Я удивился. Что за горе? Война, как я видел ее в кино, это дело хорошее, это интересно, это весело: кони, сабли, тачанки и пулеметы. Музыка играет, барабаны бьют, красные стреляют, белые бегут.

Уже во второй половине того же дня взрослые вышли с лопатами копать по всему городу щели — так назывались траншеи для укрытия от бомбежек. Всем было приказано оклеить окна полосками бумаги, которые, как предполагалось, в случае бомбежки защитят окна от взрывной волны.

— Какой идиотизм! — сердилась тетя Аня. — Какие бомбы? Где Германия и где мы? Эти мерзавцы опять выдумывают всякие небылицы, чтобы пугать народ.

Всюду исключительные строгости насчет светомаскировки. Когда нет тревоги, светом пользоваться можно, но только при очень плотно зашторенных окнах.

Специальные дружинники ходят вдоль домов, следя, чтобы ни малейший лучик света не просочился наружу. Говорят, что милиционеры, видя свет, тут же стреляют по окнам.

В разных частях города появились грузовики с установленными на них зенитными батареями, мощными прожекторами и звукоуловителями, похожими на огромные граммофоны.

Чуть ли не на следующую ночь загудели сирены, и знакомый голос диктора объявил воздушную тревогу, теперь не учебную. Мы с бабушкой были отправлены в бомбоубежище, а остальные члены семьи укрылись в щелях.

Бомбоубежище — подвал соседнего дома. Там куча мала: старики, старухи, дети и инвалиды. Все, как и раньше, пришли с одеялами и подушками, а иные с прочим скарбом. Тесно, шумно и весело.

Насколько я помню, никаких звуков снаружи слышно не было, поэтому дальнейшее произошло неожиданно. Сначала погас свет, потом секунда тишины и оглушительный взрыв, от которого пол под ногами закачался и с потолка что-то посыпалось. Кто-то громко закричал. Заплакали маленькие дети. Я услышал тревожный голос бабушки:

— Вова, Вова, где ты?

Наконец она нашарила меня в темноте, прижала к себе, стала успокаивать:

— Не бойся, нас не убьют.

А я вовсе и не боялся. Я даже и не думал, что меня можно убить. Побить — да. Но убить? Меня? Да разве это возможно?

Как ни странно, тревога кончилась скоро, и нас стали по очереди выводить из бомбоубежища. Кто-то освещал синим фонариком выщербленные ступени и сверкающий свой сапог.

На улице было достаточно светло, потому что

стояла полная луна и на Запорожстали опять выливали шлак.

Дома нас ждал сюрприз. Все окна в нашей квартире были выбиты, стекла разлетелись по всему полу, и багровое зарево отражалось кусками.

— Ну вот, я же говорила, что эти бумажки ни от чего не спасут, — сказала тетя Аня, хотя раньше она, кажется, говорила что-то другое.

Вернулся откуда-то дядя Костя и сказал, что света во всем поселке нет и сегодня не будет, потому что бомба перебила высоковольтную линию. А кроме того, она попала в детский сад и там убила сторожа и собаку. Детей там, слава Богу, не было.

Кое-как сгребли стекло в угол, легли спать.

Утром я проснулся оттого, что меня кто-то тряс за плечо. Я открыл глаза и увидел военного, который говорил мне:

— Вова, вставай!

Я решил, что он мне приснился, и попытался от него отвернуться, чтобы сменить этот сон на другой. Но военный был настойчив, я в конце концов пришел в себя и увидел, что это мой папа.

— Вова, — сказал он. — Мы с тобой опять расстаемся. И, может быть, надолго. Я уйду на войну.

И тут я понял, что война не такая уж веселая штука, как казалось недавно. Я прижался к отцу и сказал:

— Папа, не уходи. Не надо. Я не хочу больше жить без тебя.

Я уткнулся лбом в пряжку его ремня и заплакал.

Как овдовела Аглая Ревкина

В среду 29 октября 1941 года немцы вплотную подошли к Долгову, и от окраины были слышны уже пулеметные очереди. Сержант НКВД Свинцов только что вывез Чонкина из тюрьмы, откуда же своим ходом вышел бывший секретарь райкома Ревкин в стоптанных солдатских бутсах без шнурков и в синем ватнике, надетом на голое тело, без пуговиц, но подпоясанном шпагатом. Его никто не задерживал, поскольку и охрана, и администрация были уже в бегах.

Ревкин шел не один. Он вел на веревке Зорьку, корову начальника тюрьмы Курятникова, с которой последние дни опять сидел вместе в одной камере. Чем очень пользовался, отсасывая у нее молоко (а она питала к нему определенную нежность, очевидно, считая его теленком).

Ревкин медленно шел неизвестно куда, когда на пахнувшей дымом улице Поперечно-Почтамтской его встретила жена Аглая, с папиросой в зубах, в кожаной распахнутой куртке, в хромовых сапогах и в берете с подобранными под него волосами. Аглая торопливо толкала перед собой двухколесную тележку, на которой аккуратно были уложены десятка два перевязанных шпагатом газетных свертков, каждый размером в буханку хлеба, тракторный аккумулятор, два телефонных полевых аппарата, катушка с кабелем и другая катушка с кабелем потолще. Ревкину Аглая не удивилась и не

обрадовалась. Даже не поздоровалась, а, жуя папиросу, спросила:

— Ты куда?

— Туда, — сказал Ревкин и показал подбородком вперед.

— Брось корову, пойдем со мной! — приказала Аглая, и он ей немедленно подчинился. Ему было все равно, куда идти и что делать.

Теперь они толкали тележку вдвоем. Корова, не зная, куда податься, плелась за ними и волочила в пыли веревку. Пока из своей избы не выскочила худосочная старушенция, которая, сообразив, что корова как бы ничья, не перехватила ее и не утащила к себе. Аглая по дороге объяснила Андрею Еремеевичу, что есть приказ перешедшего в подполье обкома немедленно взорвать Долговскую электростанцию. Газетные свертки — это динамит. Два присланных с динамитом минера сбежали, но перед тем, как сбежать, успели объяснить Аглае, как из этих кусков сложить адскую машину и как ее привести в действие.

Через несколько минут они вкатили тележку на территорию электростанции, не работающей и не охраняемой. Аккумулятор внесли в проходную, там же оставили один телефон. С остальным, разматывая телефонный кабель, доехали до главного узла.

— Стоп! — сказала Аглая. — Бери динамит и пошли. Да осторожней, это ж тебе не это.

В генераторном зале было тихо, холодно, пахло сыростью и машинным маслом. Ничто не работало, и стрелки всех приборов стояли на нулевых отметках. Пока Ревкин перетаскивал свертки, Аг-

лая втащила вовнутрь второй телефон и вкатила катушку с толстым кабелем, от которого сразу отмотала большой кусок. Еще моток тонкого провода положила рядом. Затем взяла два динамитных свертка и полезла на карачках под кожух главного генератора. Когда она таким же манером вылезала обратно, юбка ее, зацепившись за какой-то болт, завернулась, открыв ее тощий зад в сморщенных рейтузах салатного цвета. При виде чего у Ревкина возникло желание, с которым он не сумел справиться, и дал ей сильного пинка, потерявши при этом ботинок. Аглая упала на живот и тут же быстро выползла наружу, вскочила на ноги и воззрилась на мужа с немалым удивлением. Он, поднявши ботинок, стоял перед ней, улыбаясь.

— Ты что, — спросила она тихо, — лук ел или так?

Он не отвечал, лишь улыбался блаженно.

— Дурак, — сказала она, почесывая ягодицу. — Разве можно такие шутки? Я ж с динамитом.

Он был вроде не при своих, и она спросила, понимает ли он, где находится, и может ли выполнять то, что она собирается ему поручить. Он кивнул, как будто осмысленно, и она объяснила, куда заложить оставшиеся заряды, как соединить их тонким проводом и как тонкий провод примотать к концам кабеля.

— Я буду ждать на проходной, — сказала она. — Когда все будет закончено, позвони мне по этому телефону и сразу же уходи. Ровно через две минуты... — она достала из кожанки мужские карманные часы, — я замыкаю концы. Встретимся на площади Павших Борцов у могилы Миляги. Ты меня понял?

— Да, да, все понял, — кивнул Ревкин, глядя на часы, которые, он помнил, были ему вручены в 1939 году в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке за успехи в деле электрификации колхозного села, то есть вот за эту самую электростанцию.

— Ну, ладно, — она положила часы в карман, еще раз пытливо взглянула на мужа и, разматывая кабель, покатила катушку в сторону проходной.

Кабинет начальника охраны электростанции представлял собой просторное помещение с окнами на три стороны, а стены между окнами были украшены плакатами, диаграммами и двумя портретами: Сталин, раскуривающий трубку, и Ленин, склонившийся над планом ГОЭЛРО. Письменный стол начальника был пуст, не считая стоявших на нем мраморной чернильницы с высохшими чернилами и электрической плитки с большим, частично облупленным эмалированным чайником. Аглая поставила рядом с плиткой аккумулятор и один конец кабеля подсоединила к плюсовой клемме, а другой отогнула подальше от клеммы „минус“. В чайнике была вода еще без признаков затхлости. Аглая вспомнила, что у нее лежат в кармане два засохших пряника (выходя из дому, захватила), и подумала, что как раз самое время попить хотя б кипятку. Включила плитку и стала ждать, когда накалится спираль. Но спираль не накалялась, и Аглая, вспомнив, что накаляться ей не от чего, принялась растапливать железную печку. Откуда-то издалека доносились слабые звуки стрельбы из пулеметов и мелких орудий, которые

мешались с потрескиванием дровишек в печи и не внушали ни малейшего чувства опасности.

Стрельба велась на северо-западной окраине города, велась только немцами и велась просто так, для острастки тех, кто попытался бы оказать сопротивление. Сопротивления никто не оказывал. Тем не менее немцы продвигались с предельной осторожностью, но с пути не сбивались, видимо, хорошо изучили город по карте. Так хорошо, что танки, войдя в город, сразу перестроились в две колонны и одна из них направилась к райкому, а другая к тюрьме, где находился, по предположению, пленник большевистского режима — князь Голицын.

Для менее важных объектов танков не хватило, и к электростанции была направлена мотострелковая рота под командованием обер-лейтенанта Зигфрида Шульца, который по совпадению обстоятельств был в доармейской жизни дипломированным электротехником и теперь имел поручение, овладев станцией, посмотреть, нельзя ли ее немедленно запустить.

Аглая нашла в помещении проходной не только железный питьевой ковшик, но еще в ящике стола полпачки чая и кусок халвы в пропитанной маслом серой бумаге. Устроив себе царское чаепитие, она смотрела в окно на пыльную улицу, где лежала под забором привязанная к нему коза, и копошились куры, никак не озабоченные отдаленной стрельбой. Ей пришла в голову глупая мысль, что вот этим курам, наверное, все равно, какая здесь власть, советская, русская или немецкая. Придут люди из другой страны, в другой форме, установят

здесь иные порядки, водрузят другие флаги, сменят портреты, возведут виселицы для коммунистов, а куры будут так же рыться в мусоре, нести яйца и бестолково кудахтать. Ею вдруг овладела такая ненависть к этим безмозглым птицам, что, будь у нее пулемет, она бы их всех тут же немедленно порешила. Впрочем, это чувство как пришло, так и ушло: какая бы Аглая ни была, но даже она поняла, что ненавидеть столь безвинных тварей смешно и глупо.

Аглая извлекла из кармана часы. С тех пор как она оставила мужа у главного генератора, прошло сорок минут, а он не подавал никаких знаков.

Звуки стрельбы стали реже, но ближе.

В прежние времена Аглая в муже ни на секунду б не усомнилась, но теперь немного забеспокоилась: повредившись в уме, что он там делает и делает ли что-нибудь? Аглая покрутила ручку телефонного аппарата. Никто не отозвался. Она стала свертывать самокрутку и заметила, что руки у нее сильно дрожат, махорка рассыпается и слепить сигарку не удается.

В конце улицы поднялось облако пыли, застрекотало и стало быстро приближаться к электростанции. Куры бросились наутек, а привязанная к забору коза даже не пошевелилась, словно понимая свою обреченность. Уже на подходе к станции из облака вырисовались катившие колонной по два тяжелые мотоциклы и на каждом по три мотоциклиста в запыленных кожаных куртках, в очках и с черными от пыли лицами, похожие на нечистую силу, которую ничто и никак остановить не может.

Как только проехали распахнутые настежь ворота, передний правый мотоцикл, отрулив в сторону, остановился, и двое из выскочивших из него пассажиров, направили на проходную короткие автоматы, а третий, высокий, стал махать рукой, поторапливая остальных, въезжавших на территорию станции.

И тут на столе перед Аглаей слабо и мирно задребезжал телефон.

— Все сделал, — донесся до Аглаи голос ее мужа Андрея Еремеевича Ревкина.

— Все заряды заложил, как я тебе говорила? — В правой руке Аглая держала недоеденный пряник, а в левую руку взяла конец кабеля, пока еще не соединенный с аккумулятором.

— Все заложил, — подтвердил Ревкин.

Последний мотоцикл тоже остановился, въехав в ворота, три человека его экипажа подошли к прибывшим ранее, и все шестеро с черными лицами, как у негров, направились к проходной. Высокий, идя первым, стянул с себя очки и фуражку и оказался не негром, а соломенного цвета блондином. Это и был Зигфрид Шульц.

— И провода подключил? — все еще уточняла Аглая, удивляясь сама, что приближение врагов не вызывает в ней страха.

— Да, сделал все, как ты сказала.

Между тем немцы, громко стуча сапогами, поднимались уже на крыльцо и обер-лейтенант Зигфрид Шульц взялся за ручку двери.

— Родина тебя не забудет! — крикнула Аглая в телефонную трубку и приложила свободный конец к клемме „минус“. Сначала все было словно в не-

мом кино. Крыша станции разломилась и кусками взметнулась ввысь, на гребне ставшего столбом пламени, а выше всех кусков, радостно кувыркаясь в дыму, летела к небу пустая железная бочка. Бочка еще не успела достигнуть наивысшей точки, как неимоверная сила наклонила деревья, сорвала с петель половину железных ворот, сдула с крыльца поднимавшихся на него немцев. При этом Зигфрид Шульц был оторван от двери вместе с ручкой, в которую он мертво вцепился, отброшен в сторону, ударен головой о дерево, отчего немедленно умер. Аглая повалилась под стол, и осколки стекла влетели в комнату, словно выстреленные из пушки.

Так Аглая стала вдовой. Так же, впрочем, как и Зибилла Шульц, урожденная Баумгартнер, которая ныне проживает в доме для престарелых в поселке Планнег под Мюнхеном.

Элиза Барская. Прошлогодний снег

В истории моих отношений с Егором есть один момент, который мне описывать особенно трудно, но опустить нельзя — это его диссидентская эпопея.

Волна подписанства началась в 66-м году с письма группы писателей в защиту Синявского и Даниэля. Потом к писателям подключились физики-химики и лица прочих профессий, а список защищаемых соответственно возрастал. Егор в то время был уже заведующим лабораторией и должностью этой дорожил не только из-за зарплаты и спецбуфета, но и потому,

что она давала возможность проводить любые удобные ему эксперименты. Он был и членом КПСС, куда вступил в интересах своего дела.

Он занимал в науке столь заметное место, что наши правозащитники, естественно, хотели его вовлечь в свою деятельность, им нужны были громкие имена.

В защиту Синявского и Даниэля Егор тоже какое-то письмо подписал, но затем был вызван к Президенту академии, что ему там сказали, он мне не говорил, но с тех пор от участия в подписанстве долго уклонялся. К нему приходили разные люди в потертых штанах и с тяжелыми портфелями, приглашали к гражданской активности, уличали в равнодушии к общественным проблемам и упрекали в неосотрада-нии к жертвам режима. Он решительно и твердо отвергал всякие попытки вовлечь его в дело, далекое от его интересов. Утверждал, что он ученый, желает заниматься наукой, в которой он был близок к великому открытию из области черных дыр. Когда одна юная диссидент-ка напомнила ему, что Сахаров тоже ученый, он вспыхнул и сказал: „Сахаров уже сделал свою бомбу, а я еще нет“.

Пытаясь сохранить в себе состояние спокойствия, в котором только и можно заниматься наукой, он старательно ограждал себя от всяких побочных переживаний, не читал газеты, не слушал радио, уклонялся от разговоров о политике, но я видела, что это давалось ему чем дальше, тем труднее. Он становился замкну-тым, раздражительным, и, будь я более прони-

цательной, я бы поняла, что оболочка, которой он себя как бы окутал и защитил, довольно тонка и, так или иначе, скоро прорвется. Но я в события особенно не вникала, потому что к той поре как раз забеременела и вслушивалась в себя. Мне очень хотелось ребенка, и ему тоже. Он хотел мальчика, а я над ним смеялась, говоря, что он *male chauvinist pig*, то есть в прямом переводе с английского — мужская шовинистическая свинья. Он переспрашивал: как? как? — и соглашался на девочку.

И тут как раз разразился скандал этот с его машинисткой, которую КГБ прихватил на печатании самиздата. Егора вызвали в партком. Там сидели замдиректора института по кадрам и инструктор отдела науки ЦК. Егору было предложено машинистку немедленно уволить. Егор спросил: за что? Ему сказали: за то, что печатала самиздат. Он спросил, где она это делала и на какой машинке? Ему сказали, что это неважно. Он настоял, и они уточнили, что она печатала дома и на собственной машинке, которая теперь у нее изъята. В таком случае, сказал Егор, меня это не касается. Как это не касается? — спросили его. — Вы понимаете, что она делала? Меня, возразил он, как руководителя лаборатории, интересует, что мои сотрудники делают в рабочее время, и совершенно не интересует, что они делают после. Вы, напомнили ему, не руководитель лаборатории, а прежде всего коммунист. Тут он совершенно взбеленился и сказал, что он коммунист такой же липовый, как и все

остальные, а если бы был честным и принципиальным человеком, то должен был бы из этой разложившейся и деградировавшей шараги выйти. И такое наговорил про партию, про номенклатурные привилегии, про Чехословакию, про преследование инакомыслящих и еще что-то в этом духе, что заседание парткома было тут же прекращено. На другой день, впрочем, секретарь парткома пригласил его прогуляться по институтскому дворику, где сказал, что по старым нормам Егор наговорил лет примерно на десять, это, конечно, шутка, только шутка, сейчас не старые времена, и прежние методы мы осуждаем, и, кроме того, мы очень ценим твой вклад в науку и твой международный авторитет, и вообще ты хороший парень, ну хорошо, что-то ты ляпнул, правда, зря при этом, из ЦК, очень злобная личность, несостоявшийся физик, неудачник, а неудачники они, сам знаешь, но все равно в конце концов это дело как-то замнем, но с машинисткой, это дело все равно решенное, да и к тому же она... ты же наш, русский, да? а она — сам понимаешь...

Егор тогда вернулся домой в ужасе, напился, что с ним бывало редко, сказал, что все, его карьера кончена, из партии он немедленно выйдет, и искал партбилет, чтобы изорвать и спустить в унитаз, но я его вовремя спрятала. Я Егора хорошо понимала и понимала, что машинистку он никак не может уволить, и ни в коем случае в эту сторону его не толкала. Но я просила его все-таки остыть, подумать, ук-

лониться от прямого конфликта с начальством, особенно с партийными инстанциями, поступить дипломатически, поискать зацепку в КЗОТе, выписать себе срочную командировку, заболеть, наконец. Но он неожиданно уперся и сказал: нет, он не уволит ее принципиально. Ну, и как водится, вскоре речь пошла уже не о машинистке, а о нем самом, что он наговорил много лишнего и надо взять свои слова обратно, покаяться, сказать, что излишне погорячился, что был пьян и немного не в своем уме. Он стал упираться, его стали таскать к начальству, уговаривать, льстить, соблазнять поездкой на какой-то престижный международный симпозиум, намекать на сложность международного положения, страдая, цитировать Горького („Если враг не сдается, его уничтожают“) и, конечно, напоминать о семье, молодой жене, о том, кстати, что жена беременна. Я тогда удивилась, откуда им это известно, мы на весь мир не трубили, но потом поняла, что гебисты уже побывали в женской консультации и в мою историю болезни вникли. Короче, потом было все: исключение из партии, понижение в должности и в конце концов увольнение по сокращению штатов. Но он уже отступить не мог и пошел на полный конфликт с государством, начав сразу круто. С открытого письма Брежневу, которого назвал узурпатором и невеждой. Тогда его первый раз вызвали в КГБ и предупредили, что, если не остановится, будет посажен. Он не остановился и создал организацию, которую назвал Общественный Трибунал по расследованию злодеяний КПСС. Ни больше,

ни меньше. До этого момента я его более или менее поддерживала. Но тут я поняла, что теперь, если он не остановится на этом, его в самом деле посадят. Я ему сказала об этом. Он сказал: очень хорошо! Посадят — значит мне удалось привлечь внимание всего мира. Я сказала: конечно, внимание мира ты привлечешь, но что будет с твоей женой и с твоим ребенком? Ты хочешь, чтобы он рос, не зная отца? Насчет меня он промолчал, а о ребенке сказал: „Ничего. Зато, когда вырастет, будет знать и гордиться, что его отец был честным и мужественным человеком“. У нас был очень трудный разговор. Я ему сказала, что понимала его, пока видела, что он поступает так или сяк, потому что не может промолчать. Но теперь он превратился в профессионального революционера, которого рано или поздно посадят, и я, молодая женщина, стану вдовой при живом муже, а ребенок сиротой. Он то жалел меня и обнимал, то корил, упрекая в мещанстве и равнодушии к судьбе отечества и народа.

На другой день я пошла и сделала аборт. Очень неудачный. После которого я уже никогда не могла иметь детей. А он, узнав об аборте, меня бросил и ушел к той самой машинистке, из-за которой все началось.

Чем можем, тем поможем

Чем ближе были немцы, тем больше по городу ходило разных слухов о поимке шпионов, лазутчиков и диверсантов. Кто-то пытался взорвать до-

менную печь. Какой-то враг через печную трубу светил фонариком, подавая немецким самолетам сигналы, куда именно надо бросать бомбы. Но светил, видимо, плохо, потому что бомбы падали каждый раз не туда и за все время даже в такую большую цель, как плотина ДнепроГЭС, не попали ни разу.

Тем не менее, налеты происходили каждую ночь, в одно и то же время. Сначала мы ложились спать, как обычно, но потом увидели, что бесполезно. Только начинаешь засыпать, как завывли, заголосили сирены и надо собираться, тащить узлы и — в подвал. А некоторые туда заранее перебирались — захватить уголок получше. А там уже все знакомые. Наша соседка по площадке, старушка по имени Горпина Ивановна, другая старуха, которую все зовут просто Андреевна, еще какие-то женщины помоложе, много детей, от грудных до подростков, и еще два инвалида: у одного правая нога деревянная, а у другого — левая. Фамилии инвалидов: Тимошенко и Чушкин. Говорят, что Тимошенко — дядя знаменитого маршала Тимошенко, а чей дядя Чушкин, я не знаю. Знаю только, что они очень дружат между собой и часто гуляют вдоль дома. Идут сначала в одну сторону, потом поворачивают и ковыляют в другую. И когда они идут в одну сторону, у них обе деревянных ноги снаружи, а когда повернут — обе деревяшки внутри. И в одну сторону — приникают плечом друг к другу, а в другую сторону — при каждом шаге друг от друга отталкиваются.

Сейчас Горпина Ивановна сидит на принесенной с собой табуретке, рядом с ней на каком-то ящике

устроился Тимошенко. На другой ящик положил деревянную ногу, и она торчит как небольшая старинная пушка. Чушкин лежит на полу, подстелив под бок телогрейку, а под голову узел с пожитками. Горпина Ивановна, заплетая шестилетней внучке Дусе косичку, собрала вокруг себя слушателей:

— Чи вы не чули, шо зробылося на Верхний Хортици?

— Нет, не слышали, — отвечает кто-то.

— А то зробылося, шо ночью сив на землю там отой немецкий литак, увесь у крестах и у этих, у головастиках.

— У чем?

— Ну у этих, у головастиках, яких воны на крыдлах малюють.

— А-а, вы имеете в виду свастику?

— Ото ж, — согласилась соседка. — А из литакa выйшов, значит, ихний, як бы то сказаты, охвицер, сам такой гарный хлопец, блондин, але увесь у черном и тоже ж отая хвастика на рукави. И пишов по хатам записувати людэй до списку, хто бажае служиты у немецкой армии. Ну, а там же ж, вы знаетэ, там же ж нимци живут, колонисты, ну воны, зрозумило, уси тут же и позаписувалысь. А як же ж. Ну, и литак пиднявся у повитря и улетив. А другим ранком приезжае, значить, колонна наших трехтонок та „эмка“. А из „эмки“ на цей раз выходы кто? А отой же самый легчик. Но вже ж не в немецкой форме, а в НКВД. И обратно по списку ж усих выкликають и в машины. И одвезлы их до Червоного яру и там усих розстрилялы.

— Ну и правильно сделали, — сказал Тимошенко.

— Как это так? — возражает Чушкин. — Как это отвезли и расстреляли? Без суда?

— А зачем суд? — говорит Тимошенко. — Законы военного времени.

— А хоть какое ни время, у нас без суда не расстреливают. Мы не фашисты.

Ему никто не возражает, кроме толстого грудного ребенка, который на руках у матери начинает вопить и дрыгать ногами.

Чушкин подождал и говорит:

— А я вот слышал совсем другое. Вчера возле коксохимического завода бомба упала, но не взорвалась.

— Ну, значит, оказалась бракованная, — решил Тимошенко.

— А вот и не бракованная, — торжествующе говорит Чушкин. — А как раз даже слишком нормальная. Когда саперы приехали, бомбу-то разобрали, а в ней вместо взрывчатки — песок. И записка: „Чем можем, тем поможем“. Это вот и есть наглядное проявление солидарности немецкого пролетариата с нашим рабочим классом.

Эти мерзавцы

Я давно заметил, что на свете существуют какие-то люди, которые моей тете чем-то очень не нравятся, и одного из них она называет „калмык проклятый“, другого „этот рябой“, а все остальные из той же компании — „эти мерзавцы“ и „эти не-

годия“, которые не дают людям жить. Эти мерзавцы хвастались, что войны никогда не будет, а если будет, то только на вражеской территории и исключительно малой кровью, да и то не своей. Когда тетя Аня говорит об этих мерзавцах, дядя Костя делает страшные глаза и прижимает палец к губам, из чего можно заключить, что эти мерзавцы где-то совсем рядом и могут подслушать. Но тетя не унималась. Она сердилась на этих мерзавцев, что они прошляпили начало войны, дают возможность вражеским самолетам прилетать к нам, а тут еще новая беда: эти мерзавцы приказали всем, имеющим радиоприемники, сдать их на временное хранение до конца войны. Тетя Аня свой приемник очень любила.

— На время, говорят, на время. Мерзавцы! Они если отнимают что-то на время, то этого не получишь уже никогда.

Прибежала Горпина Ивановна:

— Наши тикают!

Мы с Витей побежали на улицу. Люди на тротуарах мрачно, но без укора провожали глазами длинную колонну военных грузовиков. Все машины без номеров, фары закрыты жестяными щитками, для света оставлены только узкие щелочки.

Красноармейцы ехали, как заключенные: сидя в несколько рядов и лицом назад. Лица тоже не веселые и смотрят в сторону. Кажется, им стыдно, что они отступают. Некоторые перебинтованы. Во многих ветровых стеклах пробойны от пуль.

— Видишь, — сказал мне Витя, — большинство дырок с левой стороны. Понимаешь, что это значит?

Я понимал. Дырка с левой стороны означала, что недавно этой машиной управлял другой человек.

Вернувшись, мы застали в доме переполох. Дядя Костя в углу комнаты уминал коленями и пытался стянуть веревкой узел из серого одеяла. Сева, стоя на табуретке, снимал с полки какие-то книги, бегло просматривал или совсем не просматривал и кидал на пол.

— Где вы шлаетесь? — накинулась на нас тетя Аня. — Разве можно уходить надолго в такое ужасное время? Давайте собирайтесь!

— Куда? — спросил Витя.

— Ты разве не понимаешь куда? Ах, вы проклятые! — сказала она в сердцах, видимо, обращаясь все к тем же неведомым мне мерзавцам. — Вы же нам обещали: чужой земли ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Обещали бить врага только на его территории. Вот она и будет его территория. — Успокоившись, сказала Вите: — Уезжаем мы, сынок. Бежим вдогонку за несокрушимой и победоносной нашей армией. Хотя едва ли догоним.

— И напрасно бежим, — сказала бабушка. — Немцы очень культурная нация. У нас в Новозыбкове в восемнадцатом году на постое стоял немецкий офицер Герд Шиллер, он был очень тихий и воспитанный человек.

— А теперь, говорят, — сказал дядя Костя, — немцы зверствуют. В деревнях жителей загоняют в хаты и сжигают живьем. Всех евреев убивают. Всех, всех, включая детей.

— Неужели ты веришь этим глупостям? — спросила тетя Аня.

— Ну почему же глупостям, Нюся? В газетах пишут.

— О, Боже! — воздела руки тетя Аня. — Святая простота! Как будто ты сам не знаешь, что пишут в газетах эти мерзавцы. Как будто ты сам не работаешь в такой же газете.

— Нюся, прошу тебя потише, — сказал испуганно дядя Костя. — Ты же знаешь, что у наших стен есть уши.

Я подумал, что дядя Костя говорит какую-то чепуху. Я никогда еще не видел никаких стен с ушами.

— А куда мы едем? — спросил я у тети Ани.

— В эвакуацию.

Я не знал, что такое эвакуация, и решил, что это такой город Эвакуация.

Но что ж, мне было не привыкать путешествовать. Я уже ехал из Сталинабада в Ленинабад, из Ленинабада в Запорожье, а теперь вот из Запорожья в Эвакуацию.

Это была наша последняя ночь в Запорожье. И последняя бомбежка.

Почему-то в этот раз нас с бабушкой отправили не в бомбоубежище, а в щель, где мне понравилось гораздо больше. А еще больше не в самой щели, а вне ее. Почему-то во время налета мы с Витей оказались снаружи, и я увидел необычайно красивое зрелище. Была ясная ночь, шлак на Запорожстали еще не выливали, и звезды светили ярко и крупно.

Где-то в невидимой вышине ровно, мощно и злобно гудели самолеты, на земле хлопали зенитки, по всему небу шатались, перекрещивались,

сходились в одной точке и расходились белые дымящиеся лучи прожекторов, летели разноцветным пунктиром трассирующие снаряды, и совсем недалеко часто и коротко стучал пулемет.

Мы вернулись домой при первых знаках рассвета.

Я чувствовал себя счастливым оттого, что провел эту тревогу вместе со взрослыми, и у меня было такое ощущение, будто сам побывал на войне, которая мне в этот раз понравилась. Я лег, и мне снились прожектора, трассирующие снаряды и белые стены с большими человеческими розовыми ушами. Эти уши принадлежали стенам, и в то же время это были мои уши. Я ими слышал. Слышал ими странный вполголоса разговор, происходивший где-то в коридоре между тетей Аней и дядей Костей.

— Нюся, — говорил дядя Костя, — в конце концов, если ты не хочешь, мы можем никуда не ехать. Может быть, ты права, немцы культурные люди, они нам ничего не сделают. Зачем мы им нужны? Мы же не коммунисты.

— А Вова? — спросила тетя Аня.

Я даже во сне удивился и затаил дыхание. Что Вова? Может быть, я коммунист, но сам об этом не знаю? Бабушка говорила, что собак в партию не принимают, а детей, может быть, принимают. Может быть, и меня приняли, а я даже не знал.

— Ну что Вова, — сказал дядя Костя, словно повторив мой вопрос. — Вова твой племянник, а ты русская.

— Я русская, а Роза еврейка, и если они это узнают...

— Но, Нюся, ты же сама говоришь, что газетам нашим верить нельзя.

— Газетам верить нельзя, а глазам и ушам можно. Я по радио слышала несколько речей Гитлера. Я почти ничего не разобрала, но поняла, что он такой же мерзавец и фанатик, как этот рябой.

— Тише, тише, тише! — зашипел дядя Костя. И тут же заговорил громко: — Ну что ж, раз решили, значит, решили. Значит, надо поторопиться со сборами.

Эвакуация

Из впечатлений от эвакуации в памяти остались товарные вагоны с железными засовами и надписями: „Восемь лошадей/сорок человек“, бомбежка на станции Мокрая, две женщины, спрашивавшие меня, не мой ли папа написал книгу „Овод“ (я ответил: не знаю, они спросили его имя-отчество, переглянулись, подумали, одна сказала: „Да, кажется, он“). Поезд останавливался неожиданно и трогался без расписания, поэтому люди вагоны старались не покидать, и пассажирам мужского пола, взрослым и мальчикам, малую нужду разрешалось справлять на ходу в открытую дверь, что они и делали с ощущением своего превосходства над попутчицами, не очень удачно для такого рода удовольствий устроенными. А в большой нужде было полное равенство, во время остановок в степи женщины и мужчины, не решаясь отстать от поезда, высаживались вдоль него в ряд, не испытывая, кажется, ни малейшей стыд-

ливости. Которая, впрочем, тут же возвращалась, как только складывалась для нее подходящая обстановка. На станциях, где меняли паровоз (а это гарантия, что поезд неожиданно не уйдет), люди бежали к уборным и выстраивали — женщины длинный хвост, а мужчины — короткий.

В Тихорецке в мужскую уборную ворвалась рыжая женщина и, торопливо взметнув юбку, села над дыркой между мужчинами. Мужчины тихо, смущенно и злобно зашипели:

— Вы что, разве не видите, куда залетели?

— Ничего, — сказала женщина, — после войны разберемся. А пока не кончилась, мне в штаны, что ли, срать?

На привокзальной площади Ставрополя (тогда Ворошиловск) было трехдневное сидение на узлах среди тысяч других здесь сгруженных семей, а потом трехдневный путь через степь на волах.

Степь да степь кругом

Мое поколение, вероятно, последнее в истории человечества, из которого кое-кому лично известно, что значит „степь да степь кругом, путь далек лежит“.

Бескрайнее пространство: ни деревьев, ни кустов, ни выпуклостей, ни впадин, только полынь, бурьян, ковыль и волнистая линия уходящей к горизонту дороги.

Передвижение в такой степи на воловьей упряжке, я думаю, сравнимо только с пересечением на древней посудине океана.

Наш обоз состоял из трех просторных, запряженных волами арб, у которых нижняя часть имела вид сколоченного из досок и устланного соломой корыта, а верхняя — длинные жерди. В первой и второй арбе ехали эвакуированные, в третьей была бочка с водой и мешки с провиантом.

Ехали медленно, нарушая степную тишину тихими разговорами, скрипом несмазанных осей и бряканьем привязанных сзади ведер.

На нашей арбе слишком много места занимали два больших фанерных чемодана лягушачьего цвета, принадлежавшие двум женщинам — матери и дочери по фамилии Слипенькие. Имя матери осталось за пределами моей памяти, а ее беременную дочь звали Нарева, что означало Надежда Революции. Нарева с печальным и безучастным ко всему выражением полулежала в углу арбы, держа живот растопыренными пальцами, словно боялась, что он улетит. На первой арбе ехал страдавший от жары старик Франченко, абсолютно лысое темя которого было оторочено густым черным мехом на затылке и за ушами. Франческо задыхался, стонал и скреб ногтями свою раскрытую волосатую (седую, а не черную) грудь, а его жена, аккуратная худая старушка с косой вокруг головы, обвевала его веером или прикладывала к лысине мокрый платок.

Первой упряжкой и задней управляли погонщики мужского пола: пожилой с вислыми усами в самодельном соломенном подобии шляпы Микола Гаврилович и просто Микола, подросток лет шестнадцати, босой, в коротковатых штанах, в дырявой майке и в кепке-восьмиклинке с маленьким

kozyрьком. Наших волов погоняла Маруся, молчаливая девушка лет восемнадцати, в пестром сарафане, круглолицая, с толстыми загорелыми босыми ногами. Время от времени она постукивала по костлявым воловьим бокам длинной хворостиной, покрикивая вполголоса: „Цоб-цобэ!“ Порой соскакивала на землю и шла рядом с волами.

В середине дня обоз останавливался для отдыха и кормежки, а вечером — и для ночевки. Днем ели хлеб с салом и запивали теплой водой с запахом и привкусом бочки. Во время остановок волов распрягали, поили, кормили отрубями, перемешанными с соломой, после чего они, сытые, либо стояли на одном месте, либо ложились и дремали, не обращая внимания на жару и обсевших их мух.

Обедая, мы старались расположиться так, чтобы, если прилечь, досталось хоть немного падающей от арбы скудной тени.

Все переносили жару терпеливо, кроме Франченко. Он сидел под первой арбой, еду никакую не брал, мотал головой, широко открывал рот и стонал: „Ой, я умираю!“ Жена его стояла рядом с ним на коленях, макала свой платок в миску с водой, прикладывала к его лысине и обтирала грудь.

Микола-младший, заигрывая с Марусей, передразнивал Франченко, закатывал глаза и как бы шепотом, но надеясь, что другие услышат, стонал: „Ой, я умираю!“ Маруся деланно сердилась: „Ото ж, дурень який!“ Но, не сдержавшись, прыскала в кулачок.

К вечеру мы достигали какой-нибудь прошлогодней скирды соломы, это было что-то вроде

стенного оазиса. Тут наступала передышка от дороги и зноя. Волы распрягались. Оба Миколы, старший и младший, расположившись в стороне от скирды, посылали пассажиров таскать солому, а сами тут же выкапывали небольшую ямку, перекрывали ее двумя закопченными железными прутьями, на них ставили большой казан и в нем варили фасолевый суп, постоянно подкармливая огонь пучками соломы. Суп был с тем же салом, которое я потом — большие куски отдавал дяде Косте, а маленькие с отвращением выплевывал. От вареного сала меня тошнило, фасоль я терпел, а вот разламываемые на куски круглые пышные паляницы мне очень понравились.

Мне всегда было неприятно, но любопытно смотреть, как люди едят, следил я и за тем, как это делал Микола Гаврилович. Он доставал из-за сапога оловянную ложку, несколько раз плевал в нее, потом вытирал о край своей выпущенной наружу серой рубахи. Ел медленно, часто вытирая усы и о чем-то задумывался. Если попадался ему большой кусок сала, он его вынимал из ложки двумя кривыми грязными пальцами и, запрокинув назад голову, ронял себе в рот и заглатывал, не жуя. На вопросы отвечал не сразу и немногословно. Наши взрослые его спрашивали, долго ли еще осталось ехать и что есть там, куда мы едем, — колхоз или просто крестьяне.

— Яки ж у нас просто хрестьяне, — отвечал Микола Гаврилович, подумав. — У нас така ж радянська влада, як и у вас, и колгоспы таки ж сами.

— А вы, значит, украинцы? — спросила его моя бабушка.

Он подумал и покачал головой.

— Ни. Мы хохлы.

— Ну как это можно, — сказала бабушка. — Хохлы — это оскорбительная кличка. А вообще, такой национальности нет. Вы не хохлы, а украинцы.

Микола Гаврилович посмотрел на бабушку удивленно, переглянулся с молодым Миколой, подумал как следует и повторил:

— Ни, мы хохлы.

Бабушка интересовалась, хорошо ли здесь живут люди. Микола Гаврилович отвечал рассудительно:

— А шо ж нам не житы? Мы ж хлеборобы, люды не лядаци, у кожного, несмотря шо кол-госп, и кура, и гусь, и индюк, и порося, и корова. Деяки хозяи доси по чотыре коровы мають.

На вопрос дяди Кости, едят ли они черный хлеб, Микола Гаврилович почти обиделся:

— Та вы шо? Та хиба ж мы свини?

После ужина Микола-младший уходил в степь и с ловкостью кота ловил там полевых мышей, которыми, держа их за хвост, пугал Марусю.

Скирды были для волов дополнительной пищей, а для нас роскошной постелью. В них мы располагались на ночь, зарывшись по горло в солому. Красное солнце быстро опускалось за горизонт, степь серела, чернела, становилась загадочной, суровой и величественной. На фоне этого величия как-то несерьезно вели себя мыши, которые шур-

шали соломой и попискивали где-то внизу. Я лежал в скирде рядом с Витей, мы смотрели на звезды, такие крупные, каких в Запорожье видеть не доводилось. Витя был большой знаток астрономии. Он мне показывал, где Марс, где Венера, где какая Медведица и где Полярная звезда.

В первое утро я проснулся от крика. Где-то на другом краю скирды кричала женщина, потом раздался детский писк, потом появилась моя бабушка и сказала, что Нарева родила мальчика. Потом Нарева ехала в том же углу арбы и кормила ребенка большой бледной грудью.

На другое утро опять раздались крики. Оказалось, ночью во сне спокойно, без всяких стонов умер старик Франченко.

Покричав и поохав, взрослые уложили покойника на арбу и накрыли его простыней. По дороге я поглядывал то в угол нашей арбы, где Нарева непрестанно совала ребенку свою полную грудь, то на арбу перед нами. Там старуха Франченко, сидя рядом с трупом, время от времени приоткрывала простыню, словно проверяя, не воскрес ли ее муж, и, убедившись, что этого не случилось, опускала простыню, отворачивалась и смотрела вдаль сухими глазами.

К вечеру третьего дня наш обоз медленно втянулся в небольшое селение, которое по-русски называлось бы деревней, а по здешнему — хутором.

Жизнь сразу же обросла многими новыми признаками устроенного быта: пахло лошадьми, навозом, свежим молоком, приторным кизячным дымом, лаяли собаки, мычали коровы, гоготали гуси

и местные жители вылезали из своих мазанок, чтобы посмотреть на завезенных к ним чужаков.

Остановившись посреди хутора, мы были тут же обступлены местными жителями, которым Микола Гаврилович с досадой сказал:

— Ну шо вы збижались? Чи вы жидив не бачили, чи шо?

Жидами, как я впоследствии понял, назывались здесь все городские люди в отличие от местных хохлов.

Цоб-цобэ

Живя на хуторе Северо-Восточный, я ходил в школу во второй класс на хутор Юго-Западный — в семи километрах от нашего хутора, он был для нас вроде столицей: там и школа, и почта, и правление колхоза, а у нас — ничего. Вернее, я туда не ходил, а ездил вместе с другими на волах, которых нам, школьникам, выделил колхоз. Волон запрягали в просторную квадратную двуколку, и занимались этим старшие школьники, то есть четвероклассники. Двое из них, Тарас и Дмитро, просидев в разных классах не по одному году, были уже люди вполне солидного возраста. Утром мы собирались возле воловни, Тарас, или Дмитро, или оба вместе запрягали животных, мы забирались в повозку и — цоб-цобэ — отправлялись в долгий и скучный путь. Утром туда, а после обеда обратно. И все было бы хорошо, если бы не... Начну, впрочем, издалека.

Не знаю, как в других местах, а вот на Украи-

не и на юге России вола издавна были одним из самых распространенных и надежных видов транспорта. В тех краях, куда занесла нас эвакуация, вола были незаменимой тягловой силой. Конечно, колхозное и иное начальство, начиная от бригадира Пупика, ездило на лошадях. Но если надо было пахать или возить что-то очень тяжелое, если куда-то снаряжался обоз, санный или колесный, то обычно запрягали волов.

Вот типичная картина для тех мест. Два вола, вытягивая шеи, тянут арбу со стогом сена или соломой высотой с двухэтажный дом. Рядом идет погонщик, беззлобно постукивая по спинам и повторяя одно и то же: „Цоб-цобэ!“

Есть такое выражение — бессловесная скотина. Это, если в прямом смысле, именно про вола. Вол — самое работающее, неприхотливое и безропотное животное. Он ничего от своих хозяев не требует, кроме еды и воды. Больше ему ничего не нужно. Причем кормить вола можно чем попало. Есть сено — хорошо. Нет — сойдет и солома.

Лошадь по сравнению с волом аристократка. На нее надевают сбрую; часто нарядную, со всякими украшениями, побрякушками, колокольчиками. Ее покрывают расписной попоной. Ей дают пахучее сено, клевер, а по возможности и овес. А хороший хозяин и куском рафинада угостит. Да при этом погладит ей морду, потреплет холку, шею снизу потрет и посмотрит, как она улыбается. А еще зедь лошадь и купают, и чистят, и хвост расчешут, и гриву косичками заплетут, и челку подправят. Как-нибудь похоже обращаться с волом никому и в голову не приходит. Ну, бывает, ино-

гда между рог почешут слегка, ему и это приятно, но смотрит он удивленно: с чего бы такая милость?

Вола ничем не балуют и ничем не украшают. Для него есть ярмо — две деревянных колоды, скрепленных железными штырями — занозами. Его к этому ярму надо только подвести, а уж голову он сам подставит.

Даже люди, управляющие лошадьми и волами, по-разному выглядят и называются. Лошадьми в давние времена правили кучера, ямщики в каких-нибудь тоже расшитых камзолах, в расписных рукавицах, в шапках нарядных. Про них слагались песни заунывные („Степь да степь кругом“), романсы лирические („Ямщик, не гони лошадей“). У волов же никаких кучеров-ямщиков нет. У них — погонщик. В длинном зипуне, стоптанных чоботах, в драном каком-нибудь малахае и с хворостиной в руке, сам по себе личность зачуханная и романсами не прославленная.

Преимущество у вола перед лошадью только одно — его никогда не бьют сильно. Не потому, что жалеют, а потому, что не нужно и бесполезно. Быстро он не побежит, хоть убей. А медленно идет без битья. Поэтому его лишь слегка постукивают палкой по костлявому хребту, давая понять, прямо ль идти или куда заворачивать.

Наблюдая этой скотины повседневную жизнь, видя ее бесконечную рабскую покорность судьбе и погонщику, трудно и даже невозможно себе представить, что это существо не всегда было таким, что оно было готово к сопротивлению и даже бунту.

Ведь волы — это и есть те самые непокорные, гордые, самолюбивые до спеси быки, которые на испанских и прочих корридах сражаются до конца, не имея ни малейшего шанса на победу. Превращаясь в волов, быки утрачивают не только какие-то детали своего организма, но и лишаются некоторых свойств характера. И все же, даже оскопленные, они не сразу покоряются своим угнетателям. Они сопротивляются, они бунтуют, может быть, как никакое другое животное.

Бывает это обычно только раз в жизни, именно тогда, когда на вола впервые надевают ярмо.

Не на одного вола, конечно, а сразу на двух. Их запрягают летом в сани потяжелее, на сани накладывают груз или садятся для потехи несколько отчаянных мужиков (перед тем для храбрости изрядно принявших). Садятся для того, чтобы увеличить нагрузку. И вот тут-то как раз применяется не хилая хворостина, а кнут или, точнее, батог, длинный, туго сплетенный, тяжелый и смоченный водою, чтобы был еще тяжелее. Действуют воспитатели быстро, решительно и жестоко. Подвели волов к саням, надели обманом ярмо, волы сначала теряются, косят друг на друга недоверчивым глазом, топчутся на месте, а потом как задрожат да ка-ак рванут! И вот тут самое время для их учебы, для обламывания рогов. Тут сразу надо протянуть одного батогом и крикнуть ему „цоб!“, протянуть другого с криком „цобэ!“ и повторять это без конца, стараясь удержаться в санях, а это очень не просто.

Волы, еще полные силы и ярости, несут эти сани как легкую таратайку, кидаются из стороны

в сторону, считая что под ноги попадется или под полоз. Тут-то их и надо батогом, да покрепче, но без мата, а лишь со словами (чтоб только их и запомнили): „цоб“ и „цобэ“. Эти два слова, и никакие другие. Одного изо всей силы вдоль хребта батогом: „Цоб!“ А другого тем же макаром: „Цобэ!“ Звереют волы, не хотят терпеть ярма, пытаются его скинуть, мотают головами, шеи выворачивают, швыряют из стороны в сторону сани, несутся во весь опор, готовы растоптать, пропороть рогами все живое и неживое (кто навстречу попался, тот либо в сторону шарахается, либо на дерево влетает, как кошка), и кажется, сил у них столько, что никогда не успокоятся и никогда не останятся. Но все-таки и воловья сила знает предел, уже вот бег замедлился, и дыхание шумное, и пена изо рта, а рука бьющего еще не устала. Шарах одного с захлестом промеж рог — „Цоб!“, шарах другого с потягом по хребтине — „Цобэ!“, и вдруг волы остановились, задержались, задрожали и оба разом рухнули на колени. А пар из ноздрей валит, а пена у губ пузырится, а глаза еще красные, но в них уже не гнев, а покорность.

И это все. Учеба закончена. Теперь только дайте волам отдохнуть, а потом подносите ярмо, а уж головы они сами подставят. Бить их больше не надо. Не стоят они того. Да и бесполезно. Бежать все равно не будут, а шагом потащат столько, сколько осилят. Идут себе тихо-мирно, только покрикивай „Цоб“ или „цобэ“, или „цоб-цобэ“, это смотря чего вы от них хотите.

А между прочим, самого главного я еще не сказал. Я не сказал того, что „цоб“ и „цобэ“ это, во-

первых, команды. Причем, довольно простые. Если говоришь „цоб“, волы поворачивают налево, „цобэ“ — направо, „цоб-цобэ“ — идут прямо. Вторых, Цоб и Цобэ — это не только команды, а еще имена. У всех волов есть только два имени: Цоб и Цобэ. Если опять же сравнить с лошадьми, то тех называют обычно как-нибудь ласково и по-разному. Буран, Тюльпан, Русалка, Сагайдак, Пулька, Крылатка, Весенняя — вот имена из нашей колхозной конюшни. И еще мерин по имени Ворошилов.

Так вот у волов никаких таких Буранов, Русалок и Ворошиловых не бывает. У них только или Цоб, или Цобэ, третьего не дано. И к этому пора добавить, что Цоб и Цобэ — не только имена, а и как бы исполняемые ими функции. И положение, которое они всегда занимают. А именно: Цоб в упряжке всегда стоит справа, а Цобэ, наоборот, слева. В таком порядке все свое дело всегда понимают. Погонщик знает, что если надо повернуть налево, то следует стукнуть (несильно) стоящего справа Цоба и сказать ему: „цоб!“ Тогда Цоб напряжется и толкнет плечом стоящего от него слева Цобэ, тот подчинится и волы повернут налево. А если направо, то Цобэ толкнет Цоба — и все получится наоборот. Точный, ясный, раз и навсегда заведенный порядок. Если его соблюдать, волы ведут себя безропотно и безупречно. А вот если нарушить порядок, то этого могут не потерпеть.

Именно такого нарушения я и оказался свидетелем, когда однажды мы, ученики, собрались после школы домой. Кому-то из наших умных возниц пришло в голову ради шутки поменять

перед дорогой из школы Цобэ и Цоба местами. Сказано — сделано. Запрягли, поехали.

Уже когда мы садились в двуколку, было видно, что волы проявляют какое-то недовольство, нервозность. Смотрят друг на друга, перебирают ногами, мотают рогами, дрожат. Ну, сначала как-то двинулись и вроде бы ничего. Доехали до угла школы, а там как раз поворот направо. Тарас стукнул хворостиной левого быка и говорит ему: „Цобэ!“ А тот не понимает, потому что он не Цобэ, а Цоб. Но его стукнули, и он пытается толкнуть того, кто стоит от него слева, а слева от него как раз никого нет. А Цобэ, слыша свое имя, пытается толкнуть того, кто стоит справа, но справа опять-таки никого. Потянули они друг друга туда-сюда, никакого поворота не получилось. Дмитро у Тараса хворостину выхватил, неправильно, говорит, управляешь, раз уж запрягли наоборот, значит, наоборот надо и говорить. Хочешь повернуть направо, говори „цоб!“, хочешь — налево, кричи „цобэ!“. Стукнул он опять Цоба по спине и говорит ему „цоб!“, считая, что тот теперь вправо будет толкаться. Цоб направо не идет и опять толкает влево того, кого слева нет. А Цобэ хотя и упирается, но настоящего сопротивления оказать не может, он привык, чтобы его толкали, а не тянули. В результате двуколка наша поворачивает не направо, а как раз налево, как и полагается при команде „цоб“, но при этом делает оборот градусов на триста шестьдесят с лишним. „Вот дурень! — рассердился Тарас. — Совсем скотину запутал. Дывысь як треба“. Стукнул он палкой Цобэ и сказал „цобэ!“ Цобэ сначала подчинился, пошел

вправо, а там никого нет, тогда нажал на Цоба, опять стали крутить налево. А направо — хоть так, хоть так — не идут. Дмитро соскочил на землю, уперся в шею Цоба двумя руками. „Цобэ! — говорит ему. — Твою мать, Цобэ!“ А Цоб свое дело знает и имя. И знает, что не для того он поставлен, чтобы толкаться вправо, а для того, чтобы толкаться влево. А Дмитро все в шею его упирается. И тут Цоб не выдержал, мотнул башкой и зацепил рогом на Дмитро телогрейку. Дмитро хотел его кулаком по морде, а Цоб развернулся и, чуть Цобэ с ног не свалив, пошел на Дмитро на таран. Дмитро прыгнул в сторону, как кенгуру. Цоб хотел и дальше за ним гнаться, но тут его осилил Цобэ и вся упряжка пошла направо. Волы двуколкой нашей чей-то плетень зацепили и частично его свалили, причем свалили с треском и треска этого сами же испугались. А потом от всего происшедшего не порядка вовсе озверели и понеслись. Мне повезло, я был среди тех, кто за борт вылетел сразу. Но другие еще держались. А волы бежали по хутору не хуже самых резвых лошадей. Бежали, шарахаясь то вправо, то влево. При этом снесли угол школьной завалинки, растоптали попавшего под ноги индюка, потом повернули и устремились прямо к колхозной конторе. Бухгалтер по фамилии Рыба, как раз вышедший на крыльцо, кинулся обратно и захлопнул за собой дверь. Но испугался он зря — у самого крыльца волы крутанули вправо, перевернули брошенную посреди дороги сенокосилку, даже протащили ее немного с собой (потом она оторвалась), выскочили в степь и понеслись по ней зиг-

загами, разбрасывая в разные стороны своих пассажиров. Когда двуколка перевернулась, в ней уже никого, к счастью, не было. Волы в таком перевернутом виде, подняв тучу пыли, дотащили двуколку до соломенной скирды, в которую с ходу уперлись, и, не понимая, как развернуться, стали бодать солому рогами. Тарас и Дмитро, до смерти перепуганные, с трудом собрали раненых и ушибленных детей, а потом осторожно приблизились к волам. Те все еще проявляли признаки агрессивности, но наши переростки были переростки деревенские. Они в арифметике и грамматике разбирались не очень, но с животными управляться умели. Они волов кое-как перепрягли, и, удивительное дело, те опять стали тем, кем и были до этого: безропотной и покорной скотиной, которая, если не нарушать порядок, ведет себя тихо, мирно и смирно. Не без опаски мы заняли свои места в двуколке, Тарас стукнул палкой Цоба и сказал ему „цоб“, а затем стукнул палкой Цобэ и сказал „цобэ“. Волы поняли, что теперь все правильно, порядок восстановлен, каждый на своем месте, каждый при своем имени и — пошли вперед, напрягая свои натертые шеи, мерно перебирая ногами, передними, просто грязными, и задними, обляпанными во много слоев навозом.

Змея

После истории с перепряжкой волов колхозное начальство их у нас отняло, решив, что мы не большие баре, можем в школу ходить пешком. Что мы и стали делать. Семь километров туда,

семь — обратно, это для девятилетнего городского мальчика расстояние серьезное. Чаще всего я ходил вместе с другими, но иногда почему-то один.

Со всеми еще кое-как, идешь, болтаешь, толкаешься — время течет незаметно. А один плетешься — дорога, кажется, не кончается никогда.

Вышел я как-то из школы после обеда. Солнце еще высоко, погода теплая, путь далекий. Но зато по дороге баштан колхозный. А там арбузы или, по-тамошнему, кавуны. Не очень большие, величиной с человеческую голову. Некоторые уже созрели, а иные еще нет. А как отличить спелые от неспелых, не знаю. Вот те же Тарас или Дмитро отличают. Приложат к арбузу ухо, постучат пальцем и только после этого сорвут или оставят. Я попробовал поступить так же. Выбрал арбуз покрупнее, постучал пальцем, вроде как раз то, что нужно. Вытащил арбуз на край баштана и о дороге — она твердая — расколол. Арбуз внутри оказался белый. Вытащил второй. То же самое. Я их уже пару дюжин наколотил, когда раздался голос свыше: „Эй, малой! Ты шо тут робишь?“

Я поднял голову и увидел: на дороге рядом со мной стоит бидарка (двуколка), а в ней толстый, как бочка, бригадир Пупик с кнутом в руках. Его серая в яблоках лошадь Пулька косит огненным глазом то на меня, то на бригадира, как бы спрашивая: „Ну что мы с ним будем делать?“

Я перепугался до смерти. Один извозчик еще в Ленинабаде меня однажды за то, что я сзади за его фэзтон цеплялся, протянул кнутом, и я запомнил, что это больно. Я смотрел снизу вверх на бригадира и молчал, не зная, что сказать, как

оправдаться. Если бы я один арбуз разбил или два, а то наколотил их тут целую кучу. Бригадир, не дождавшись ответа на первый вопрос, задал второй: „Дэ идешь?“ Не зная местного языка, я догадался, что „дэ“ это значит „где“, и сказал, что здесь иду, по дороге. Он подумал и спросил: „А ты чей?“ Я понял вопрос буквально и буквально ответил: „Мамин и папин“. Он снова задумался, но, видимо, понял, что тут без переводчика не обойтись, закричал лошади: „Но-о!“ — и свистнул, не касаясь ее, кнутом. Пулька с места в карьер рванула и понесла бидарку вдаль, подняв за собой тучу пыли.

Оставшись один, я мог бы продолжить уничтожение баштанного урожая, но не решился и место преступления торопливо покинул.

Дорога была скучная, длинная и вилась, как река, поворачивая то туда, то сюда, сначала вдоль баштана, а потом втекла в поле, на котором только что скосили пшеницу. Мне не нравилось, что дорога виляет, это делало ее длиннее, чем она должна была быть. Если бы я был здесь начальником, я бы всем приказал ездить только прямо по линеечке. Но поскольку до начальника я еще не дорос, а вилять вместе с дорогой мне не хотелось, я покинул ее и пошел прямо через поле по колючей стерне между копнами пшеничной соломы, оставшимися после недавней жатвы. В других местах (это я видел потом) жали хлеб серпами, стебли связывали в снопы, снопы складывали стоймя в суслоны, а здесь протащенная через молотилку комбайна мятая солома была сбита в копны, разложенные ровными рядами по полю, слов-

но большие, круглые, лохматые шапки. Я проголодался и в предвкушении ожидающего меня обеда шел чем дальше, тем быстрее. Сначала между копнами, а потом прямо через них, пиная их ногами и разбрасывая.

Раз! Махнул ногой, и копна разлетелась. Раз! — разлетелась вторая. Ра-аз! Я копну развалил, а она вдруг зашипела, как масло на сковороде, из нее вывернулась черная спираль, которая, повернув ко мне маленькую головку с очень злобными глазками, высунула длинный язык и зашипела еще сильнее.

Приходилось мне до этого и потом испытывать страх в разных страшных случаях, но такого ужаса я не знал никогда.

Я сначала оцепенел, потом заорал на всю степь „мама!“ и кинулся бежать. Я бежал, стерня шелестела под ногами, мне казалось, что все змеи собрались, шипят, гонятся за мной и вот-вот догонят. Я кричал, у меня иссякали силы, кричать я не мог и не кричать не мог. Я бежал неизвестно куда и очень долго, до тех пор, пока не свалился без сил. А когда свалился, то подумал, что вот они, змеи, все сейчас ко мне подползут и все будут меня, маленького, несчастного, жалить и жалить, и я умру, как мне обещала бабушка. Но у меня уже не было сил бояться, и я решил, пусть ползут, пусть жалят, только скорее.

Пока я ждал смерти, солнце опустилось к горизонту, большое, красное, предвещавшее по бабушкиным приметам ветреную погоду. Я понял, что, раз я не умер, надо вставать и идти. Но я не знал, куда именно. Степь да степь кругом, дороги не

видно и ничего, кроме бесконечного ряда копен, такого, что б выделялось: ни дерева, ни дома, ни дыма. Я пошел за солнцем, а оно от меня уходило быстро и равнодушно. Оно опустилось за горизонт, и степь потемнела, лишив меня всякого представления о том, куда я должен идти. Опять вернулся страх. Теперь я боялся змей, волков, шакалов, чертей и чего угодно.

Я шел и ревел монотонно, как дождь.

И было отчего. Городскому мальчику остаться одному ночью в степи, разве может быть что страшнее?

Я шел, ревел и вдруг заметил, что там где-то впереди, очень далеко, что-то как будто светится. Я прибавил шаг, потом побежал и в конце концов с диким ревом вбежал на колхозный ток, где возле горы намолоченного зерна несколько комбайнов стояли почему-то на месте и светили всеми своими фарами. Там же я увидел бригадирскую бидарку и самого бригадира Пупика.

— Эй, малой! — закричал он, потрясенный моим появлением. — Звидкиля ж ты узався?

Теперь я его понимал. И догадался, что „звидкиля“ — это значит „откуда“. Я ему сказал, что на меня напала змея. Он слушал меня с удивлением. А потом посадил рядом с собой в бидарку, и Пулька резво понесла нас в сторону хутора.

Там уже был, конечно, переполох. Были опрошены все вернувшиеся из школы ученики, но они ничего путного сказать не могли. Тетя Аня пыталась найти бригадира, чтобы организовать поиски, но не нашла, потому что бригадир был на току.

А потом был мой рассказ, как я шел, как змея

выскочила, как завертелась, как зашипела. Я расписал ее самыми страшными словами, какие были в запасе. Пасть у змеи большая, язык длинный, глаза злые, сама она черная, а над глазами такие вот такие страшные оранжевые кружочки.

— Кружочки? — переспросил Сева. — Оранжевые?

И они с Витей оба покатались со смеху. И долго еще смеялись, прежде чем объяснили, что эта змея была обыкновенным и безобидным ужом.

Чем я был очень смущен и разочарован. Когда все прошло, хотелось, чтобы змея была настоящая. Но какая б она ни была, тетя Аня решила в школу меня не пускать, и на этом образование мое прервалось.

Элиза Барская. Нежданная гостья

Звонят в дверь. Открываю. Передо мной с потертым, лоснящимся от жира, покрытым какой-то коростой мужским портфелем стоит старая женщина с тем цветом лица, который называют землистым, и с свалившимися воспаленными и жалкими еврейскими глазами. Одета немного странно. Дубленка дорогая и новая, а юбка из грубой дерюги, ветхая, штопаная. Сапоги стоптаны на разные стороны, и похоже, что промокают.

— Ты одна?

Она недолюбливает моего мужа и предпочитает приходить в его отсутствие.

— Одна, одна. Заходи, Раюша, — говорю я

торопливо и немного заискивая, хотя не знаю, кто из нас перед кем виноват.

Она вешает дубленку на вешалку и смотрит на недавно натертый паркетный пол.

— Мне разуться?

— Ну что ты! — говорю я, хотя, если бы это была не она, я бы сказала, конечно, разуться.

Все-таки она не смеет полностью воспользоваться моим разрешением и долго вытирает ноги о резиновый коврик.

Я провожу ее на кухню и бросаю взгляд в окно. Далеко за пределами нашего двора стоит, воровато прижавшись к зеленому строительному забору, серая „Волга“, и какой-то человек в длинном мешковатом пальто идет вдоль забора, нагнувшись на глаза темную шапку. На углу топчется второй, точно в таком же пальто и в такой же шапке. А еще один или два сидят в машине. Я не могу видеть, что происходит на другой стороне дома, но там, конечно, стоит машина (раз здесь „Волга“, значит там, скорее всего, „Жигули“), и ее экипаж тоже занял ключевые позиции.

— Стоят? — перехватив мой взгляд, спрашивает Рая.

— Сидят и ходят.

— Не обращай внимания, тебе они не опасны.

— А тебе?

— Я к ним привыкла.

Она забирается в угол между стеной и столом и оттуда разглядывает кухню.

— А у тебя здесь уютно. Холодильник новый. Финский?

Я абсолютно уверена, что она ничего плохого сказать не хотела, но я слышу упрек, и мне стыдно, что у меня хорошая квартира, натертые полы, светлая кухня, новый холодильник, муж не в тюрьме, а сама я здорова и даже по некоторым признакам видно, что готовлюсь сегодня к приему гостей. Поэтому я спущусь.

— Что будешь? Чай? Кофе?

— Кофе.

— С коньяком хочешь?

— Давай с коньяком. Ты знаешь, я все-таки сниму сапоги, ноги устали.

Она сбрасывает сапоги под стол и поджимает ноги под себя. Я достану из шкафчика полбутылки „Курвуазье“, муж привез на той неделе из командировки. Он был в какой-то сибирской деревне, там в сельпо не нашлось ничего, кроме мотоциклов „Ковровец“ и коньяка „Курвуазье“, который, конечно, никто не брал, не только из-за цены, но и потому, что он, как сказала продавщица, клопами пахнет. Почему-то у наших людей вообще есть представление, что коньяк обязательно пахнет клопами и, чем выше сорт, тем клопинее. И вообще странна эта чувствительность к клопину запаху в народе, который готов выпить все от денатурата до средства для ращения волос.

Из холодильника извлекаю кусок старого торта, сыр швейцарский костромского приготовления и швейцарский настоящий шоколад „Тоблерон“ с орехами.

— Ну, что у вас? — спрашивает Рая. — Я слышала, Василий (она моего мужа всегда называет полным именем) премию получил.

— Да, ему присудили, — киваю я, отводя глаза. — Но пока только в газете напечатали, а денег еще не дали.

Мне об этой премии так же стыдно говорить, как и о холодильнике.

— А что у тебя? — спрашиваю, помешивая кофе, который вот-вот закипит.

— Я только что из Потьмы.

Рука у меня невольно дернулась.

— Да? А я не знала.

— Ты разве радио не слушаешь? — Она имеет в виду, конечно, иностранное радио.

— Последнее время — нет. Летом на даче я привыкла слушать „Свободу“, а здесь ее слушат, а Би-Би-Си...

— Ты не оправдывайся, я и сама не слушаю. Знаешь, всем все надоело. Без толку. В общем, у меня с ним было свидание. Первый раз за два года дали три дня.

Снимаю кофе с огня, разливаю по чашкам и сама себе удивляюсь — рука не дрожит.

— Тебе коньяк в кофе или отдельно?

— А как лучше?

— Лучше — как больше нравится. Я предпочитаю отдельно. А можно и так, и так.

Говорю и сама себя ненавижу, чувствуя в собственном голосе невыносимую фальшь. Говорю так, как будто всегда пью кофе с коньяком и

знаю доподлинно все тонкости того, что с чем пьют и как. Что на самом деле вовсе не так.

Отхлебываю коньяк, прикасаюсь к кофе.

— Ну, рассказывай.

Она не только рассказывает, но и показывает. Достает из портфеля и выкладывает на стол кучу копий своих писем Председателю Президиума Верховного Совета СССР (он же Генеральный секретарь ЦК КПСС, но эту инстанцию все уважающие себя диссиденты игнорируют), Председателю КГБ, Генеральному прокурору, министру внутренних дел, Верховному судье, прокурору Мордовской АССР, начальнику лагеря, Жоржу Марше, Гэсу Холлу, Генеральному секретарю ООН, в редакцию газеты „Уни-та“, в редакцию „Монд“, начальнику отделения милиции. Письма, бланки ответов, почтовые квитанции, уведомления о вручении. Сотни жалоб и заявлений написаны были для того, чтобы добиться свидания. В это время он тоже писал письма, жалобы, протесты, сидел в карцере и объявлял голодовки. Из этого рая, как говорят в народе, не вышло бы ничего, если бы ей не удалось через одного выкинутого на Запад диссидента передать письмо американскому сенатору, который как раз собирался в Москву и для приумножения политического капитала нуждался в каком-нибудь благом деянии по линии прав человека и разделенных семей. Сенатор был по взглядам либерал и не то чтобы друг, но, можно сказать, симпатизант Советского Союза. Его передовые просвещенные взгляды на сей счет были известны, по-

чему он по приезде в Москву был немедленно принят в Кремле Самим, который произвел на сенатора сильное впечатление тем, что вовсе не угрожал ядерной войной, а рассказывал о своем личном участии во второй мировой войне, о полученном там ранении, о жертвах, понесенных на той войне, и о своем вместе со всеми людьми стремлении к прочному миру. Сенатор в ответ заверил своего собеседника, что наиболее дальновидные (вроде него самого) политики Соединенных Штатов нисколько не сомневаются в миролюбии советских людей и надеются на полное разоружение. Эти политики готовы делом добиваться сокращения ракетных установок и ядерных запасов, готовы способствовать расширению торговли зерном, но некоторые действия советского правительства в сфере прав человека вызывают на Западе беспокойство и порождают определенное недоумение в кругах американской общественности. К этим действиям относятся: преследование людей по политическим и религиозным мотивам, ограничения права на эмиграцию, использование психиатрии в карательных целях и негуманное обращение с политическими заключенными. И тут как раз сенатор привел в пример Раинового мужа, которому лагерная администрация без достаточных причин уже шестой раз отказывает в свидании с женой. Сенатор был собой тоже доволен, оценив себя как весьма ловкого дипломата. Хозяин Кремля, хотя и произнес дежурные фразы насчет невмешательства во внутренние дела и сказал, что зерно мы в

крайнем случае купим в Аргентине, но все-таки на некоторые вопросы ответил положительно. И о Королеве сказал, что он, собственно говоря, не знает, в чем там дело, но слышал, что Королев ведет себя нехорошо, не выполняет производственные задания, нарушает режим и зверски избивает лагерную администрацию. И вообще Королевым занимаются компетентные органы, не верить которым у него нет никаких оснований, но все-таки он сам постарается что-нибудь узнать и по возможности как-то помочь. Видимо, он действительно постарался, потому что Рая в скором времени получила открытку от начальника лагеря, в которой сообщалось, что ей разрешено свидание, и перечислялись вещи и продукты (наименование и количество), разрешенные к передаче. Она собрала все в пределах нормы: две палки колбасы, пачку сахара, пачку чая, пачку печенья, свитер и валенки и — отправилась. Там над ней еще несколько дней и с удовольствием поизмывались. Она жила в Доме колхозника и каждый день приходила к воротам лагеря, но то начальник куда-то уехал (и конечно, никто не знал, когда вернется), то в лагере объявили карантин, но вдруг все состоялось в одну минуту: карантин кончился, начальник вернулся, ей устроили сначала подробный шмон, раздели догола, заглянули во все дырки и только после этого пустили к мужу.

— Ну, и?.. — спросила я нетерпеливо.

— Что и, Лизка? Это не он, не он, понимаешь, не он. Глубокий дряхлый старик. Худой,

как палец, череп бритый, глаза выпученные, зубов половина. Но страшно не это. Страшно то, что он мне совсем чужой. Совсем-совсем. Я с ним не спала, а исполняла долг. Хотя ты знаешь, у него, как ни странно, несмотря на то, что он так постарел и ослаб... Извини, тебе это, может быть, неприятно.

— Ничего, я это переживу.

— Он там и в этом смысле оголодал, и я делала все, что могла, но я его не хотела, и он это почувствовал. Нет, он ничего не сказал, он же благородный. Но ночью, когда я проснулась, он плакал. Я утешала его, как могла. Я ему врала не только словами, но и самой собой. И в конце концов так соврала, что он даже поверил. Но для себя-то я знаю, что я больше его не люблю. Нет, пока он в тюрьме, я его не брошу, но... — Она начинает плакать и что-то бормочет. — Извини... я сейчас перестану... не пойму даже, что со мной. Не помню, когда я плакала последний раз... Извини, извини... Это сейчас пройдет.

Но это не проходит, она давится в рыданиях, плечи дергаются, а лицо становится еще более некрасивым и старым.

Я уйду к себе в комнату и там сижу, обхватив руками голову. Но все же не плачу. Потом возвращаясь и гоню ее в ванную умыться. После этого она выглядит лучше, но глаза еще красные. Все же она успокоилась.

— Лиза! — говорит и смотрит виновато. — Можно, я твоей помадой накрасю губы?

Я смотрю на нее, не понимая.

— Что?

Она пугается, что мне жалко помады, и просительно говорит, что она только чуть-чуть, тонким слоем.

— У тебя время есть? — спрашиваю я. — Полчаса найдется?

— У меня есть два часа. Через два часа я встречаюсь с корреспондентом „Нью-Йорк Таймс“ напротив кукольного театра.

— Два часа нам хватит. За глаза. А ну-ка раздевайся и полезай в ванную. Ты почему не моешься? У тебя что, не только телефон, но и воду отключили?

— Не отключили, но я не хочу. Нет настроения.

— Ничего, сейчас полезешь без настроения. А ну-ка, скидывай все!

Я иду в ванную, откручиваю кран. Из пластмассовой фляги выдавливаю зеленую мыльную жидкость, бадусан гэдээровского происхождения с хвойным экстрактом. Сразу запахло сосновым бором. Пена взбивается, как гоголь-моголь. Входит, стыдливо ежась, голая Раиса. Я смотрю на нее равнодушным взглядом. Тело и сейчас у нее крепкое, гладкое, молодое, не знавшее никаких физических упражнений, кроме секса. Я запитываю ее в пену и начинаю купать, как ребенка. Она радуется, брызгается, визжит, что мыло попало в глаза.

— Ничего, — говорю, — потерпишь. Поднимайся!

Тру ей спину жесткой мочалкой. Она орет, что больно.

— Ничего, жива останешься.

Спина у нее и вовсе девчоночья, а жопка маленькая, наверное, помещалась у него в одной ладони. Мне вдруг хочется ее ущипнуть, чтобы она заорала по-настоящему, но это желание мимолетно и тут же проходит.

— Ну, дальше ты сама. Вот тебе мочалка, вот мыло, и не талтурь.

Вышла на кухню. Там, на стуле, висят ее убогие шмотки. Колготки рваные, трусы пропахли мочой — в мусоропровод. Юбка засаленная и потертая — туда же. Лифчик грязный и потный, но мой ей не подойдет. Ничего, у нее сиськи маленькие, как кулачки, обойдется без лифчика. В мусор!

Открыла стенной шкаф, у меня там и трусики и колготки ее размера, я недавно купила для Люськи. Белый свитер великоват, но подойдет и он. А юбка моя собственная. Мне Нинка купила ее в Нью-Йорке в самом лучшем, как она утверждает (и я верю, не врет), магазине на Пятой авеню. В знаменитом магазине, который даже у нас в каком-то кино проскочил, называется Сакс. У Нинки, когда она еще только эмигрировала, с этим Саксом вышел забавный конфуз. Ища этот магазин, она шла по Манхеттену, молодая, красивая, элегантная, с ребенком (Шурику было четыре года), и, остановив какого-то респектабельного господина, спросила, не знает ли он, где тут поблизости секс-шоп. Тот, как она мне писала, остановился, словно стукнутый молнией, но потом догадался, что она пыталась произнести по-аме-

рикански „Сэкс“, рассмеялся и показал. Сакс — это один из самых дорогих универмагов мира, и именно там Нинка приобрела мне эту юбку, которую я надевала только один раз и даже сегодня думала, не надеть ли. На секунду мне становится жалко юбки. В конце концов, ей сойдет что-нибудь попроще. Но я тут же устыдилась этого чувства. Раз жалко, значит, именно ее и отдам. Правда, юбка ей великовата, но она с поясом, для начала можно утянуть, а потом Райка сама подушьет. Она не то, что я, безрукая, все умеет, если захочет.

Через полчаса мы опять сидим и пьем кофе с коньяком. Передо мной молодая привлекательная женщина, на шесть лет моложе меня. Волосы высушены феном и струятся, глаза, губы, ногти слегка подкрашены. Белый свитер ей, смуглой, очень к лицу. Да, у ее мужа была губа не дура.

Мы опять говорим о нем. Райка хочет знать ответ на вопрос: зачем он пошел на такие лишения?

— Зачем и для кого? Для народа? Для человечества?

— Не тебе задавать мне этот вопрос, — говорю я. — Ты знаешь, для кого он на это пошел. Она только на секунду смущается.

— Извини, что я об этом... Но ты, если подумаешь, то согласишься, что он всегда был настроен на то, чтобы думать о народе и человечестве. Просто это принимало разные формы. И его путь был неизбежен. Он в любом случае нашел бы повод пойти на то, на что пошел. А для чего? Для какой великой пользы?

*И кто ему за это скажет спасибо? Не пропадет наш скорбный труд? Пропадет. Жертвы не напрасны? Напрасны. У тебя сигареты есть? „Саратoga“? Никогда не слыхала такого названия. Американские? Ничего, неплохие. Вот я еду в метро, смотрю на людей и думаю: неужели они все живут нормальной жизнью, ходят на работу, получают зарплату, ездят в отпуск, влюбляются? И за ними никто не следит, не ходит, никто их не допрашивает, не подвергает приводу, не обыскивает. Я как тот генерал из анекдота, знаешь? Который спрашивает своего адъютанта: а что, разве еще ..утся?** Слушай, а у тебя с Василием все хорошо?

— А что бы ты хотела от меня услышать?

— Я бы хотела, чтоб у тебя все было хорошо. Правда. Так вот, знаешь, насчет того, кому это нужно. Никому это не нужно. Кроме вот этих, которые там стоят. Им нужно. Им нужны борцы за правду, за справедливость, враги народа, чтобы было за кем бегать и получать зарплату, премии, надбавку за опасность и работу на открытом воздухе. А больше никому не нужно. Ты знаешь, ты можешь думать обо мне, что хочешь, но я ненавижу эту страну и этот народ.

— Опомнись, Раечка, — говорю я ей. — Страна — это одно, а народ — другое. Страна — это просто географическое пространство, леса, поля, реки, моря, озера. А народ... При чем тут народ?

— А кто же причем? Эти люди, которые в

*См. примечание на стр. 244.

очередях бубнят: зажрались, в войну было хуже — они кто, приезжие, что ли? А тетка моя в Воронеже, старая большевичка, мне говорит: в Воронеже перебои с хлебом оттого, что крестьяне кормят хлебом свиней. Я ее спрашиваю: а где ж эти свиньи, которые наш хлеб пожирают, где они? А у нее и на это ответ: слишком много кошек и собак развели, они все мясо съели. Вот смотрю и думаю, ну за что же мой несчастный старый дурак жизнь свою отдает? Ради этих людей? Но они же не хотят его жертв, они жили в свинстве, живут в свинстве и дальше хотят жить в свинстве. Но это в конце концов их право. И они собою довольны.

— Ты не права, Раюша, — возражаю я мягко. — Они не довольны. Они забиты, запуганы, унижены и несчастны. Они никогда не знали нормальной жизни, и страх говорит им, что надо довольствоваться тем, что есть, лишь бы не было хуже. Но есть же и другие, ты сама знаешь, есть правдолюбцы, которые ходят и выражают открыто...

— ...Девяносто девять процентов законченные психи. На Западе вокруг них поднимают шум, и там, может быть, правда, таких насильно не лечат, но они все-таки действительно сдвинутые, с бредом переустройства, манией величия и преследования. А все остальные разве не народ? Партия и КГБ из кого состоят? Из инопланетян? Может, их нам из Франции выписали? А эти тысячи, которые каждый день выстаивают очереди и давятся до обмороков, чтобы взглянуть на высочшее чучело, или выходят по праздникам на Красную площадь и

из своих тел выкладывают околесицу — СЛАВА КПСС? Они не народ? Но где же тогда народ? Где он? Куда спрятался?

— Только не плачь, — предупреждаю я, — а то вся наша работа пойдет насмарку.

— Не бойся, я сейчас злая, а от злости я никогда не плачу. У тебя очень вкусные сигареты. Можно еще?

Сигарету она держит по-мужски, большим и указательным пальцами.

— А вот, — приступает к новому разоблачению, — еще говорят, что русские — открытые, приветливые, доброжелательные.

— А разве это не так?

— А разве так? Я, когда от лагеря к станции шла, встретила одну дуру с ребенком. Какой у вас красивый, говорю, мальчик. Так она что-то пробурчала и кинулась со всех ног бежать, и знаешь почему? Потому что у меня глаза черные, сглажу. Да везде, на каждом шагу, ищут крамолу, тайные письма, кабалистические знаки, вредителей. Моя сестра достала ребенку банку швейцарского сухого молока, так ее врачиха пришила в ужас. Как? Что? Разве можно такое ребенку? Это же у них сделано, вы не знаете, какую они отраву могут подмешать. А вчера своими глазами видела, на улице Горького простые советские люди схватили и волокли в милицию иностранца. Шпион, фотографировал... Что, ты думаешь, он фотографировал?

— Очередь в Елисейском.

— Если бы! Он фотографировал здание Центрального телеграфа.

Докурив последнюю сигарету, поднимается.

— Ну вот. Ты меня пригрела, обласкала, подкрасила, теперь смерть как не хочется опять выходить на улицу и вести за собой толпу этих ублюдков.

Я ее понимаю, но ничем помочь не могу.

Она уходит, я подхожу к окну. Мне не видно, как она выходит из дому, но я слышу, как остановился лифт. Выйдя, она пойдет сразу направо к арке, и я ее так и не увижу. Зато я вижу, как человек в длинном пальто торопливо идет к машине, а машина движется ему навстречу, подбирает его и потом второго, что стоял на углу, и исчезает за поворотом.

Ну вот, теперь можно и мне расслабиться. Я наливаю себе полстакана коньяку, выпиваю и, положив голову на руки, реву, как корова. Дело в том, что этот страшный, бритый, беззубый старик, к которому Раиса ездила в лагерь, и есть мой первый муж Егор Королев.

Да, скифы мы, да, азиаты мы...

В конце сентября 1956 года Хрущев, решив перестроить столицу, позволил строительным организациям временно прописывать немосквичей. В эту лазейку ринулись многие, в том числе и В.В., который очень разочаровал руководство ПМС-12, не проработав там и двух месяцев.

В конце концов устроился он на работу в Бауманский ремонтно-строительный трест и получил направление в общежитие — Доброслободский переулок, 22. Это был четырехэтажный дом, по-

строенный под военный госпиталь, но, по причине непрохождения какого-то испытания, отданный под жилье бессемейным строителям.

Внутренность общежития, прямо начиная от входа, была вошедшим одобрена. Широкий коридор, новый линолеум на полах, свежая краска на стенах. В красном уголке телевизор КВН с большой наливной линзой. Все чисто и прибрано, словно перед приходом высокой комиссии.

По просторной каменной лестнице он поднялся на второй этаж и нашел комнату 8.

Приоткрыл дверь и отпрянул. Летевшая навстречу бутылка просвистела мимо левого уха, пересекла коридор, врезалась в стену и звонкими брызгами осыпалась на пол.

В.В. удивился и увидел перед собой смущенное, но не очень, лицо господина лет пятидесяти, в матросской тельняшке и холщовых штанах, одутловатого, лысого, с густыми кустистыми бровями.

— Извините, — сказал господин, — это я не в вас.

— Я так и подумал, — сказал В.В., уже заметив отскочившего в сторону другого человека, примерно того же возраста, что и первый, но гораздо щуплее и с мелкими чертами лица.

Появление на месте действия нового персонажа повлияло на воюющих благотворно: щуплый беспрепятственно выскользнул в коридор, а лысый ушел в угол и сел на кровать, перед которой на табуретке, аккуратно покрытой газетным листом, стояли початая четвертинка, граненый стакан и

лежали нож, хлеб, плавленый сырок и нарезанный ровными пластинками лук.

В.В. огляделся. Здесь тоже было неплохо. Комната просторная, тридцать два (так сказал комендант) квадратных метра, два больших окна с широкими белыми подоконниками, восемь новых металлических кроватей с никелированными спинками и тумбочками между ними, кухонный стол, четыре табуретки, включая и ту, которую лысый в тельняшке использовал вместо стола. Комната своими удобствами заметно превосходила телячий вагон на станции Панки, в котором В.В. последнее время пришлось обитать, и была лучше всех обжитых им в прошлом казарм, не считая той, что в городе Бжег на Одере: там солдаты жили в небольших уютных комнатах по два, по три человека.

В направлении, выписанном Евсиковым Ф.Ф., была указана кровать вторая слева. Это было как раз рядом с лысым в тельняшке. В.В. кинул чемодан на кровать, раскрыл его, чтобы самое необходимое спрятать в тумбочку.

Лысый тем временем налил себе немного водки, посмотрел стакан на свет, долил еще немного, положил на ломтик хлеба кусочек сыра, на него — пластинку лука, поднес ко рту стакан, подышал в него, как будто хотел согреть содержимое, и сказал:

— Ну, будь здоров, Володька!

В.В. удивился, что лысый уже его знает, но сказал:

— Спасибо.

— За что? — Не донеся стакана до рта, сосед смотрел на него недоуменно.

— Что за меня пьете, — сказал В.В.

— А я не за вас. Я за себя. — И подышавши еще в стакан, сказал нервно и торопливо: — Ну-ну-ну, поехали!

После чего отмеренную порцию выпил, крикнул, выдохнул воздух и не спеша принялся за свой бутерброд.

В.В. выложил на одеяло заветную тетрадь, бритвенные принадлежности, зубной порошок, щетку, мыло, запихнул чемодан под кровать и открыл тумбочку, но она оказалась полностью забита. Банки со сгущенным молоком, с бычками в томате, какие-то кульки и пакеты.

— Это все ваше? — спросил В.В. — Вы не могли бы мне освободить хотя бы одну полку?

Лысый посмотрел недоуменно.

— Вы разве не видите, что я занят приемом пищи?

В.В. смутился.

— Я вас не тороплю.

— Если не торопите, тогда другое дело.

Он налил себе еще водки, опять посмотрел на свет, подумал, добавил, поставил стакан на место и посмотрел на гостя внимательно.

— Кем вы к нам оформились? — Учтивостью обращения лысый давал понять, что он человек интеллигентный.

Дабы показать и себя шитым не лыком, В.В. ответил, что оформился плотником, но не надолго,

пока не устроится более прочно, а вообще в Москву он приехал не для того, чтобы плотничать.

— А для чего же?

— Я немного пишу стихи.

— Поэт? — спросил сосед, выпыхивая на старинный манер букву „п“, словно пар из паровой трубы.

В.В. за время пребывания в Москве уже несколько раз называли поэтом, и он решил, что имеет право обозначать себя этим титулом.

— Да, поэт, — согласился он.

— Ну-ну. — Сосед поднял стакан и, опять сам себе пожелав здоровья, сказал: — Пей, Володька, пей! У тебя видишь теперь какое общество! Оо-о! Ну-ну-ну, поехал! У-ух!

Поухал, подышал, побрякал, спросил:

— Вот эти стихи: „Я ломаю скалистые скалы в час отлива на илистом дне...“ Вы не подскажете, откуда они?

Возникла для В.В. сложная ситуация.

— Что-то знакомое, — сказал он, теряясь и пытаясь выкрутиться, как на экзамене. — Гейне? — задал он наводящий вопрос.

— Нет, молодой человек, — сказал печально Володька, — не Гейне. — И готовя себе новый бутерброд, бормотал: — Нет. Увы. Отнюдь. Не Гейне. Нет. — Посмотрел на новичка с сочувствием. — Это не Гейне, молодой человек, а Александр Александрович Блок, который про нас с вами сказал: „Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами“. А вы, молодой человек, еще не поэт, а дилетант.

Элиза Барская. Репетиция

А еще у меня сегодня собеседование в райкоме, где комиссия старых большевиков будет интересоваться причиной моего желания поехать в Англию, политическими взглядами и подробностями моей личной жизни.

По этому поводу был разговор с Антоном.

— Главное, старуха, — сказал он, — не волноваться, раскидывать чернуху и врать им в глаза. Они это любят. Хочешь, отрепетируем? Вот представь себе, я председатель комиссии, персональный старпер союзного значения, полковник КГБ в отставке. У меня здесь шесть рядов орденских планок, значок заслуженного чекиста СССР и медаль „Пятьдесят лет в рядах коммунистической партии ЭдЭс“.*

Антон кладет локти на стол, надувает щеки и спрашивает тихим, сладким, вкрадчивым голосом:

— А скажите, товарищ Барская, что вы думаете о так называемом академике Сатарове, его клеветнических выступлениях против нашего строя, которые грязным потоком льются на нашу страну на волнах так называемого „Голоса Америки“ и других враждебных радиоголосов?

— Не знаю, — говорю я, принимая игру. — Я никаких голосов не слушаю.

— Правильно, товарищ Барская. Я тоже не слушаю. Ни один порядочный человек их не слу-

**См. примечание на стр. 345.*

шает. Но газеты-то наши вы, вероятно, читаете?

— Ваши газеты? — говорю я. — Ну что вы!

— Товарищ Барская, — наставительно поправляет Антон. — Не ваши газеты, а наши, советские. Вы их, конечно, читаете, и вы знаете, что в нашей прессе неоднократно давалась прямая и принципиальная оценка клеветнической деятельности этого непрошеного радетеля за так называемые права человека. Наши ведущие ученые, деятели литературы и искусства гневно осудили поведение этого поджигателя войны и отщепенца. Я надеюсь, вы разделяете подобную оценку?

— Совершенно не разделяю.

— Старуха, — строго взывает Антон. — Ты сейчас говоришь не со мной, а с председателем комиссии, полковником в отставке Хряпушкиным. И должна отвечать так. — Преображается и говорит тоненьким голоском, изображая товарища Барскую: — Я, товарищи, так называемого Сахарова как ученого не знаю, хотя и думаю, что это очень плохой ученый. Но что касается его ненаучной деятельности, то я вместе со всем советским народом ее решительно осуждаю. Я думаю, причина падения Сахарова в его болезненном самомнении и в сионистском окружении. Я слышала, что у него жена сионистка, зять сионист и что за свою подрывную деятельность он получает джинсы, дубленки и много валюты от сионистских организаций Америки и Израиля. Хорошо, товарищ

Барская, — перебил сам себя Антон. — Вы отвечаете правильно, как настоящий советский человек. Но когда вы окажетесь в Англии, вы должны помнить, что там вас могут подстеречь различные провокации. Помня, что вы советский человек, помня о своем настоящем отношении к этому бывшему ученому и отщепенцу, вы должны проявлять сдержанность, и поэтому, если вам будут заданы подобные вопросы, следует отвечать уклончиво. Я, мол, простой обыкновенный человек, политикой не интересуюсь, но как женщина я думаю, что Сахаров человек немолодой и нездоровый, ему надо отдохнуть, его не надо трогать. А если спросят, в каких условиях находится Сахаров, надо сказать, что вы точно не знаете, но вам известно, что Горький — это крупный культурный и научный центр, там есть много научно-исследовательских институтов, библиотек, театров, и семья Сахаровых, состоящая из двух человек, имеет там прекрасную благоустроенную четырехкомнатную квартиру.

— Антон, — говорю я, — неужели ты думаешь, что весь этот бред я смогу произнести?

— Ты должна это сделать, — говорит он серьезно. — Если ты так отвечать не можешь, то нечего туда и ходить. Но ты возьми себя в руки. Ты пойми, люди, которые будут сидеть перед тобой, — подонки и маразматики. Они хотят, чтобы их обманывали, и ты их обмани. Зато потом, когда прилетишь в Лондон и вылезешь в аэропорту Хитроу, сразу смотри, где

*стоит их лягавый или, по ихнему, бобби. Эти боббики ходят в таких идиотских черных шапках вроде перевернутых чугунков со звездой. Как такого увидишь, сразу — к нему, и на своем чистом английском языке скажи: „Господин бобик, их бин пур совет фразу, их бин лужинг фор политикал эсайлем“**.

Даваясь от смеха, я спрашиваю, кто его научил столь великолепной фразе.

— Для себя готовил, — отвечает он, скромно потупившись.

Жизнь после жизни

— Я зашел вам сообщить, что у вас все в порядке. — Профессор Финкенцеллер сидел передо мной, сцепив на колене пальцы. Пальцы у него тонкие, бледные, поросшие темными закрученными волосками. — Вы поедете домой. Потом, если захотите, отдохнете в реабилитационном санатории, там вам будет очень хорошо, а потом... Что потом? Потом нормальный образ жизни. Самое главное не набирать вес. Избыточный вес — это наш главный убийца. Знаете, у нас говорят: обжора роет себе могилу зубами. Курить — ни в коем случае. Если будете курить, я вам гарантирую, что все ваши проблемы вернутся через полгода. Поэтому я вас очень прошу, я вас умоляю, никакого никотина. Никотин — это пакость, никотин — это... — Он отвернулся в сторону. — Нико-

*Эта фраза — смесь английского с немецким — означает: „Я, бедная советская женщина, пишу политического убежища“.

тин — это тьфу, тьфу, тьфу, — изобразил он плевки, словно выпуливаемые из пулемета. — Вот что такое никотин. Никакого никотина.

— И никакого алкоголя, — воспользовалась случаем и вставила свое моя жена.

— Алкоголь можно, — сказал Финкенцеллер.

— Очень немного, — уточнила жена.

— Алкоголь можно, — повторил профессор.

— Чутьочку-чутьочку, — сказала жена.

— Алкоголь можно.

— Самую капельку.

— Алкоголь можно.

— А путешествовать? — спросил я.

— Никаких ограничений. Пройдете курс реабилитации и — куда угодно, хоть в Австралию. Или к вам в Россию. У вас там такие интересные дела. Увидите Михаила Горбачева, передайте ему от меня привет. Я и моя жена очень большие его поклонники. Кстати сказать, когда у него будут какие-нибудь такие проблемы, дайте ему мою визитную карточку. Я за свою работу с него ничего не возьму.

Профессор ушел, а я стал переодеваться в вещи, привезенные из дому женой. Швестер Моника стояла рядом. Мне надо было снять пижамные штаны и надеть нормальные цивильные брюки. И хотя на мне были еще трусы, я вдруг смутился и выжидающе посмотрел на швестер. Она перехватила мой взгляд, тоже смутилась и вышла.

— Мне кажется, эта Моника к тебе неравнодушна, — плохо скрывая ревность, сказала моя жена.

— Естественно, — сказал я. — После того как она увидела меня таким, какой я есть, остаться равнодушной... нет, это никак невозможно.

Никогда в жизни не думал, что процесс переодевания может приносить человеку столько радости. Как приятно вместо пижамы и тапочек надеть нормальные штаны, рубашку, пиджак, ботинки и выйти на улицу к живым людям, среди которых быть не больным, а прохожим. Тут я подумал и стал вспоминать, сколько у меня было всяких попутных званий, приложимых к моему имени: новорожденный, ребенок, мальчик, школьник, эвакуированный, пастух, сторож, пассажир, ремесленник, столяр, молодой человек, мужчина, водитель, допризывник, новобранец, солдат, рядовой, часовой, караульный, дневальный, арестованный, демобилизованный, инструктор, путевой рабочий, плотник, студент, прогульщик, редактор, поэт, прозаик, писатель, диссидент, подозреваемый, обвиняемый, эмигрант, иностранец, бесподанный, реабилитированный, и еще, если посчитать, по крайней мере, десятка два званий можно припомнить.

Швестер Луиза выскочила из своей стеклянной дежурки, обняла меня, поцеловала и сказала:

— Возвращайтесь! Возвращайтесь, мы вам будем очень рады.

— Спасибо, швестер, но я бы предпочел встречаться с вами где-нибудь в другом месте. Только не здесь.

— Конечно, — сказала швестер. — Лучше не здесь, но все-таки. У наших больных часто бывают разные осложнения, и они возвращаются.

— Это я понимаю, — сказал я. — Но все-таки бывают люди, у которых нет никаких осложнений. Кстати, как ваш этот друг, велосипедист?

— Мой друг! — воскликнула Луиза, радостно сверкнув очами. Она обрадовалась, конечно, не своему грядущему ответу, а тому, что я напомнил ей о важном. — Мой друг. Знаете, мой друг уже третий день лежит в коме. И никакой надежды, — добавила она в очень оптимистической тональности. — Ни-ка-кой.

Мы завернули в коридор, прошли по нему немного и уперлись в загородку, какие бывают в аэропортах, с дверью, оборудованной электронным устройством. Работник службы безопасности металлоискателем провел по моему телу спереди и сзади, но ничего не обнаружил кроме стеклянного баллончика, от которого металлоискатель сразу засвистел.

— Что это? — спросил служитель.

— Это распылитель нитроглицерина.

— А, ну да, конечно. Вы же из сердечного отделения.

Мой чемодан был поставлен на транспортер и протянут через устройство, где багаж просвечивают рентгеновскими лучами. По-моему, в чемодане у меня ничего не было, кроме пижамы, тапочек, зубной щетки, пары книг и тетради, куда я вносил свои праздные наблюдения над жизнью, тем не менее меня снова остановили. Человек в советской таможенной форме с большой звездой в петлице, может быть, майор, попросил меня положить чемодан на длинный стол, обитый цинковым листом, как в прозекторской. Я ему сказал, что не

могу положить чемодан, потому что стол высокий, чемодан тяжелый, а я только что после операции. Майор сказал, что его совершенно не интересует, после чего я, а чемодан надо положить на стол, такой порядок. Я упирался, зная точно, что, если попробую поднять чемодан, все искусство профессора Финкенцеллера окажется употребленным напрасно. В разгар нашего спора подбежал некто прыткий, возрастом и чином поменьше майора. Ни слова не говоря, он подхватил мой чемодан и кинул на стол, за что получил от меня двухмарковую монету.

Чемодан раскрыли, обыскали, все проверили, моими больничными шмотками не заинтересовались, но на дне нашли „Чонкина“, книгу, которую я брал в больницу, чтобы пересмотреть кое-какие главы. Увидев книгу, таможенник сразу ее схватил и посмотрел выходные данные.

— Парижская книжечка? — спросил он уважительно.

— Да, да, парижская, — сказал я. — А что?

— Придется конфисковать, — вздохнул таможенник.

— Ка-ак конфисковать?! — заорал я. — Как это конфисковать?

— Ну а что же делать? — сказал таможенник. — Посудите сами, разве мы можем пропускать такие книги?

— Но почему же нет? Ведь у вас перестройка, гласность.

Я не понял, что он ответил, и вообще мне стало не до него, потому что увидел себя на остановке автобуса, где возникли мои мама и папа, мама мо-

лодая в темном платье и в берете, слегка заломленном на левое ухо. Губы у нее были чуть-чуть накрашены, она это сделала для меня, я в детстве ее всегда просил красить губы. Чего папа, конечно, не одобрял. Впрочем, сейчас ему было, пожалуй, не до того. Он стоял передо мной в старой телогрейке, грязных ватных брюках и рыжих сбитых бутсах без шнурков. Странно усмехаясь, он спросил: „Мальчик, как тебя зовут?“ Я сказал, что меня зовут Вова, но мальчиком я был очень, очень давно, в какой-то прошедшей жизни, и вообще неизвестно, был ли то действительно я. Тут подошла ко мне маленькая девочка в шелковом таджикском платье, это была Галя Салибаева. Когда она приближалась, из-за всех углов выскочили отвратительные мальчишки и стали кричать: „Тили-тили тесто, жених и невеста“. Я очень рассердился, стал топать на мальчишек и гнать их прочь. „Не сердись на них, — сказала Галя. — Тем более что они глупости говорят. Ты мне не жених и я тебе не невеста, я вышла замуж за прокурора“. Мне это сообщение показалось одновременно и неприятным, и смешным, потому что представить себе Галю, вышедшей замуж за прокурора, было никак невозможно, но смеяться было некогда, потому что появились и стали ко мне подходить с поздравлениями Элиза Барская, Антон Рыбников, Валя Петрухин, каменщик Григорий и Зиновий Матвеевич Мыркин, который предложил мне прочесть стихи. Я собирался прочесть стихотворение „Море“, но мое внимание отвлек мальчик лет четырнадцати или даже меньше в форменной синей шинели с буквами „РУ-8“ на петлицах. Шинель была потерта, хлястик оторван,

рукав в известке, под глазом синяк и губа разбита.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ничего, — сказал он.

— Кто тебя так разукрасил?

— Никто.

— Он никогда не скажет, — вмешалась мама. И погладила ремесленника по голове. — Ну ничего, Вова, — сказала она ему, — вот ты вырастешь, будешь большой и сильный...

— ...Вырастешь, будешь большой и сильный, — добавил я, — и тогда тебя будут бить сильнее. Сильного слабо бить без толку.

— За что же меня будут бить? — спросил удивленно ремесленник.

— За то, что все написанное тобой будет слишком похоже на реальную жизнь.

— Что им написанное? — спросил подошедший солдат с голубыми погонями. — Мне кажется, он вообще ничего не пишет.

— А ты пишешь? — спросил я его.

Солдат смутился и покраснел.

— Да вообще-то пробую.

— Балуетесь, что ли?

— Нет, не балуюсь, — сказал он.

— А что же?

— Понимаешь, — сказал он, — мне до демобилизации осталось год служить. И я вот думаю: что же мне делать? Кем мне быть? Столяром? Ты знаешь, я это не люблю и у меня не очень-то получается. Я больше склонен к каким-то умственным занятиям, а какие у меня возможности с моим семилетним образованием? Что мне делать?

— Пойди учиться, — сказал я.

— Куда и когда? Я хотел записаться в вечернюю школу, но мне говорят: вы сюда пришли родину защищать, а не учиться. А после армии, представляешь, вечерняя школа, восьмой, девятый, десятый класс, потом институт, что ж я на четвертом десятке стану начинающим специалистом?

— Ну, а что ты хочешь? Учиться-то надо.

Надо-то надо, но у него идея. Он думал, нет ли какого-нибудь такого интеллектуального дела, где формальное образование не обязательно. И ничего лучшего не придумал, как заняться литературой.

Формального образования не надо. Но знать все-таки что-то нужно. А он ничего не знает. Сколько я встречал литераторов, они в большинстве мало того, что имели высшее образование, но многие с детства обучались музыке, языкам, рисованию или еще чему. Но с ним этого не было. Хуже того, он никогда не был в художественной галерее, не слышал живьем оперу, не видел балета, да и в драматическом театре не видел ничего, кроме убогих самодеятельных провинциальных спектаклей.

— Но классическую музыку ты хотя бы по радио слышал?

— Ты что! — он засмеялся. — У нас в казарме, как только по динамике классика объявят, так обязательно кто-нибудь завопит: „Эй! Кто там поближе, заткни Бетховена!“

— Но чему-то ты все же учился в жизни? — спросил я его.

Он сказал, да, кое-чему учился. Бегать за телятами, надевать на лошадь хомут и затягивать подпруги, строгать и пилить дерево, заправлять самолет керосином, закручивать и контрить гайки, замыкать плюс на минус и много чему еще.

— Это тоже неплохо, — сказал я, — но все-таки... Впрочем, ты что пишешь? Стихи?

— Что-то вроде этого.

— Ну прочти.

Я ожидал, что он станет в позу, вытянет как-нибудь картинно руку. А он чуть ли не шепотом начал:

— На столе стоит горшок...

— Что стоит? — переспросил я.

— Горшок, — сказал он еле слышно.

— Ну-ну.

Он начал снова:

На столе стоит горшок,

А в горшке растет цветок.

— Так, так, — сказал я. — Рифма, прямо скажем, не очень. Но допустим. Дальше.

Он опять вернулся к началу:

На столе стоит горшок,

А в горшке растет цветок.

Запахом душистым

Пленяет он, ветвистый.

Если ты сорвешь цветок,

Ждет тебя печальный рок,

И любви ты знать не будешь,

Вечно мыкать горе будешь.

Он читал это таким заунывным и безысходным голосом, словно печальный рок его уже отыскал.

Я понимал, что это бестактно, но не мог с собой справиться и хохотал так, что самому стало страшно, как бы свежий мой шов не разлезся. Он насупился и покраснел.

— Извини, — сказал я ему, — но я просто не мог удержаться. Ты понимаешь, что ты пишешь? „Запахом душистым пленяет он, ветвистый“. Ты видел где-нибудь ветвистый цветок? Ветвистым может быть дерево, ну, куст, но никак не цветок. Мне это неприятно тебе говорить, но я думаю, тебе не стоит этим заниматься. Ты не обижайся и не огорчайся, литературный талант бывает не у каждого. И у тебя его нет.

— А все-таки я попробую, — сказал он. — Мне еще целый год до демобилизации. Я буду тренироваться. Я буду писать каждый день. Не меньше чем по одному стихотворению в день. Я возьму в библиотеке книги известных поэтов и буду у них учиться. Целый год я буду писать, и если ничего не получится...

— Кирюха! — сверкнул железным зубом Марк Смородин. — Ты знаешь, сколько десятков, сотен тысяч людей пишут каждый день с утра до ночи, надеясь, что у них из этого что-то выйдет?

— И, — заметил Финкенцеллер, — девяносто девять из ста выживают.

— Но, — вздохнула Луиза, — о том, что случается с одним из ста, мы сейчас говорить не будем.

— И все-таки, — сказал твердо солдат. — Я буду писателем.

— Да, ты будешь, — сказал Антон. — Но тебя будут бить.

— А я все равно буду.

Пока шел этот нелепый спор, я смотрел на людей, подходящих к остановке, и увидел среди них Фаину, Элизу Барскую, Егора, Чонкина, Ньюру, тетю Аню, дядю Костю, бригадира Пупика, обеих бабушек и одного дедушку, Аглаю Ревкину и Доброго Аиста, который, смущенно улыбаясь, писал на заборе мелом очень неприличное слово.

Подшел автобус, все полезли в него, я сел за руль, Чонкин разобрал вожжи и крикнул: „Но-о!“ Мы отъехали от шереметьевского аэропорта, стали набирать высоту, и на этом месте я понял, что пора ставить точку. То есть многоточие. Поскольку Замысел наш и не наш будет свершаться по мере истечения нашей жизни и до точки дойдет вместе с ней...

**Владимир Николаевич ВОЙНОВИЧ
ЗАМЫСЕЛ**

Редактор *Е.С.Холмогорова*
Художественный редактор *Т.Н.Костерина*
Технолог *Е.Д.Бычкова*
Оператор компьютерной верстки *О.А.Костюков*
Зав. корректорской *А.В.Минаева*
Зам. зав. корректорской *Н.Ш.Таласбаева*
Корректоры *В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский*

Издательская лицензия № 061 053 от 15 апреля 1992 года.
Подписано в печать 29.03.95. Формат 60×84/16.
Гарнитура Антиква. Печать офсетная.
Объем 23 печ.л. Тираж 30 000 экз.
Изд. № 89. Заказ № **719**.

Издательство „ВАГРИУС“
103064, Москва, ул. Казакова, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме
«Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

**В 1994 году издательство «ВАГРИУС»
выпустило следующие книги
современных российских писателей:**

Лариса Васильева „Кремлевские жены“
Виктория Токарева „Коррида“
Сергей Бабаян „Господа офицеры“
Михаил Веллер „А вот те шиш!“
Михаил Гуськов „Дочка Людоеда“
Александр Кабаков „Похождения настоящего мужчины“
Сергей Каледин „Поп и работник“
Валерий Попов „Будни гарема“
Эдвард Радзинский „Властители дум“,
„«Господи... спаси и умири Россию».
Николай II: жизнь и смерть“
Эльдар Рязанов „Предсказание“

В первом полугодии 1995 года выходят:

Сергей Бабаян „Ротмистр Неженцев“
Владимир Бут „Трава сорок третьего года“
Владимир Войнович „Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина“
Николай Дежнев „В концертном исполнении“
Александр Минчин „Факультет патологии“
Александр Терехов „Окраина пустыни“
Борис Ямпольский „Ярмарка“

По вопросам оптовых закупок обращаться в Москве
тел.: (095) 267-96-23
(095) 267-97-57

в Санкт-Петербурге
тел.: (812) 567-47-55

Москвичи могут приобрести книги в книжных магазинах:
«Библио-Глобус» (бывш. «Книжный мир»), «Москва»,
«Молодая Гвардия», «Столица»,
а также на территории ВВЦ (бывш. ВДНХ).



Я родился в 1932 году. Жил в разных частях страны и в разных частях света. Работал пастухом, столяром, слесарем, инструктором райисполкома, редактором Всесоюзного радио, профессором Принстонского университета. Четыре года служил солдатом Советской армии. Окончил пять классов средней школы: первый, четвёртый, шестой, седьмой и десятый. Полгода учился в пединституте. В 1974 году был исключён из Союза писателей, в 1980-м изгнан из СССР, в 1981-м лишен гражданства. Теперь восстановлен в гражданстве и членстве, живу в Москве, в Мюнхене и в самолете, курсирующем между этими двумя точками.

В. Войнович

Владимир Войнович